

В эпизодах студенты Литературного института



Дарья Пиортовская



Наталья Платонова



Николай Прокофьев



Павел Пушкарёв



Юлия Сарычева



Алена Светоносова



Марина Смаглюк



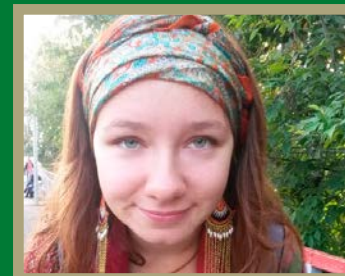
Александра Стрижевская



Татьяна Скрундзь



Валерия Хаддадин



Евгения Храмова



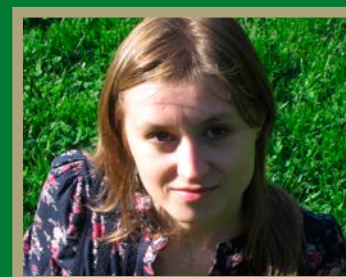
Зарема Цыганова



Диана Чуяшева



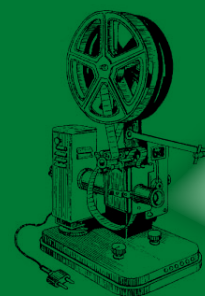
Клементина Ширшова



Варвара Юшманова

Конец 713-й серии

ИЮНЬ
ЮНОСТЬ · 2015



Студия «Гео-продакшен»
представляет
литературно-художественный
и общественно-политический сериал
«Журнал «Юность»».
Серия 713-я, «Юбилей»

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал.

Выходит с июня 1955 г.



12+

№ 6 (713) 2015

Наше всё



Валентин КАТАЕВ — автор идеи

Катаев вышел, как и многие русские писатели юга России, с берегов «жемчужины у моря», Одессы. Поэтому Катаев был просто обречен на успех.

«Катаев — классик. Вот он сидит вполборота к вам — в державном кресле своем, в серо-черной кофте крупной вязки, как в тяжелой кольчуге, а то и в ризе, челочка его сдвинута на лоб — так сдвигали на брови с затылка кепочку-малокозырку опасные обитатели послевоенных подворотен. Он колюче впиается в вас из-под челочки-козырька, стрельчатые уши его прижаты, нос, ноздри, губы и подбородок, приюхиваясь, сведены друг к другу, как плывут книзу лица на старинных японских акварельных портретах. Так и сидит он — мэтр, парнасец, патриарх, вездесущий затворник, академик, Дерибасовская — Валюн Великий, Катаич, Monsieur Kataev, Валюн птица вещая...»

Так писал о Катаеве Андрей Вознесенский. Каким на самом деле был первый главный редактор «Юности»? В двух словах не скажешь. Есть известные не очень лестные слова Бунина, Надежды Мандельштам и Бориса Ефимова. Но об этом нужно писать отдельный роман ничуть не хуже и не меньше его биографического — «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».

Но в первую очередь Катаев был блестящим прозаиком. Без его романов «Растратчики», «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер» и многих других XX век не полный. И только во вторую очередь — мастер компромисса. Но благодаря катаевским компромиссам в литературу вошла целая плеяда молодых даровитых поэтов и прозаиков — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Борис Васильев и многие другие.

Спустя шесть лет он покинул корабль, возложив бразды правления — или хомут — на плечи Бориса Полевого.

Но Валентин Петрович был и навсегда останется первым!

С него 60 лет тому назад и началась «Юность»!

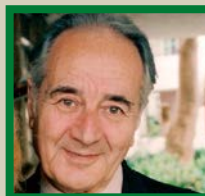


9 770132 203600

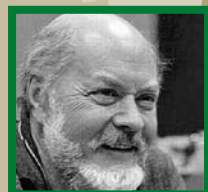


В главных ролях:

Анатолий Алексин – *Анатолий АЛЕКСИН*



Лев Аннинский – *Лев АННИНСКИЙ*



Галка Галкина – *Галка ГАЛКИНА*



Анна Гедымин – *Анна ГЕДЫМИН*



Евгений Евтушенко – *Евгений ЕВТУШЕНКО*



Ксения Емельянова – *Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА*



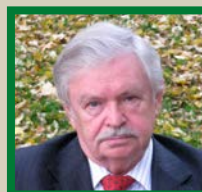
Вера Звонарева – *Вера ЗВОНАРЕВА*



Бахыт Кенжеев – *Бахыт КЕНЖЕЕВ*



Альберт Лиханов – *Альберт ЛИХАНОВ*



Анастасия Орлова – *Анастасия ОРЛОВА*



Георгий Пряжин – *Георгий ПРЯХИН*



Александр Розенбаум – *Александр РОЗЕНБАУМ*



Елена Сазанович – *Елена САЗАНОВИЧ*



В эпизодах студенты Литературного института



Тамара Аллилуева



Светлана Базанова



Мария Васильева



Сергей Гончаров



Оксана Гребцова



Дарья Иванова



Катерина Комиссарова



Владимир Коркунов



Екатерина Корнеевкова



Марина Кулакова



Ольга Кочнова



Анна Лапикова



Дмитрий Ленский



Мария Наприенко



Валерия Ободзинская

ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Выходит с июня 1955 г.

№6 (713) 2015

*Юность — это порыв и поиск! Юность — это любовь и верность! Юность — это красота и вдохновение!
А зачастую юность — это задор и хулиганство! Звон бокалов и сияние глаз — тоже ведь юность.
А еще юность, конечно, праздник. Журнал-праздник! С праздником, наши замечательные спутники!*

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



Режиссер
Валерий ДУДАРЕВ

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный товарный знак, являющийся собственностью трудового коллектива редакции журнала «Юность».

Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: unost-contact@mail.ru

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>

Госприемка:

Ильдар АБУЗЯРОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Лев АННИНСКИЙ
Зоя БОГУСЛАВСКАЯ
Анна ГЕДЫМИН
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Елена ИСАЕВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Валерий КОЗЛОВ
Владимир КОСТРОВ
Нина КРАСНОВА
Татьяна КУЗОВЛЕВА
Евгений ЛЕСИН
Георгий ПРЯХИН
Владимир РАДЧЕНКО
Ольга РЫЧКОВА
Елена САЗАНОВИЧ
Александр СОКОЛОВ
Борис ТАРАСОВ
Елена ТАХО-ГОДИ
Олег ТОЛКАЧЕВ
Игорь ШАЙТАНОВ
Андрей ШАЦКОВ

Съемочная группа:

дрессировщик
Славяна БАКУНИНА
каскадер
Платон БЕСЕДИН
оператор
Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ
пиротехник
Елена МАКСИМОВА
плейбек
Татьяна МАХОВА
сценарист
Игорь МИХАЙЛОВ
гаффер
Евгений НИКИТИН
продюсер
Евгений САФРОНОВ
директор картины
Светлана ШИПИЦИНА

В НОМЕРЕ:

Поэзия

Евгений ЕВТУШЕНКО.....	4
Бахыт КЕНЖЕЕВ.....	21
Анна ГЕДЫМИН.....	45
Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА.....	76

ДЛЯ МЛАДШИХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

Анастасия ОРЛОВА.....	56
-----------------------	----

Проза

Анатолий АЛЕКСИН	
ФРАЗЫ Рассказ.....	15
Альберт ЛИХАНОВ	
ФУЛЮГАН С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ Маленькая повесть.....	25
Станислав АСЕЕВ	
МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ Роман-автобиография	
Окончание.....	48
Георгий ПРЯХИН	
MORITURI TE SALUTANT! Роман. Продолжение.....	62

Лицом к лицу

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ: «ДОБРО МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ЗЛОЕ»	
Беседу вел Константин КУШЕЛЕВ.....	6

Александр РОЗЕНБАУМ	
СТИХОТВОРЕНИЯ	8

Страницы Льва Аннинского

ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА	
ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ Продолжение.....	13

ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА	
НЕЖНОСТЬ ОБРЕЧЕННАЯ	14

100 книг, которые потрясли мир

Елена САЗАНОВИЧ	
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. «ЧТО ДЕЛАТЬ?»	41

Как беден наш язык!

ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!	
Марианна ТАРАСЕНКО	
СОБИРАЮТ, НО ИЗБИРАТЕЛЬНО	60

Ватаив дыхание

РОВЕСНИК «ЮНОСТИ»	
Александр Блок — актер театра и кино, заслуженный артист РФ	
Материал Кристины ФИНОГЕНОВОЙ.....	79

Постановщик трюков

Лидия ЗЯБКИНА

Заливщик

Игорь РУТКОВСКИЙ

Гриммер

Екатерина КОРНЕЕНКОВА

Бутафор

Генрих ПАЛОЯН

Оружейник

Максим КОРШУНОВ

Укладчик текста

Юлия СЫСОЕВА

Специалист по спецэффектам

Наталья ГОРЯЧЕНКОВА

Цветоустановщик

Антон ШИПИЦИН

Реквизитор

Алла МАТЮХИНА

Декоратор

Лариса МЕЛЬНИКОВА

Микрофонщик

Ирина УШАКОВА

Долби-консультант

Максим ПОПОВ

Дольщик

Яна КУХЛИЕВА

Исполнители трюков

Людмила ЛОГАЧЕВА

Татьяна СЕМЕНОВА

Татьяна ЧЕРЫГОВА

Фазовщик

Марина КУЛАКОВА

Сенситометрист

Зинаида ПОТАПОВА

20-я комната (от пятнадцати и старше)

Тамара АЛЛИЛУЕВА (81), Светлана БАЗАНОВА (ТАТУОЛА) (83), Мария ВАСИЛЬЕВА (85), Сергей ГОНЧАРОВ (87), Оксана ГРЕБЦОВА (89), Дарья ИВАНОВА (92), Катерина КОМИССАРОВА (95), Владимир КОРКУНОВ (97), Екатерина КОРНЕЕНКОВА (99), Ольга КОЧНОВА (101), Марина КУЛАКОВА (104), Анна ЛАПИКОВА (109), Дмитрий ЛЕНСКИЙ (110), Мария НАПРИЕНКО (112), Валерия ОБОДЗИНСКАЯ (114), Дарья ПИОТРОВСКАЯ (116), Наталья ПЛАТОНОВА (118), Николай ПРОКОФЬЕВ (119), Павел ПУШКАРЁВ (121), Юлия САРЫЧЕВА (123), Татьяна СКРУНДЗЬ (125), Александра СТРИЖЕВСКАЯ (127), Алена СВЕТОНОСОВА (129), Марина СМАГЛЮК (131), Валерия ХАДДАДИН (133), Евгения ХРАМОВА (135), Зарема ЦЫГАНОВА (137), Диана ЧУЯШЕВА (140), Клементина ШИРШОВА (141), Варвара ЮШМАНОВА (143)

Спорт

ВЕРА ЗВОНАРЕВА: «КЕМ Я СТАНУ, МАМА ОЗВУЧИЛА ЕЩЕ В РОДДОМЕ»

Беседу вел Борис Прокопьев 146

Уноземный сюжет

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН

Лоуэлл Ховард МОРРОУ

ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК Фантастическая повесть. Окончание 153

Творческий конкурс

Анна СЕВЕРИНЕЦ г. Минск 156

Ольга СОЛНЦЕВА г. Москва 160

Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга 164

Тамара АЛЕКСЕЕВА г. Липецк 167

Виктория ЛЫСЕНКО Московская обл. 176

В конце концов

ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ

Валерий ИЛЬИЧЕВ

НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ Продолжение 178

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Александр БРЮХАНОВ

О ЧЕМ МОЛЧАТ КАРТИНЫ 185

ГУБЕРНАТОР 186

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Галка ГАЛКИНА

УСИЛИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ НА МЕСТАХ 187

VERIORA VERIS

«Гео-продакшен» представляет

СЛОВОФИЛЬМ НА ОСНОВЕ АНДРОИДА 188

На стендах «Юности»

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

ЗАЗА ХАРАБАДЗЕ: «КОГДА НЕВИДИМЫЙ МИР СТАНОВИТСЯ ИСКУССТВОМ»

Беседу вел Максим Коршунов 189

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов. Мнения автора и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр «Наука» РАН», ОП ПИК «ВИНИТИ»-«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 554-21-86

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Евгений ЕВТУШЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ

Евгений Евтушенко — последний из ныне живущих классиков родной поэзии, рожденных в тридцатые годы прошлого века. К тому же Евгений Александрович долгое время работал в «Юности», был членом нашей редакционной коллегии. Поэтому в канун юбилея журнала именно к Евтушенко в Переделкино отправились главный редактор «Юности» Валерий Дударев со своим заместителем Игорем Михайловым. Целый день прошел в посещении музея поэта, в долгих разговорах о поэзии, в бесконечно теплых воспоминаниях и откровениях. А после обеда до позднего вечера Евгений Евтушенко, Валерий Дударев и Игорь Михайлов пили чилийское красное вино и снова говорили... о поэзии.

Валерий Дударев заметил, что в конце девяностых годов XX века Белла Ахмадулина в дружеском общении говорила ему о том, что Евтушенко неповторимый поэт, сделавший потрясающие открытия: у него было шесть находок — шесть корневых особенных рифм, они принадлежат лично Евтушенко, и он, безусловно, вправе ими гордиться. Это, конечно, лишь одна грань его поиска и гениальности, но для поэзии она необходима.

Игорь Михайлов, восхищаясь работами художников из евтушенковской коллекции, особо выделил полотна Шагала и Пиросмани, а также фото-портреты сибиряков, сделанных самим поэтом.

Конечно, не обошлось без обсуждения публикации стихов Евтушенко в юбилейном номере журнала. Тут классик заметил, что новых стихотворений пока нет, а все лучшее и последнее он уже опубликовал во втором и третьем номере прошлого года, но он очень хотел бы подарить журналу три тома антологии русской поэзии, составленной им самим, — важнейший труд его жизни! Надпись, адресованную журналу, мы и хотим привести тут, ведь она относится и к нашим уважаемым читателям.



© Фото Игоря Михайлова

Возьмемся за руки, друзья...
Евгений Евтушенко и Валерий Дударев

И еще публикуем стихотворение Евтушенко из третьего номера прошлого года: в нем речь как раз о «Юности». Публикуем и фото, на котором Евгений Евтушенко и Валерий Дударев внимательно смотрят друг на друга. Так что не прервалась связь времен, о чем и мечтал Валентин Петрович Катаев, затеявая ставший легендарным журнал «Юность».

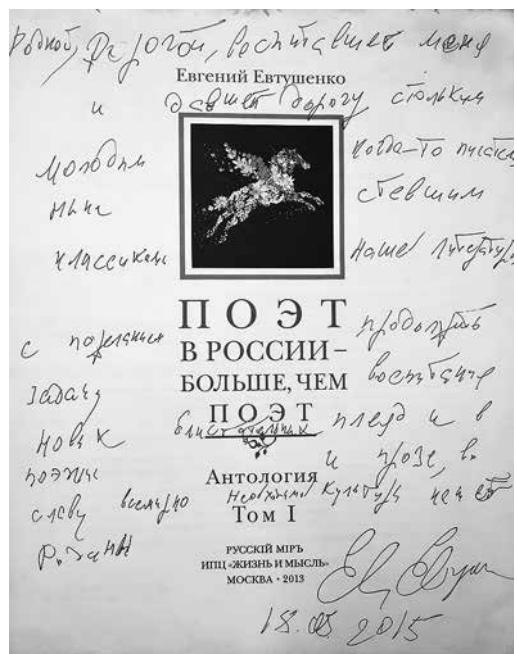
А уже поздним вечером при расставании Евгений Александрович заметил, что очень хотел бы, чтобы его антология попала во все учебные заведения страны и была бы востребована.

Пронзительно и требовательно прозвучали слова классика в трагической суете нынешней реальности. А в словах этих важна забота о нас с вами, о детях наших, — чтобы дети любили и знали великую русскую поэзию.

* * *

Подумать, вновь пишу я в «Юность»,
 Меня охватывает вьюжность
 воспоминаний,
 закрутив
 под Колмановского мотив,
 и узнаю, слез не тая,
 что эта песня и моя.
 И я опять танцую с Беллой
 на скользком краешке над бездной,
 и наши рифмы так упруго
 летают в губы друг от друга,
 и где ее, а где мои,
 попробуй разбери в любви...
 А на стене девчонка Стасиса,
 как Белла в те года,
 не красится,
 и, позабыв про пятилетку,
 слегка покусывает ветку...

31 января 2014 года



Надпись на подаренной к юбилею «Юности» антологии русской поэзии

Родной, дорогой «Юности», воспитавшей меня и давшей дорогу стольким молодым когда-то писателям, ныне ставшим классиками нашей литературы.

С пожеланием продолжать задачу воспитания новых блистательных плеяд и в поэзии, и в прозе во славу всемирно необходимой культуры нашей Родины!

Евгений Евтушенко
18.05.2015

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ: «ДОБРО МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ЗЛОЕ»

Солнечным майским днем, в преддверии Дня Победы, мы встретились с Александром Розенбаумом на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. С выдающимся музыкантом, композитором, поэтом мы говорили на разные темы, но главное — это его стихи, в которых сказано о многом.

— Александр Яковлевич, зная Ваше отношение к празднику Победы, хочется сказать Вам большое спасибо за те концерты, которые Вы даете в этот день.

— Сейчас 25-й концерт будет. Четверть века. Юбилейный концерт.

День Победы для меня единственный любимый государственный праздник сегодня. Дай бог, я буду рад, когда мои правнуки, если все будет хорошо на Земле, будут 12 июня, День России, справлять, как мы 7 ноября, допустим... День Победы — это праздник, который народ сделал, народ принес и народ праздновал его всю жизнь и будет праздновать. Поэтому это воистину народный, настоящий, государственный и человеческий праздник. Это большущее счастье 9 мая выступать, петь, ходить, смотреть, гулять.

— Слова создают образы. А слово «добро» как Вы себе представляете? Как оно выглядит, как пахнет, какое оно на вкус?

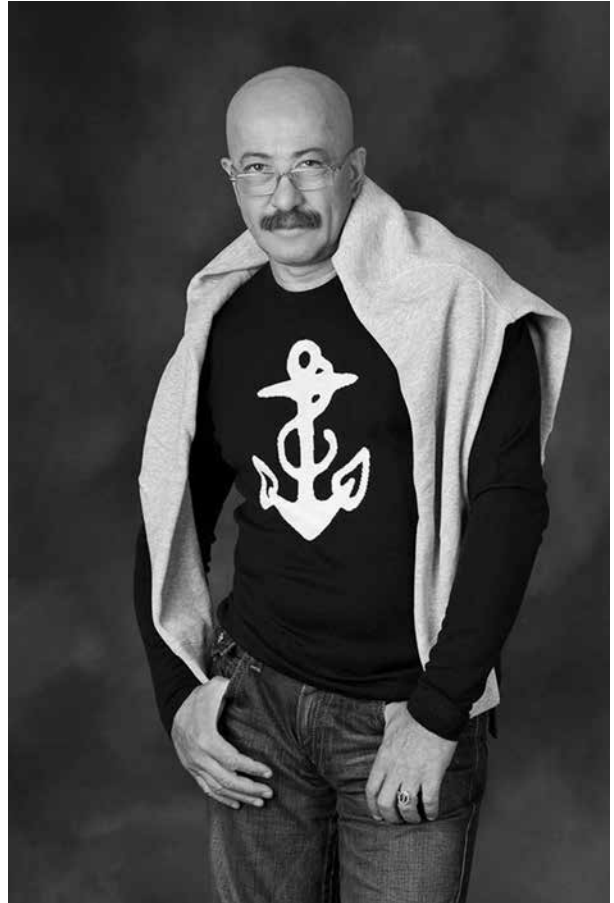
— Оно разное. Добро — это то, что, в конечном счете, выводит человека на позитив. Оно может быть совершенно разным. Добро может быть сладкое, оно может быть горьким. Добро может быть очень злое.

— Вы имеете в виду с кулаками?

— Дать человеку по морде, для того чтобы остановить дальнейшую его противоправную или противозачинскую деятельность. Поэтому добро для меня — с совершенно разными оттенками. Но это то, что в конечном итоге выводит человека на светлый путь.

— Что бы Вы посоветовали сегодняшней молодежи, к чему ей прислушаться, чему поучиться?

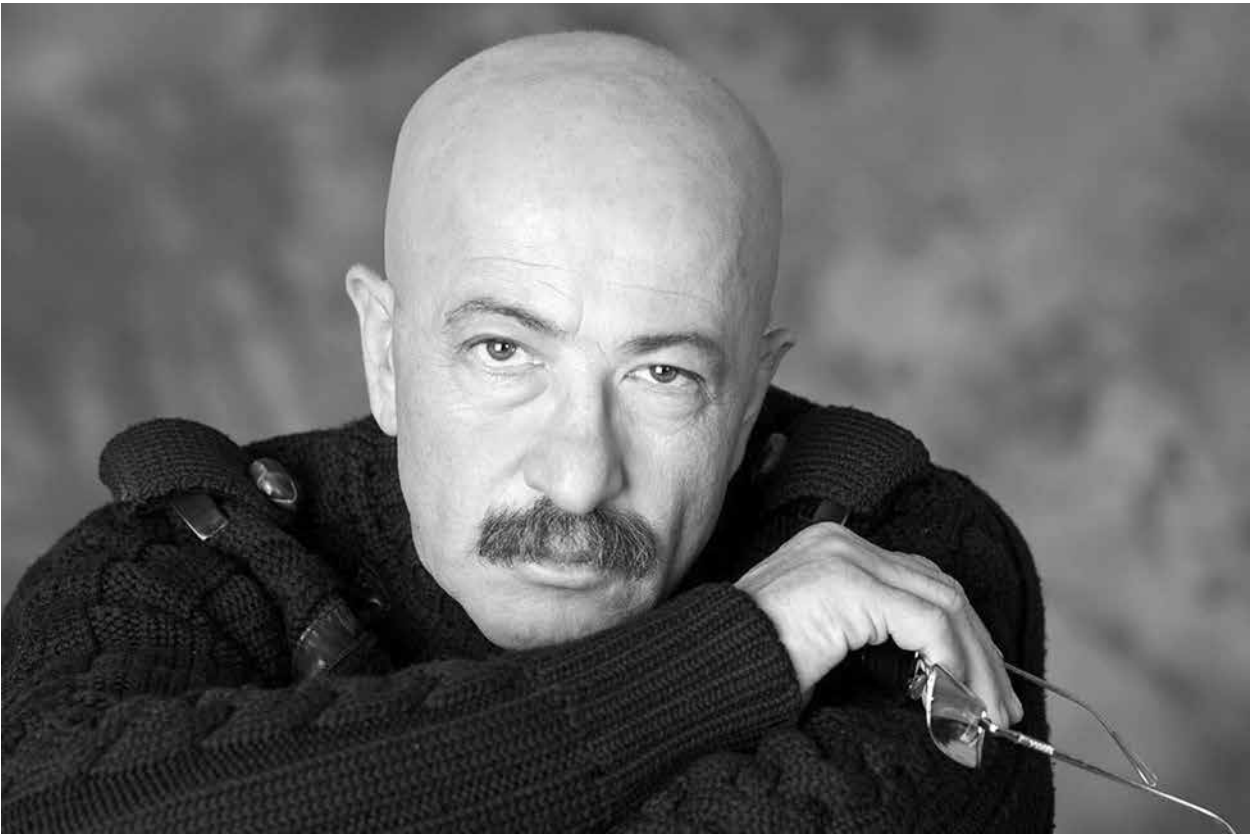
— Я бы попросил их сегодня хотя бы наполовину освободиться от гаджетов. И еще вспомнить о



том, что есть книги, футбольные площадки. Внеклассное время должно быть занято. Дети стали гораздо отчужденнее. Нет общения, люди соседей не знают, соли попросить не у кого. Все эти негативные тенденции в обществе и к молодежи относятся. Хотелось бы, чтобы люди были добрее по отношению друг к другу, учились состраданию, общению, пониманию, взаимовыручке. Нужно стремиться к тому, чтобы не было лютой злобы в людях.

— Откуда такое расслоение?

— Я думаю, дело в материальном аспекте. Не только в нем, конечно, но это сыграло большую роль. Люди хотят заработать денег. Хорошо, когда они понимают, что надо учиться, становиться правильным человеком, который будет хорошо



зарабатывать, а не заниматься в конечном итоге бандитскими схемами. Есть глобализация. Противостояние. Сегодня, по статистике, семьдесят процентов молодежи хочет стать чиновниками. Это за гранью моего понимания. Кем мы хотели стать? Ну, пожарными, космонавтами, врачами, летчиками... Но секретарем обкома партии или инструктором райкома комсомола... Мы не знали даже таких профессий! Я видел по телевизору девочку шести-семи лет. Ее спрашивают: «Кем ты хочешь стать?» «Пластическим хирургом!» — отвечает. Молодежь в институте понимает, что будет хирургом, но каким? А тут конкретно — пластическим...

— А слово «любовь» какие у Вас вызывает образы?

— От счастья до страдания. Всеобъемлющее чувство. Жить без любви и творить невозможно. Я не говорю о любви к противоположному полу. Хотя и это тоже. Любовь ко всему живому.

Как, например, не любить собак и лошадей?! Я не люблю только мух и комаров, они мешают мне жить. Как можно не любить пивной ларек наш, с мужиками?

— Есть ли у Вас неологизмы?

— Я обожаю один свой неологизм. У меня есть стихотворение:

Удивительное слово
Ночью ветер насвистел,
В детство я впадаю снова,
Только «д» там вместо «т»!
От «д» до «т» тринадцать букв —
И двадцать с лишним лет.
Когда-то в «детстве» был я внук,
Теперь я в «дедстве» дед!

Я считаю, что слово «дедство» должно иметь право на жизнь. Есть детство, а есть дедство, совершенно разные две формы жизни. Я обожаю русский язык и люблю в нем копаться.

Беседу вел Константин Кушелев

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели! Перед вами — поэтическая подборка Александра Розенбаума. Для многих это станет сюрпризом. Ведь мы давно привыкли, что голос, музыка, стихи, объединенные именем Александр Розенбаум, — явление неразрывное! Мы понимаем, как трудно и ответственно автору прийти к читателю именно стихотворными строчками со страниц «Юности», да еще в юбилейном номере...

Конечно, многие авторы «Юности» оказывались на сцене с гитарой наперевес! Как тут не

вспомнить, к примеру, и Булата Окуджаву, и Новеллу Матвееву, и Веронику Долину. Но они были авторами журнала изначально и постоянно. Во втором номере за текущий год мы уже писали, как чиновник от литературы зарубил прижизненную публикацию Владимира Высоцкого в «Юности». Нельзя не сказать и о том, что совершенно по-особому в конце восьмидесятых годов прошлого века пришел к нашему читателю поющий поэт Александр Башлачев. Так что традиция существует, а все равно как впервые!

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

Музыка или Стихи

Как часто ночью в отзвуках шагов
 Строфа дрожит, шатается и рвется...
 Мне стих без музыки так редко удается —
 Я должен слушать музыку стихов.
 Я должен чувствовать мотив своей души,
 Слова без музыки мертвы в моем искусстве,
 Как без солдата мертв окопный бруствер —
 Один он никого не утрашит.
 Как надо понимать звучанье фраз:
 Где крикнуть, где шепнуть на верной ноте?
 Стихи и музыка, вы песня — плоть от плоти!
 Стихи и музыка — не разделяю вас!
 Я в каждом такте должен прочитать
 Стихотворение, написанное в звуках,
 И различать раздумье, радость, муку,
 И в нотах эти чувства записать.
 Какой глупец сказал, что песня — это стих!
 Какой невежда музыку возвысил!
 Кто так унизил песенную мысль
 В своих речах напыщенно-пустых!
 И я, забывшись в песенном бреду,
 Как заклинанье повторяю снова,
 Что музыкант лишь тот, кто слышит слово,
 Поэт лишь тот, кто с музыкой в ладу.

Посвящение В. С. Высоцкому

Количество прожитых лет отнюдь не важно,
 Коль ты сумел рвануть свою струну...
 Он прилетел из Космоса однажды...
 Болид, воспламенивший всю страну.

Планеты плыли по своим орбитам.
Вальяжно. Значимо. Довольные вполне...
А он горел, как свечка... «ЯКом» сбитым
В заранее проигранной войне.
Жар пламени был так всепроникающ!
Сжигались души. Плавилась сердца.
И каялся над телом брата Каин...
Просил прощенья Павлик у отца...
И замолкали сладкие сирены,
Услышав хрип его издалека,
И уходили клоуны с арены,
Размазывая слезы по щекам.
Божественный огонь его искусства
Чудесным был на всем своем пути...
Там, где всю жизнь властвовала Пустошь,
Вдруг начинали яблони цвести...
У слабых духом расправлялись плечи,
Слепые начинали видеть Свет!
Он не был Богом... Он был им отмечен.
В своем великом звании — Поэт.

* * *

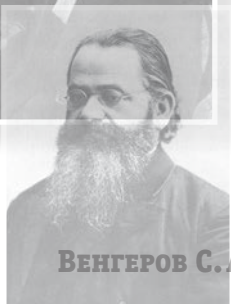
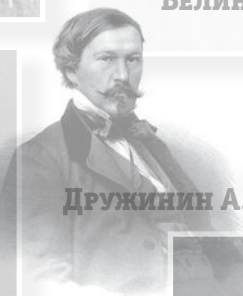
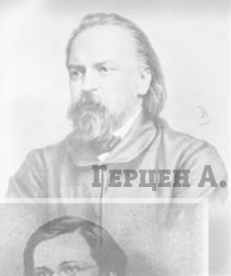
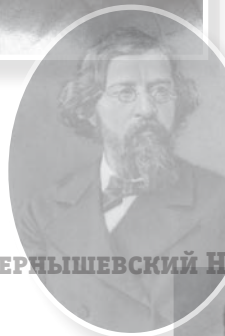
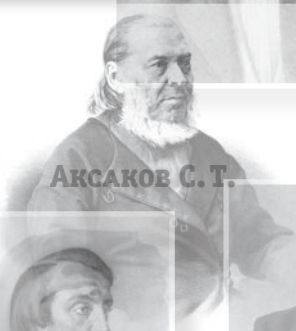
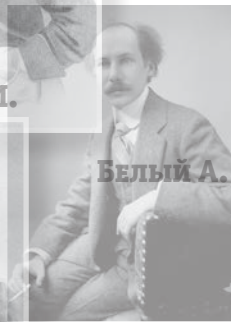
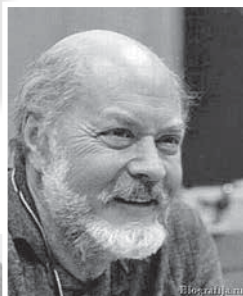
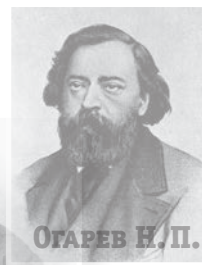
Я хотел бы проснуться утром, рано-рано...
Умыться, одеться... и во двор...
А там Зыряновск...
Мне пять лет... Я мальчишка маленький...
Года три прошло после смерти Сталина...
Мама с папой — молодые, красивые...
Руки у отца — большие и сильные...
А за забором — больница, запахи...
На отделениях больные шаркают тапками...
Весна — как весна. Лето — как лето.
Горы сверкают кручами,
Зимою морозы стоят трескучие...
Родители работают простыми врачами...
Папа, правда, еще и начальник...
Главный врач городской больницы...
Для Зыряновска — это важная птица!
Их по очереди не бывает ночами,
Потому что они дежурят...
Яша очень много курит
И кашляет, как сапожник,
Который болеет от ваксы и кожи...
А мама ругается, что я не сплю,
И даже меня не целует.
Но я же папу очень люблю
И за него волнуюсь.
А у мамы забот полон рот. Полгода Вовке...
Он совсем крошечный. Он грудной.

Но уже родной.
 И когда я играю с винтовкой...
 Я за Вовку иду с фашистами в бой.
 Я хотел бы проснуться утром... Другим, коммунальным...
 С очередью перед одним туалетом...
 Четко понимая, что встать нереально...
 Поскольку зимою беда со светом...
 И две контрольных по точным наукам...
 Они для меня наказание... Мука...
 Как для дворняги — снежок и палка...
 Но мать моя — гинеколог...
 Кто знает — поймет... Не жалко.
 Подмышки — два градусника...
 Не набьешь...
 И я отправляюсь в школу...
 Превозмогая холод...
 Определять объем... Каких-нибудь труб и дурацких цистерн...
 Но так мы учились вставать с колен...
 Я хотел бы заснуть под утро...
 Первого января...
 Во второй половине двадцатого века...
 Нетрезвым молодым человеком.
 Гирлянды на елке горят...
 На столе недопитая водка...
 Я добавляю «сотку»,
 Чтобы не потерять
 Кураж, мне дарованный «Песнярами»...
 Но... Голос... Чарующий...
 Мамин...
 «Сыночек, пошел бы ты спать!!!»
 И я ухожу...
 Без ответа...
 А мамы три года как нету...
 Или вот.
 Просыпаюсь в бараке.
 Колхозно-морковного действия.
 Господа! Что же может быть круче
 Студенческого беспредела...
 Запрягаю гнедую лошадь,
 Очумевшую от девчонок,
 Превратившихся в амазонок,
 На коней поменявших кошек...
 И бросаю в телегу картошку...
 В лёдник...
 Ровно ящик. Ни больше, ни меньше...
 Я украл. При Иосифе смертник...
 И не лень же?
 Вы простите меня, ребята...
 За такое вот святотатство...
 Не нажил ни дворцов, ни богатства...

 Никогда не хотелось сдаваться...

Просто всем нам жилось небогато...
Я хотел бы проснуться утром...
Голова на коленях у мамы...
Папа только вернулся с «суток» –
Зашивал ножевые раны...
Я мотаю первую «пару»...
Вовка в школе...
Грызет науку...
Это очень тонкая штука...
Понимать, что еще не старый,
Но уже как свечи огарок...
Свет ложится на то, что прежде
Нам казалось таким неважным...
Пара-тройка ушедших граждан...
Девять жизней...
Моя – однажды!!!
День, прожитый с семьей... Каждый...
Это – Счастье!
Любовь и Нежность!
Я хотел бы проснуться утром...
Даст Господь!
Он поступит мудро!!!

Страницы Льва Аннинского





Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год,
в № 1–12 за 2014 год, в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2015 год

ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

Цитата — из статьи Сергея Хачатурова в газете «Время» — к открытию выставки в Москве.

У Джозефа Уильяма Тёрнера есть потрясающее по живописной силе полотно: «Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы».

Кто еще переходил Альпы — вспомнили? Кто это запечатлел — помните?

А теперь цитата (Сергей Хачатуров, газета «Время», 2009 год): «Увидеть события истории в зависимости от страшной и яростной власти пространственно-временной стихии не смог в России обратившийся к сходному сюжету Василий Суриков. Его “Переход Суворова через Альпы” с прыгающими с гиканьем в пропасть солдатами переводит разговор о фатуме и предопределенности в жанр бытового анекдота».

Надеюсь, читатель не заподозрит меня в желании умалить величие Тёрнера или защитить Сурикова (хотя именно Суриков заботит меня в данном случае). Меня зацепило слово «анекдот».

Ну не анекдот ли? Тут мировое событие на фоне Альп, а наш веселый полководец, помещенный портретно в верхней левой части этой пространственно-временной жути, отпускает шуточки (что-нибудь вроде: «русские всегда бивали прусских» или «что русскому здорово, то немцу смерть»). А русские со смехом скатываются вниз, словно это не Альпы, а снежная крепость.

Анекдот вообще — великая вещь. Волчица вскормила двух человеческих младенцев, и они основали город. Это же анекдот! Но когда этот город становится базисом всеевропейской культуры, это уже что-то другое.

Взгляд в сторону Тёрнера. Исторические фигуры, прорисованные у него на общих планах,

кажутся мелкими в соотношении с ледящими столкновениями светло-темных массивов «фона»; человеческие эти фигурки иногда — на грани стаффажа; раненого Нельсона не рассмотришь без подсказки экскурсовода; никакого Ганнибала не разглядишь среди Альп. Но гениально — ощущение бури, висящей в воздухе.

До бури, висевшей в воздухе, наш Суриков не дожил одного года. Но она висит в воздухе его великих полотен. И не там даже, где в дыму дерутся воины Ермака и Кучума (и, конечно, не там, где веселятся русские люди, дерясь за снежную крепость). А там, где скрещиваются взгляды стрельца и царя (а «фатум» с общего плана убран вместе с фигурами повешенных). Мне не важно, далеко ли добежит мужик вслед за санями сосланной в снежную небыть боярыни Морозовой, мне важно яростное ее лицо. Мне неважно, разобьет ли Меншиков голову о потолок избы, если встанет, мне важна в его лице смесь гнева и смирения.

Прорвалась ли катастрофа, которую почувствовал британец Тёрнер, на русские полотна? Прорвалась. Но не так, как у Тёрнера. Или у импрессионистов, которых он опередил. Прорвалась — в яростном красном колере купающегося коня. Как и следовало по законам нашего авангарда.

А по адресу юного Пикассо Суриков сказал: не трогайте его! Мы тоже размечаем плотности, но мы их потом еще и прописываем.

Можно и не прописывать. Эскизы Тёрнера (обильно представленные на московской выставке) действуют еще и посильнее завершенных сюжетных полотен.

Анекдот!

Продолжение следует.



НЕЖНОСТЬ ОБРЕЧЕННАЯ

Повесть «Нежность» не всегда упоминают в биографиях Анри Барбюса. Другое дело — «Огонь», первый его яростный антивоенный роман, сразу же поставивший французского литератора в первый ряд писателей двадцатого века. Крутой противник германского фашизма, он стал неистовым пропагандистом Советского Союза, отчеканив это в афоризме: «Сталин — это Ленин сегодня». О Сталине написать успел, о Ленине — не успел: за напряжение борьбы расплатился здоровьем: умер в Москве от пневмонии, заслужив от потомков ореол мистика и идеалиста.

И вот «Нежность» извлечена из литературных запасников — поставлена на сцене Московского дома музыки. И не кем-нибудь, а самим Романом Виктюком. Пять горьких влюбленных писем героини к ее возлюбленному, с которым ее вынудили расстаться родители...

Родители?! Да скорее общая безжалостность людей, обрекающих чувства на безнадежность. На сцене не гимн торжествующей любви, а рекви-

ем любви обреченной: пронзительный, горькой и отчаянный. Не от злых вредителей — от общего помрачения душ. Белые занавеси перечеркнуты черными; золотистые листья осени кружатся, обжигая дыхание; немислимый пылесос свидетельствует о бытовой неизбежности краха чувств.

Звучит, перекрывая монологи, фортепианная партия Басинии Шульман, подкрепляемая квинтетом «Виртуозов Москвы». Романтическая несбыточность: Иоганнес Брамс, Роберт Шуман, Сезар Франк... Вся Европа прощально звучит из утраченного бытия, а если учесть режиссерский опыт Виктюка, то это и Россия, и Украина, и Латвия, и Литва, и Греция...

Сати Спивакова — одна на сцене. В ее любви — трагическое самообладание и беззаветное самопожертвование, а если прислушаться — незаживающие раны Армении...

Написана «Нежность» Барбюсом в 1914 году. В миг обречения, когда мир приготовился рухнуть в Первую мировую войну.



Анатолий АЛЕКСИН

Анатолий Алексин — русский писатель, прозаик, драматург, сценарист. Родился в 1924 году в Москве. Лауреат международных премий, Государственных премий СССР и России. За свои литературные произведения, удостоенные Государственных премий СССР, России и многочисленных зарубежных наград, и за большой вклад в развитие литературы награжден высшими советскими орденами: орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, другими высокими зарубежными наградами. Член-корреспондент Российской академии образования (с 1982 года). Включен в Международный почетный список имени Х.-К. Андерсена. Награжден Юбилейной медалью имени А. С. Пушкина и Золотой медалью имени Януша Корчака, большой золотой медалью международной ассоциации «Знание» за выдающийся вклад в просветительство, российскую и мировую литературу.

Член Союза писателей Москвы, Международного ПЕН-клуба, почетный член Союза писателей Америки и Канады.

Книги А. Алексина изданы на сорока восьми языках мира — английском, немецком, французском, испанском, украинском, греческом, китайском, японском, польском, чешском, хинди, иврите, венгерском, румынском, арабском, казахском, литовском, эстонском, армянском, грузинском... Их тираж превысил сто двадцать миллионов экземпляров.

Имя писателя Анатолия Алексина включено во многие российские и зарубежные академические издания.

ФРАЗЫ

РАССКАЗ

Рисунок Настасьи Поповой

Романы во младости он заводил исключительно с замужними женщинами. Так было спокойнее: никаких особых претензий, никаких попыток надолго заманить, обженить. Это его устраивало... Заодно он с интересом наблюдал, как они, активные участницы тех пылких романов, одурачивали своих супругов.

Нельзя сказать, что в часы свиданий женщины не расставались только с ним, — не расставались

они и с телефонами: время от времени непременно звонили своим мужьям. Настойчиво проверяли, где они находятся (по причине «заботы» о них!) и когда будут дома. Если же супруги задерживались, жены устраивали сцены «подозрений и ревности».

— А если я вот прямо сейчас проверю, не обманываешь ли ты меня? — говорила, подмигивая ему, одна.

— А если я все-таки внезапно накрою тебя?! — угрожала, находясь в его объятиях, другая.

Но особенно изумляла третья: она полуплача объясняла супругу, как безумно скучает без него, как считает не часы, а минуты, дожидаясь его возвращения с работы домой. Сообщала, что пойдет по ненужным ей магазинам, дабы часы их разлуки незаметнее пролетели. А, повесив трубку и лихо подмигивая, говорила любовнику:

— Все в порядке. И как хорошо: можем не торопиться!

Нет, он не увлекался ими одновременно — это случалось в разные периоды его разгульного донжуанства. Все трое были разными — не разными были только их приемы и хитрости. С тех пор он стал относиться ко всем женщинам весьма настороженно.

«Остерегайся обобщений!» — сказал ему друг, считавшийся мудрецом. Но к данной его мудрости он не прислушался... Более того, дал самому себе клятву, обет вообще никогда не влюбляться и не жениться.

Но только успел он уверенно, без малейших сомнений принять сей обет, как внезапно на жизненном пути его возникла Валентина... Показалось, откуда-то свыше ему дали понять, что с о б е т а м и следует быть осторожнее...

Валентина не была похожа ни на одну из сонма знакомых ему представительниц, как принято считать, «прекрасного», но не уважаемого им в ту пору пола. «Берегись обобщений!» — посоветовал ему во сне уже не голос мудрого друга, а голос, спорить, дискутировать с которым он не посмел.

Валентина, явившаяся трудиться в общий с ним институт, самоуверенно именовавший себя «научным», не обратила на него никакого внимания. А он не привык, чтобы женщины так с ним обращались... Кроме банального «здравствуйте!» он долго из уст ее ничего не слышал.

Самолюбие его, привыкшее к женскому интересу, было унижено. Он старался как можно чаще попадаться ей на глаза. Но одни только глаза ее его и замечали. Да и то бегло... Иной интерес, столь для него привычный, отсутствовал.

А ее, между тем, стали пристально замечать все мужчины того научного заведения. И было что замечать... Непохожесть являлась главной ее приметой. Он знал, что индивидуальность — признак таланта. Но в данном случае это было и признаком женской неотразимости. А он не привык подчиняться тем женским качествам... Однако пришлось подчиниться.

Это произошло, когда он с ней получили одно и то же задание... Женщинам чаще всего свойственна добросовестность, пунктуальность. Это было не чуждо и ему. Но не при выполнении того рокового задания... Впрочем, о «выполнении» его он даже не помнил — весь его мужской интерес устремился на Валентину. Работа требовала внимания, пристального интереса к научной сфере. Но сфера эта не сочеталась со сферой внезапно нахлынувшей на него страсти, которая отторгла все иное, заполнила собой не столько внимание его, а, как он со страхом почувствовал, всю его жизнь. Подобный накал безумия не терпит присутствия каких-либо других чувств. Он захватывает, заполняет собою все...

Куда испарились его прежние самоуверенность, наглость? Он пытался ухватиться за них, но обнаружил беспросветную пустоту. Куда-то они девались, расстались с ним...

Но женщинам он по-прежнему не доверял. Быть может, таким образом от них спасался. Валентине же ему вдруг непривычно захотелось поверить. Хотя верить еще было нечему...

Однако он нежданно, помимо воли, огорошил ее фразой, которую никогда прежде не произносил:

— Я не смогу жить без вас...

Женщинам такие признания могут показаться подозрительными. Особенно если к ним нет никакой подготовки.

Но она слегка побледнела и задала ему острый вопрос:

— Вы уверены?

— Я только в этом сейчас и уверен!

Да, все остальное куда-то девалось. Кануло...

Чуть-чуть помедлив, она нежданно отреагировала:

— Я почему-то вам верю. Хотя — не считите это нескромностью! — привыкла к оголтелым признаниям. И всегда относилась к ним с недоверием.

— Вы, значит, часто внимали им? — ревниво, будто уже имел на это право, спросил он.

— Не внимала, а просто слушала...

И хотя он продолжал не доверять женщинам, но в каждую е е фразу почему-то впивался с неведомым ему волнением. И незнакомым нервным желанием все о ней разузнать. Выяснить истину, которой прежде от женщин не требовал...

Чем упорнее он допытывался, тем с большей пристальностью она вслушивалась в его слова. И благодаря этому вдруг появилась надежда, которой он прежде от женщин не ждал. Которой побаивался... Все прежнее не потихоньку, а как-то

сразу его покинуло. Возникла незнакомая ему необычность. Необычностей же он опасался... Хотя прежние взгляды, опасения, прежняя склонность к банальным взглядам и поступкам куда-то отступили...

— А я представляла себе вас абсолютно иным человеком, — внезапно произнесла она.

Показалось, что встреча с ним неожиданным образом заинтересовала и ее.

«Не попадаю ли я в сети?» — всколыхнулась неприятная мысль. Но он уже был в сетях...

Когда внезапно расстаешься с тем, что считал своим неразлучным спутником, новое, необычное уверенно и опасно завладевает тобой. Абсолютно отторгает от бывшего...

— Вы покорили здесь весь сильный пол.

— Весь? Так не бывает.

— Почему?

— Потому что многие вообще не умеют кому-либо и чему-либо покоряться.

— Я сам был таким. Но вы переделали, переродили меня. И я сойду с ума, если вы откликнитесь на кого-либо... Кроме меня.

— Вы так ревнивы?

— Прежде никогда не был. Но вдруг... Одним словом, я хочу принадлежать вам. Но и вы... ни в коем случае не должны...

— Столько условий!

— Вы не должны, не можете никому из них покориться.

— Хотите правды?

— Только на нее и рассчитываю.

— Я благодарна вам.

— За что?

— За такую вашу влюбленность. И, извините меня, за ваши страдания.

— Я могу не выдержать их.

— А если я начну страдать из-за ваших страданий, вы меня пожалеете?

— Разве я могу успокоить вас... своим сумасшествием?

— Это не сумасшествие. Отныне это нормальность. Потому что и я тоже...

— У нас с вами, мне чудится, с некоторых пор, не сочтите это самоуверенностью, все взаимно. Бывает, слава богу, что на чувства и преданность отвечают чувством и преданностью. Неужто такое и у нас с вами реально? — еле слышно, с надеждой спросил он.

— Как видите.

— Вас не испугает мое состояние? — поинтересовался он. — Скажу прямее: мое здоровье?

— Разве я могу спокойно взирать на любую вашу беду?

— Тогда отриньте от себя всех своих поклонников!

— Вы так ревнивы?

— Повторяю: никогда раньше не был. Но сейчас вообще перестал быть самим собой.

— Поверьте... я счастлива... — прошептала она.

— Тогда дайте мне слово. Подарите мне обещание...

— Любое!

— Отбрасывать от себя мужские взгляды и комплименты!

— Обещаю откровенно на них обижаться. И тогда, надеюсь, они...

— Обижайтесь! — перебил он. — И говорите наглым приставам, что они не имеют права...

— Потому что... я могу принадлежать только одному человеку. И такой уже есть!

— Спасибо... — прошептал он. И перехватил ладонью слезу. А потом и другую.

Через неделю они поженились. Казалось, он должен был наконец успокоиться. Но его прежнее недоверие к женщинам не только не улетучилось, а, похоже, удесятилось. Он следил бдительно, по-сумасшедшему за каждым ее шагом. Все это усугубилось еще тем, что Валентина стала преуспевать в их научном заведении. Она даже совершила чрезвычайно важное открытие, о котором широко известила центральная пресса. Его это задело за живое, так как пока никаких открытий он не совершил. Кроме одного: «Валентину возносят ее поклонники и в институте, и на газетных страницах». Вместо того, чтобы и самому стремиться к успехам, он страдательно пытался докапываться до того, кто именно ее «продвигает».

Пик мучений настиг его в тот день, когда Валентину вместе с ученым сорока пяти лет, который и совершил с ней то открытие, задумали отправить на зарубежный научный «коллоквиум». Этого он допустить не мог:

— Или ваша совместная поездка... или наша совместная жизнь!

Она заплакала, принялась его успокаивать, объяснять, что это безумие, которое ее оскорбляет. Но от участия в коллоквиуме все же отказалась. Якобы по состоянию здоровья...

Он дошел до того, что потребовал, чтобы с «привлекательным», как считалось у них в учреждении, а, на его взгляд, безнравственным, завлекавшим доверчивых женщин «ученым» она прервала любые контакты. И даже перестала с



ним здороваться... Последнее требование было чрезмерным, но чрезмерно тяжкими были и его предположения, догадки. Избавиться от которых он был не в состоянии.

Валентина уже не заплакала, а бурно разрыдалась. Назвала его безумцем и эгоистом. Но

несмотря на столь ужасные его выходки, расставаться с ним ни на день единый не собиралась. Хотя регулярно этим ему угрожала. Однако угрозы угрозами, а поступки поступками.

Он извинялся, утешал ее, заверял в своем безумном обожании ее (не исключено, что даже в



сумасшедшем!), но от своих требований не отказывался.

Ревность стала главной его неотступностью. Это было мучительно. Но излечиться, освободиться от нее было не в его силах. Эгоизм превосходил справедливость. Но неудержимая привязанность

к нему заставляла ее всему этому подчиниться, терпеть...

Она активно отметала малейшие мужские приказания. Была необыкновенно ласкова и заботлива... Все-таки однажды он сказал:

— Тебе их бесцеремонные атаки нравятся! Если я увижу... Если я только...

— Перестань угрожать. Я этого не заслуживаю.

Однако ревность редко бывает объективной, справедливой. Она действует напролом...

Его недоверие постепенно увеличивалось, становилось все более грозным — прямо пропорционально малейшим на то поводам.

Она упрекала себя в том, что любила его сильнее, чем сына от первого брака. Мальчик остался с отцом.

— Мне стыдно самой себе признаться... Что поделаешь? Это грех, но это и факт: в самом деле ты дороже мне даже сына. Порой я сама не могу в это поверить. А потом про себя надеюсь, думаю: «Может, такая любовь к тебе не вечна, а любовь к сыну не имеет финала...»

Ему же представлялось, что она произносит подобные, редкостные «откровения», чтобы убедить его в неправде, во лжи. Вступать в спор, в конфликт с ревностью, сумасшествием абсолютно бессмысленно: сумасшествие победит.

— Хочу поставить точку на всей нашей совместной жизни! — однажды вечером сгоряча заявил он. — То, что я увидел, не может быть прощено. Я вот этими собственными глазами видел, как ты обнимала и даже целовала молодого мужчину. Прижималась к нему...

Слово «прижималась» было особенно ему неприятно.

— Это хирург. Он продлил жизнь моему брату.

— Когда это было!

— Чувство благодарности не имеет срока.

— Благодарность можно выразить словами. Но ты, повторяю, прижималась к нему. Пылко целовала в одну щеку, потом в другую. И он отвечал тебе поцелуями... Потом вы поехали в ресторан. Я наблюдал... Возражать, отпираться глупо. После этого расстанутся.

— Если это не только фраза... если ты говоришь всерьез, я в свои тридцать пять лет покончу с собой.

— А это что за фраза такая?! Подобными фразами не бросаются. Не запугивают... Пойди на балкон, подыши свежим воздухом. Это помогает очухаться и прийти в себя!

Она вышла на балкон. И так долго «приходила в себя», что даже он остыл. И вознамерился мирно выяснить отношения.

На балконе никого не было. Он взглянул вниз. Там, возле дома, собралась толпа. Все громко и нервно давали друг другу советы: «Надо вызвать скорую помощь!» — «Поздно! Кто уже сможет помочь ей?»

P. S.

ПОКЛОН ИЗ РОССИИ

За несколько дней до 70-летия Великой Победы писатель и давний автор «Юности» Альберт Лиханов отправился в Париж на презентацию сразу двух его книг, переведенных на французский язык, — романа «Непрощенная» и повести «Последние холода», впервые напечатанной в «Юности» (№ 2, 1984 год). А перед эти событиями решил посвятить день поездке в Люксембург со вполне определенной целью — навестить давнего приятеля Анатолия Алексина, с которым когда-то его связывали узы добрых отношений, ведь оба они работают в литературе для юношества. И вот встреча состоялась. Мы попросили рассказать о ней Альберта Анатольевича.

— Алексин живет в центре для инвалидов, своеобразной клинике с усиленным медицинским наблюдением. Я увидел его еще издали в широком коридоре, он сидел в коляске, возле него сиделка. Его предупредили о моем приезде, но поначалу он долго вглядывался в меня, потом по щекам полились слезы. Узнать всегда бодрого, энергичного человека было почти невозможно. Он похудел, лицо обтянуто кожей, практически не говорит, только отдельные, с трудом связанные слова. При этом он не переносил паралича. Недавно скончалась жена Татьяна — в соседнем здании клиники. Опекает его дочь Елена Зандер.

Первым делом я подарил Анатолию Георгиевичу два новых издания его книг, выпущенных в России, и в нем что-то проснулось еще. Мне вообще показалось, что чем больше я ему что-то рас-

Валентина тоже сгоряча решила доказать... свою любовь, свою невиновность... Что же он наделал с самым дорогим ему человеком?! И как же он сумеет существовать без нее?! Он ведь однажды, когда все начиналось, сказал ей: «Я не смогу жить без вас!» А что же теперь...

сказывал, тем более он как будто оживал: словно просыпался. Передал привет от Юрия Васильевича Бондарева, и он снова заплакал. Сказал, что «Юность» собирается напечатать его повесть, — и снова слезы. Удивительное дело: я предложил ему поговорить с моей женой, которую он, конечно же, хорошо знал, и он будто собрался с силами и произнес несколько вполне внятных предложений. Без конца повторял одну и ту же фразу: «Можно мне приехать?», «Я хочу приехать». Конечно, я отвечал, что все ждут его... Дочь Лена перевезла его к крошечному кафе на противоположной стороне улицы, мы заказали обед и даже выпили по глотку коньяка за Победу и за Алексина, и он снова плакал. Просто слезы лились из глаз, а глаза были широко открыты.

Это было непростое свидание. И хотя мы не произнесли на эту тему ни звука, было без слов ясно, что Анатолий Георгиевич, уехавший в 90-е годы в Израиль, а потом, всерьез заболев, к дочери в Люксембург, как писатель был известен и по-прежнему издаваем по-настоящему лишь в России.

Это не все, включая меня, поняли и понимали. Но сам-то я вынес из этой встречи, может быть, самое главное и самое человеческое — нельзя судить никого и никогда. Анатолий Георгиевич находится в сверхкомфортных условиях, если говорить о состоянии его здоровья, а душа его страдает, и я увидел его страдание. Пожелаем ему здоровья. Ведь он движется к своей 91-й годовщине.



Бахыт КЕНЖЕЕВ

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году. Жил в Чимкенте, Москве, Монреале, Нью-Йорке. Окончил химический факультет МГУ. Автор многочисленных стихотворных книг, лауреат разнообразных премий, постоянный автор литературных журналов и гость поэтических фестивалей.

ПОЭЗИЯ — ЯВЛЕНИЕ БЕСКОРЫСТНОЕ И БЛАГОРОДНОЕ

В поэзии, вероятно, не больше смысла, чем в жизни, — но и не меньше. Будучи прискорбно неспособен ни к каким иным видам изящных искусств, я счастлив, что мне иной раз удается, пользуясь таким подручным и общедоступным материалом, как язык, создавать нечто, делающее мое (и, надеюсь, читательское) существование чуть-чуть более интересным. Или не удастся?

Но об этом судить другим. Поэзия близка мне тем, что в ней нет места ненависти (когда поют пушки, музы в слезах отходят в сторону, от стыда закрывая ладонями лица). Поэзия — явление бескорыстное и благородное. И сколько бы нас ни уверяли в обратном, она все-таки делает нас лучше. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

Бахыт Кенжеев

* * *

Всю жизнь торопиться, томиться, и вот
добраться до края земли,
где медленный снег о разлуке поет
и музыка меркнет вдали.

Не плакать. Бесшумно стоять у окна,
глазеть на прохожих людей
и что-то мурлыкать, похожее на
«Ямщик, не гони лошадей».

Цыганские жалобы, тютчевский пыл,
альябьевское рококо!
Ты любишь романсы? Я тоже любил.
Светло это было, легко.

Ну что же, гитара безумная, грянь,
попробуем разворошить
нелепое прошлое, коли и впрямь
нам некуда больше спешить.

А ясная ночь глубока и нежна,
могильная вянет трава,
и можно часами шептать у окна
нехитрые эти слова...

Памяти Арсения Тарковского

1.

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мертвых строк —
перевод с кайсацкого на фарси —

фронтовик, сверчок на своем шестке
золотом поющий, что было сил —
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал —
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым ее местам,
а теперь молчу, перечесть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночевке ты так озяб,
уязвленный, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорбленным временем полыхал.

2.

Поезда разминутся ночные,
замычит попрошайка немой —
пролети по беспутной России —
за сто лет не вернешься домой.

От военных, свинцовых гостинцев
разрыдаешься, зубы сожмешь, —

знать, Державину из разночинцев
не натянуть казенных галош...

Что гремит в золотой табакерке?
Музыкальный поселок, дружок.
Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджег?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже —
по любви. И на все времена.

* * *

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму «зык».
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавеющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь — вернется через
окошко. И провидческую ересь
в неистой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо — и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее сажи
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло — и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.

Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке,
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

* * *

Еще любовь горчит и веселит, гортань хрипит, а голова болит
о завтрашних трудах. Светло и мглисто
на улице, в кармане ни копыя, и фонари, как рыба чешуя,
полуночные страхи атеиста

приумножают, плавая, горя в стеклянных лужах. Только октября
нам не хватало, милая, — сегодня
озябшие деревья не поют, и холодком нездешним обдают
слова благословения Господня.

Нет, если вера чем-то хороша, то в ней душа, печалуясь, греша,
потусторонней светится заботой —
хмельным пространством, согнутым в дугу, где квант и кварк играют на снегу,
два гончих пса перед ночной охотой.

И ты есть ты, тот самый, что плясал перед ковчегом, камешки бросал
в Москва-реку, и злился, и лукавил.
Случится все, что было и могло, — мы видим жизнь сквозь пыльное стекло,
как говорил еще апостол Павел.

Ты не развяжешь этого узла — но ляжет камень во главу угла,
и чужероден прелести и мести
на мастерке строительный раствор, и кровь кипит неверным мастерством,
не чистоты взыскующим, а чести.



Альберт ЛИХАНОВ

Альберт Лиханов — известный писатель, автор многих книг для детей и юношества, общий тираж которых превышает тридцать миллионов экземпляров. Достаточно сказать, что только за рубежом на разных языках мира вышло больше ста его книг. Роман «Мой генерал» и повесть «Солнечное затмение» переведены на армянский язык. Книги писателя изданы в США, Германии, Испании, Японии, Китае, Италии, Франции, на Кубе.

А. Лиханов — лауреат Государственной премии России в области литературы и лауреат премии Президента России в области образования, удостоен премий Ленинского комсомола, Большой литературной премии России, Российской премии им. А. С. Грина, российской премии им. И. А. Бунина и других российских наград, а также американской премии «Оливер», французской культурной премии им. В. Гюго, японской премии «Сакура».

Писатель А. Лиханов — известный общественный деятель. По его инициативе в 1987 году создан Советский детский фонд, который помогает детям в беде. Тысячи ребятишек в прямом смысле спас Детский фонд (теперь — Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов), вернул им здоровье, защитил их права. Во время Спитакского землетрясения (Армения) Лиханов принял энергичное личное участие в спасении детей, их эвакуации, направлении детям огромных объемов одежды, обуви, медикаментов, последующей помощи детям Армении в разных странах мира. Он лично создал «Международный круг помощи маленьким жертвам армянского землетрясения».

За эту деятельность председатель Фонда А. Лиханов признан Человеком года в России в 2005 и 2007 годах и в США в 2005 году, а в 2006 году удостоен Мировой медали свободы Freedom в США «за ежечасный и ежедневный практический вклад в мировую копилку доброты». Внесен в список 2000 выдающихся европейцев XXI века (Кембриджский университет, Великобритания).

А. Лиханов — академик Российской академии образования и Российской академии естественных наук, почетный доктор университетов Кирова, Белгорода, Тюмени, Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и Уральского государственного университета им. Горького. Почетный доктор японского университета Сока (Токио). Удостоен советских наград — ордена трудового Красного Знамени и ордена Почета, российских — «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, болгарского ордена Кирилла и Мефодия I степени, грузинского ордена Чести, украинского «За заслуги».

Детским библиотекам в Кирове и Белгороде местные власти присвоили статус «библиотеки А. А. Лиханова». Альберт Анатольевич — почетный гражданин г. Кирова и почетный гражданин Кировской области — земли и города, где вырос и для детей которых немало сделал.

ФУЛЮГАН С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Рисунок *Настасьи Поповой*

1.

И какими же чудищами могут подрастать человеческие детеныши, оставь их без призора, без отца или без матери, а то и без всех взрослых враз, обитающих поблизости. Иной раз покажется, что слишком раннее детское одиночество схоже с безвременной гибелью возраста, а это значит, гибелью безвозвратной части человеческой жизни под волшебным именем детство.

Понимаете? Детство погибает в самом ребенке. Он еще невелик и ростом, и разумом, и уж, конечно же, житейскими знаниями, а взрослые, даже чрезмерно взрослые недостатки уже овладевают душой и телом, хотя рано еще, рано! Достоинства-то взрослые вовсе не плохи, но надобно принять во внимание, что совсем не они идут почти всегда впереди, а именно что недостатки. Их легче выучить малому человеку, глядя на окруживший его мир...

Легче уподобить дурному взрослому правилу существование малой души.

2.

И Ленька из железнодорожной школы был таким вот чудищем и конца войны, и тяжелого наступления мира.

Он был явным переростком, хотя учился в шестом. Про него ходили сплетни, что он учился по два года в каждом классе, но это, конечно, походило на вранье. Другое дело, что последние классы, например, он пересиживал по два раза — шестой, пятый... Четвертый — это вряд ли. Четвертым в те годы заканчивалось начальное образование, и в любой школе учителя и директора, ясное дело, старались хоть за уши вытащить своих недоучек к этому первому аттестату о начальном образовании.

Так что Ленька превосходил шестиклассников на голову, очень худ, желтоглаз и лицом совсем не выразителен: будто выстрогана его физиономия из сосновой, слегка желтоватой, доски. Главную роль играли его немигающие глаза. Будто тигр, что ли, какой смотрит на тебя, не моргая: в глазах этих ничуть не сожаления, понимания, совести да и вообще хоть какой-нибудь понятной мысли. Одна жестокость!

К концу войны в школах стали выдавать на большой перемене булочки, а то и супчик, да еще чай. Так что редко кто носил с собой домашние, не всегда сытные, куски. Но Ленька — не переставал останавливать малышку по дороге к школе, главным образом не своей, и велел открывать поклажи. Портфели тогда были в редкость. Учебники носили в противогазных сумках, в разного рода домашних рукоделиях, но все-таки кое-кто двигался с портфельщиками довоенного происхождения и взрослого назначения. Ленька просто стоял на дороге — а все движение в нашем городке происходило по дорогам, потому что тротуары чистить было некому, — и тем, кто приближался к желтоглазому хищнику, надлежало просто открыть свою сумку, свой портфель и показать: еды там нет.

И все же Ленька-железнодорожник почти всякий раз ухватывал свою пусть хилую, но дань. Один раз попался и я. Мама положила мне в сумку большое красное яблоко — купила на рынке. Тогда стояла еще осень, на рынке было немало вкусностей, она решила побаловать меня и положила в сумку.

Я думал, еще осень, яблоки, пусть и не такие красивые, растут по садам, есть ли смысл посягать на них? Впрочем, думал я не глубоко, не всерьез, не вдаваясь в опасность, и — был наказан. Ленька с невозмутимой желтой рожой вынул яблоко из моей поклажи и сунул себе в карман.

Я никогда не видел, чтобы он отнятое тут же стал есть. Казалось, он вовсе и не голоден, а отнимает просто так, по праву сильного, у которого всегда бессильный виноват, — басни Крылова мы к шестому-то классу уже освоили. Потом кто-то из многих, но отчего-то забытых — то ли свидетелей, то ли Ленькиных жертв, сказал мне, что — нет, мол, Ленька почти всегда был голодным, но жрал свою добычу за углом, чтобы его никто не видел.

Была, таким образом, в нем какая-то звериная одиночность.

3.

Нет, он не был одинок. Вокруг него почти всегда крутились разнокалиберные тени — длинные и короткие, в коротких кацавейках и длиннополых, смахивающих на шинели, пальтецах, в фуражках,

несмотря на зиму, в солдатских пилотках, в мохнатых шапках. Они издавали звуки разного рода, подбадривали Леньку ими, восклицали междометиями, чаще всего бессвязными и пустыми, и походили на стайку рыбной мелочи, всегда сопровождающую акулу. А про то, что они именно издавали звуки, я не оговорился, потому что любимый их и совершенно бессодержательный звук просто подражал тому, как пукает человек.

Так что всякий понимал: каждый пацан, мельтеша возле своего предводителя, превращался не то чтобы в силу, а в угрожающий фон, в комариное облако, вьющееся поблизости и готовое кинуться на жертву, которую вначале растерзает их предводитель. Тени эти обеспечивали невозможность сопротивления.

Но был ли предводителем этой мелкотни Ленька-то? Отобранными кусками с ними не делился, да они особенно и не требовали этого. Казалось, он и в самом деле хищник, которого сопровождают трусливые шакалы.

Однако какими бы ни были эти шакалы, они оставались людьми, пусть трусливыми и негодными. И становились свидетелями всех Ленькиных бесчинств. Если бы кто-то из взрослых захотел прижучить Леньку, мне казалось, хватило бы сцать большой ладонью все это комарье, и каждый из них самым подробным образом описал, что именно и когда отнял на дороге этот малолетний бандюган у беззащитной малышни.

4.

Но таких взрослых не находилось. А жаль. И волей-неволей получалось так, что малые граждане улиц, где дежурил Ленька, были под его владычеством. Он всегда появлялся неожиданно, из-за угла или словно из-под земли, и я не раз думал, что Леньке просто-напросто известны тихие помыслы каждого, кто что-то нес с собой в школу, кроме тетрадки и учебников, кто что-то задумывал этакое про самого себя и ни словечка не сказал никому, а просто подумал и замыслил.

Это ведь он, Ленька, отобрал у меня еще задолго до яблока альбомчик с отцовскими марками!

Альбомчик был небольшой, аккуратненький, довоенный, носил иностранное имечко — кляссер — и состоял из тонких прозрачных полосок, за которыми хранилось истинное сокровище — марки разных цветов, эпох и народов.

Собираясь на фронт добровольцем, отец снял с пиджака и подарил мне свой значок на серебряной цепочке — «Готов к труду и обороне», и я

принял его, весь трепеща, хотя и без слез, потому что всегда, наверное, детским своим взором выражал тайное восхищение этим значком, понимая при том его для меня самую совершенную недостижимость. Вот папа, чувствуя это, и отдал его мне, продырявил ножницами мою рубашонку, вставил в него этакий штырек, накрутил изнутри серебристую шайбочку, и он закачался у меня на груди: звездочка в кольце и две бегущие направо фигуры.

Потом он переметнул за спину зеленый вещевой мешок, поднял меня, почти шестилетнего, на руки, и мы пошли, растянувшись поперек улицы, сперва к одному перекрестку, потом к другому, а у третьего он поцеловал меня, маму, всех родных и друзей и забрался в грузовик.

Это было в начале войны. Значок я скоро снял и положил на видную полочку, перед книгами — мне цена его и значение казались ясными. А вот ценность альбома с марками, этого пухленького кляссера, я хоть и сознавал, но своих прав на него не чувствовал.

Разглядывал по вечерам, после уроков, марки за пояском прозрачных полосок, понимал, что есть тут царские, есть иноземные, с удивлением разглядывал марку, выпущенную после смерти Ленина, с траурной со всех сторон черно-красной каймой, догадываясь, что у этой коллекции существует какая-то мне пока непонятная значимость. Может быть, этот кляссер перешел моему отцу от его отца, моего деда? А тому — от его, от прадеда моего?

Я спрашивал маму, она пожимала плечами, говорила, что ничего не понимает в марках, да и папа никогда ей ничего такого не говорил.

5.

Словом, однажды мне пришла в голову глупая мысль — понести альбомчик в школу, показать его моему однопартнику Вовке Крошкину, а может, и учительнице, чтобы понять поосновательнее, каким богатством я владею.

Но ведь я не владел! Отец ничего не сказал мне про альбом! Вообще никогда почему-то не говорил про марки! Значит, я не имел права куда-то там тащить этот кляссер и с кем-то о чем-то рассуждать! И по сей день я уверен, что меня подтолкнула гордыня. Мне хотелось похвастаться, и это грех! Пусть неведомый мне тогда, в малые мои годы.

Но грех-то от возраста не зависит. Он всегда грехом остается.

Никому ничего не сказав, не испросив не то чтобы совета, а и простого разрешения мамы, я

аккуратно положил кляссер в портфелишко и отправился в школу.

Ленька ограбил меня всенародно, ни в чем не сомневаясь, нагло и беспощадно. Он вырос из-под земли, когда до школы остались считанные метры, и, схватив мой портфель, будто все заранее знал, вытащил именно то, что мне не принадлежало и за что я отвечал не просто головой — перед отцом, который на войне!

Я, конечно, плакал, слезы горохом катились из глаз, а я не произносил ни звука. Было бесполезно! Деревянное Ленькино лицо на мгновение дрогнуло, когда он раскрыл альбомчик, но тут же вновь одеревенело, и он сунул кляссер куда-то на грудь, в свое истощенное пальтецо.

6.

Можно, конечно, долго описывать мой вой в школьном коридоре возле уборной, стучащие друг о друга зубы, головную боль, сжавшую вдруг виски.

Но кого винить? Самого себя. И скрыть нельзя такую кражу, и жаловаться нельзя!

Да, страх правил тогда всеми. Другое дело, что его по-разному следовало объяснить. Мой страх не давал мне раскрыть рта! Что я скажу маме? Как объясню? Зачем понес кляссер в школу? Какое вообще имел право трогать его?

Один только мой дружок Вовка Крошкин — еще в той, начальной школе это случилось, — и помнил-то историю про марки. Но дальше судьба развела нас по разным мужским школам, а вот Ленька — остался.

Он был почему-то вездесущим. Он был на всех улицах, по которым приходилось ходить мне. И когда он отнимал у меня яблоко, я осмелился сказать ему:

— Отдай марки!

Он не встрепенулся, не изменился ни чуточку и даже не остервенел, как я того ожидал, а спросил, даже с некоторым интересом, словно совершенно незнакомый человек:

— Какие марки?

И тут он, против своих же правил, запустил свои зубы в мягкую и красную плоть подаренного мне яблока, вынув предварительно его из кармана.

Война уже кончилась, отец вернулся из Маньчжурии с медалями, взблескивающими на груди. Через неделю сложил их в небольшую, зелено-го цвета железную коробочку, и жизнь потекла дальше.

Я с трепетом ждал, когда он спросит про марки. Но он не спрашивал.

А Ленька исправно появлялся у меня на дороге.

Жизнь после войны не то чтобы налаживалась, а менялась. Как известно, когда затихли сражения, будто назло, словно продолжая испытывать народ, пришел неурожай и голод не отступил, а пошел в новую атаку. Жилось бедно, по-прежнему несли бессменную службу столовки для дополнительного питания, и хотя не болезнь, но почти диагноз по имени «малокровие» был самым распространенным, будто война не остановилась. А как звучит-то, послушайте: мало! кровие!

Мало крови, что ли? Ну да!

И вот, несмотря на всевластие малокровия, когда вдруг в ушах ни с того ни с сего слышался звон тоненьких серебряных колокольчиков, — а то и пудовые колокола бухали, — мы посмеивались. Просто так, беспричинно, про себя. А то и вслух. А то и просто так, прямо в классе, без всяких причин.

Думаю, мало кто из серьезных и взрослых людей понимал, что это за смех, казавшийся глупым, потому что был беспричинным. Но причина была! Еще и какая!

Вернулся с войны отец, например, у меня — все четыре года оттопал, два раза ранило его, — и долгие времена эти, пока он отсутствовал, я горевал от мыслей — что с ним сейчас, где он находится, чем занят и какая опасность ему угрожает? В церковь ходить пионерам не полагалось, но я отчего-то упорно смотрел на небо и просил неизвестно кого, но известно за кого — за отца своего.

Тучи иногда расходились, особенно по вечерам, надо мной перемигивались неисчислимы звезды, и отчего-то становилось легче, а я наивно понимал, что папка живой и здоровый.

А еще с утрашавшим меня ощущением великости мира я думал, что на эти же самые звезды из неизвестного мне места смотрит мой отец и тоже желает мне удачи.

Ну вот. А теперь он был со мной, в родном нашем городе, где-нибудь на работе. И может, с кем-то о чем-то там сейчас разговаривал, совсем не думая обо мне. Но он был рядом! Был поблизости, и я знал, куда, в случае чего, могу ринуться, чтобы без причин всяких и без тоски броситься ему на шею, уколоться о щеку, не очень-то тщательно выбритую, и просто, ничего не объясняя, помолчать рядом с ним.

Успокоенные дети — вот кем оказался кое-то из нас!

Кое-кто! Отдельные счастливики! И этот разрыв между счастливыми и несчастными, отцы которых не вернулись, незримо присут-

ствовал в том послевоенном школьном мире, не очень-то выпячиваясь и выдвигаясь. Но по-прежнему, будто продолжал войну, одних ломая, других направляя.

8.

Неподалеку от нас, на маленьком детском стадиончике, вдруг развесили лампы под плоскими железными колпаками, похожими на шляпы канотье — их Чарли Чаплин носил, — и когда темно, включали их и включали музыку. Без всяких объявлений городок тотчас проведал неожиданную новость и стал собираться на трибуны. Народу каталось немного по той простой причине, что коньки на ботинках были большой редкостью. Но у кого-то они все-таки были. Со временем там устроят выдачу коньков за деньги и на время, и по вечерам возле заветного окошка, где выдают коньки и где принимают валенки и пальтишки, станет выстраиваться очередь взрослых людей. А пока катались только счастливицы.

Я же, шестиклассник, располагал снегурками на веревках.

И тут, наверное, надо объяснить современному народу, как раньше каталось малое племя на простецких, с круглыми носами, коньках по имени снегурки. В общем-то, все просто. К заднику конька привязывалась веревка. Вставляешь валенок носком в брезентовую или кожаную перемычку, как в лыжах, например, а сначала валенок надо просунуть в веревочную петлю, что крепится на задке. Дальше берется деревянная палочка, обструганная, конечно, и крепкая, и она закручивает эту веревку в такой крепенький жгут. И дальше эта палочка запихивается за валенок: канатик крепкий, конек как бы прижимается к валенку. Можно ехать.

До пятого класса я катался на таких коньках за просто, но к шестому это детское занятие казалось стыдноватым, да что делать!

И я приходил на стадион и наматывал там круги под лампами, сияющими, как солнца, по сверкающему ледку. Таких, как я, в основном мальчишек, было довольно много. А воскресные дни малый люд, сходясь, напоминал черную кашу из шапок разного рода и разгоряченных лиц. Разогнаться сильно не получалось, и вот эта толпа медленно, даже степенно, двигалась по кругу под музыку довольно неспешно, по-взрослому, хотя бы потому, что над кашей этой, над этим круговоротом, всегда возвышалось десятка два взрослых.

Чаще всего это были молодые офицеры из Военно-медицинской академии, эвакуированной к

нам еще в начале войны. Они и катались-то прямо в своих черных шинелях с белыми шарфиками, и в черных же, вызывающих особое почтение сухопутного народа морских фуражках.

Эти офицеры из непонятного нам мира, где, спасая, разрезают людей, были недостижимы моему слабому сознанию. Да и разве только моему?

Они громко и как-то необыкновенно легко смеялись! Они перекрикивались, называя себя по именам: эй, Вася! эй, Олег! И в то же время они были с серьезными звездами на погонах — капитана третьего ранга, равного майору, капитана второго ранга, схожего с подполковником. И даже капитана первого ранга, полковника, значит, командующего целым полком. А этот трехзвездочный, в черной шинели каперанг, наверное, мог командовать кораблем, что ли?

9.

И там, на этом катке, однажды вечером я стал свидетелем происшествия, которое долго не мог забыть. Не мог понять, что оно значило для все того же царствующего Ленки.

Я увидел его на катке, в толпе, медленно движущейся по кругу, со своей комариной кавалькадой, по-прежнему оцеплявшей его. Он был в коньках на ботинках, катался очень уверенно, что свидетельствовало о его опытности, но преданное ему комарье сплошняком резало лед конечками, похожими на мои, привязанными к валенкам.

Здесь надо заметить, что коньки с валенками чаще всего и надевались-то дома, чтобы на них прямо по улицам самоходом добраться до катка. Получалось это у всех по-разному, для меня, например, это не составляло труда — дом был неподалеку. Другим приходилось добираться подальше, и тогда, если коньки прикрепил к валенкам дома, нужно было выбирать накатанную дорогу или раскатанные тропинки. Самое простое, конечно, принести коньки под мышкой или в каком-нибудь тряпичном кульке — но это уж достижения последующих эпох.

Словом, мошкара — и я скоро в этом убедился — могла возникать на стадионе прямо на коньках, что затрудняло ее поимку. Да и появляться там со всех сторон, потому как стадион никакими заборами не окружался.

И вот я приезжаю на каток, улыбаясь, делаю первые шаги и понимаю, что впереди катится, явно мастерица, мой закадычный враг Ленка-железнодорожник, а возле него ширкает полозьями своих разнородных конечков на валенках его стайка.

Они были подобострастны, эти ширкальщики. Даже звуки их коньков мне вдруг послышались какими-то подхалимскими.

Я чуточку притормозил, съехал к краю ледяной дорожки, мое настроение разом сникло, как какой-то нежный цветок, совершенно не готовый к одним и тем же испытаниям.

Первой мне пришла мысль, что отсюда надо убираться. Всплохи радости, надежд, необыкновенности существования очень легко затухают, когда приближаются угрозы — то же случилось со мной. Свет ярких ламп померк, лед перестал искриться, превратившись просто в скользкую поверхность не самого достойного качества, и я едва преодолел себя, приказав сделать хотя бы три круга, и только потом, если уж совсем тошно, удалиться. Не потеряв достоинства.

Меня будто кто-то услышал.

Я увидел трех или четырех конькобежцев в черных морских шинелях, которые мчались на «норвегах» — в ботинках, конечно! — по внутренней стороне дорожки, может быть, до войны они были настоящими конькобежцами в Ленинграде, откуда их перевели во время войны к нам, просто у них не было с собой настоящей конькобежной формы, но ведь не тем же они были заняты здесь! А вот выпал миг, и они катились тут в шинелях с высокими офицерскими звездами, и полы этих военно-морских шинелей развевались, как черные крылья необыкновенных существ, лица которых были радостны, были счастливы, и на черных ботинках сверкали острые, как хирургические скальпели, скоростные коньки по имени «норвеги», и уверенно и сноровисто распарывали лед.

— Эй! — восклицал первый. — Эй!

Этим возгласом он давал людям сигнал, чтобы подвинулись, чтобы отъехали хоть чуточку в сторону, чтобы пропустили сверкающе-черную вереницу на внутренней поверхности ледяной дорожки, где можно без помех развить пристойную скорость.

И люди, особенно дети, послушно подвигались и даже тормозили, а то и вовсе останавливались, любуясь этим необыкновенным скоростным пролетом.

Ну вот!

А Ленька не услышал! Или не захотел услышать! Не захотел, услышав, подчиниться! Это всегда меня интересовало потом.

— Эй! — крикнул в очередной раз человек в черной шинели, приближаясь к Леньке сзади. Тот даже не обернулся.

И тогда первый морской офицер сильным толчком правой ноги изменил траекторию сво-

ей езды, и второй, за ним следовавший, обогнул Леньку. Но он же, Ленька-то, по-прежнему двигался параллельно морякам. И ехал чуточку наперерез. Четвертый, летевший в конце офицер, похоже, поздно увидел Леньку. А может, Ленька выехал на его путь, с которого уже поздно сворачивать. И этот черный нож снес Леньку со льда, грохнулся вместе с ним, и оба они, представляющие собой довольно серьезный вес, лежа на льду, по инерции, стали ронять на него и старых, и малых.

10.

Это, конечно, только так говорится — и стар и млад — но старых-то там не было, но малых повалилась целая куча-мала, и — надо же! — никто не заревел, не завыл, не запричитал, а все быстренько вскочили и засмеялись. И только один Ленька лежал.

Вот дела! Взрослые в черных шинелях мгновенно подскочили к нему, зато комарье исчезло! Даже следа от них не осталось! Я просто обалдел!

Вокруг Леньки суетились капитаны разных рангов, все четверо, а вокруг сжималось кольцо любопытствующего народа, главным образом детского, но Ленькиных адъютантов, подхалимов, сопровождающих и холуев след простыл.

Я пробился в первый ряд, самый старший, видать, из морских командиров, спрашивал окружающих:

— Как его фамилия? Как его зовут? Где он живет?

И кто-то, тоже, видать, из прежних жертв его, назвал имя теперешней жертвы, но где она обреталась, то есть проживала, не мог пояснить никто.

Один из офицеров почти сразу отъехал, и скоро, поскользываясь на льду, но удивительным образом не падая, к толпе подбежали два солдата уже в совершенно обычных зеленых шинелях и с брезентовыми носилками в руках. Может, носилки не давали им упасть, сцепляли их, еще подумал я, слегка соприкасаясь с неизвестными пока законами физики.

Ленька, между прочим, ни сознания не терял, ни глаз не закрыл. Только почему-то мычал. Каперанг его щупал, трогал голову, руки, ноги, мял живот, все спрашивая его: «Больно? Больно?» — а Ленька мотал головой, мычал, и этот серьезный человек с «норвегами» на ногах, еще, конечно же, не снятыми, вдруг спросил, оглядев окружающих:

— Он что, немой?

Толпа этого, конечно, не могла знать, но насколько смешков все же послышалось, и каперанг

велел Леньку унести. Его переместили довольно забавно. Солдаты, шаркая сапогами и почти жонглируя, чтобы не упасть, несли носилки, на которых покоился Ленька, три человека в черных шинелях скользили рядом на острых коньках, а четвертый маячил у входа на стадион, где подгазовывал военный, зеленого цвета, фургон с красным крестом на борту.

11.

Что бы вы думали? Через пару дней Ленька, как свежий огурец, стоял посреди дороги, по которой я двигался к школе, и вся мелкотня открывала портфели ему на проверку содержимого. Приблизился и я.

Это было интересное мгновение. Секунда или две, может быть. Но такие секунды очень много значат в жизни людей. Даже без всяких слов.

Ленька посмотрел мне в лицо, будто что-то вспоминая. Потом отвел глаза и чуть заметно дернул головой. Дескать, шагай дальше! Проваливай!

Обходя его, я подумал еще, что, может быть, там, на стадионе, он заметил меня. Знает, что я свидетель странного происшествия, когда офицер в черной шинели снес его на лед за то, что он, в общем-то, не подчинился предупреждению.

Ну и что случилось, думал я. Упал, оказалось, что жив и здоров, теперь снова стоит на дороге у слабых. Все забыто!

Я раздумывал обо всех этих мелочах и догадывался, что чего-то я пропускаю. Что-то очень важное. И меня осенило! Мычание! Вот чего Ленька не хотел, чтобы запомнили! Его мычания! Он бы и должен говорить там, на катке, не такой уж сильный случился удар, как оказалось. Но когда его стал спрашивать каперанг, он не стал отвечать, а поэтому мычал.

Но почему? И отчего это теперь оказалось стыдным!

Да и так ли все на самом деле?

А может, он не мог отвечать по какой-то уважительной причине, как-то мельком, вдогонку собственным мыслям, еще подумал я.

12.

Не надо, конечно, считать, что этот Ленька-железнодорожник застил мне весь белый свет.

Жизнь шла своим чередом, меняя не только людей, но и даже весь наш город. И голод все-таки отступал, теперь на больших переменах нас кормили даже вторым — котлетами с вермише-

лью или картофельным пюре, и никто уже никакой провиант в школу не таскал, не было нужды.

Как-то совершенно безмолвно, без всяких предупреждений, Ленька пропал с нашей дороги. Да и дороги стали меняться. Домой возвращались солдаты, и, кажется, вместе с ними в город возвращались машины.

Попробую объяснить это тем, кто тогда еще и не родился.

Как мобилизовывали на войну мужчин, точно так же забирали туда и машины, в первую очередь грузовики. Разве это непонятно? Надо же возить на чем-то снаряды, патроны, да и самих солдат!

Поэтому в городе у нас появились новые машины по имени «газогенераторки». Возле кабины устанавливали два черных вытянутых устройства с печкой. В печке горели короткие кубышки, мелко напиленные дрова. От них кипела вода, она крутила какое-то устройство внутри, а тот — давал энергию двигателю. В общем-то, прости меня, это великое изобретение ума человеческого, получался огромный чайник на колесах, и машина шла. Все бензиновая и дизельная тяговая сила служила на войне, точно так же как и люди, сгорая в огне, погибая под взрывами, получая раны, которые лечили ведь тоже, можно сказать, врачи — солдаты-водители, солдаты-механики и, наверное, инженеры.

Ну и вот! После войны потихоньку-помаленьку машины, прошедшие войну, и прежде-то всего усталые грузовики, стали приезжать к нам обратно, и людям думалось: возвращаться, хотя, пожалуй, редкая машина могла вернуться-то, это было бы настоящее чудо. И, говорят, оно где-то явилось: демобилизованный шофер, ушедший на войну вместе с машиной, с ней же и вернулся назад, пусть израненной, но действующей. Да что там! Ходят по земле легенды, что солдаты-конюхи — выбить бы их имена золотом в камне, как и имена их лошадей, — уходили на войну вместе с конем из колхоза и, оттопав всю войну, возвращались все с тем же коньком, верно отслужившим и своему хранителю-человеку, и всей Родине — понятию ему недоступному, но очень даже любимому.

А в войну, когда несчастные газогенераторки дымили своими самоварами по улицам русских городов, родилось и утвердилось ребячье баловство, опасное для жизни.

Из твердой проволоки делался крюк, и этим крючком цеплялись за задний борт машины, двигаясь за ней все на тех же коньках, приделанных к валенкам.

Рисковую езду начинали с лошадиных повозок: лошадь все-таки идет медленнее любой машины, даже газогенераторки, и можно было зацепиться своим крюком и прокатиться в свое, может, удовольствие, но в ясное неудовольствие извозчика или, чаще, извозчицы, которая управляла своей усталой кобылкой.

Вот-вот, усталой! Разве не жаль лошадей, которые даже и снаряды поначалу от заводов к станции перевозили, да и вообще! Живая тварь — глянет лиловым глазом, будто укоризной окатит, и стыдно становится, совестно. Проедешь метров пять-десять да и отцепишься! Другое дело, незримые лошадиные силы, упрятанные в железках и сладко пахнущих моторных выхлопах!

Я и сам не раз и не два цеплялся за конские повозки, всякий раз испытывая угрызения совести перед лошадками разных мастей. И за газогенераторку цеплялся без всяких уже угрызений совести — они перли медленно, особенно в гору, ну как тут не испытать свою незрелую отчаянность, не только девчонкам там всяким, прохожим старушенциям, но и самому себе демонстрируя безопасную, в общем-то, удаль.

А вот к машинам, вернувшимся с войны, лично я испытывал не только почтение, но и священный трепет.

Они бесстрашно носились по улицам, отчаянно бибикая и тем самым приказывая посторониться, тормозили со скрипом на поворотах, дули своими выхлопными трубами, а пара-тройка американских студебекеров, высоких ростом и предназначенных с ходу брать легкие препятствия, вообще останавливали всякое дорожное движение, когда эти машинищи, как паровозы какие, двигались посередине мостовой, прижимая к обочинам не только повозки, запряженные лошадьми, не только газогенераторки, но и бензиновых ветеранов, вернувшихся из мест сражений.

И вот эти-то студебекеры могли тащить с собой хоть десяток шалунов на коньках, примотанных к валенкам, не испытывая ни малейшего напряжения.

Стоит ли сомневаться в том, что первым в этих гроздьях нарушителей спокойствия, цеплявшихся к грузовикам, был Ленька.

Снова он царствовал на дороге.

13.

Конечно, местные власти замечали стаи пацанов, цепляющихся к машинам. Наверное, проводили работу среди остальных, как принято выражаться. Нам в классе частенько читали краткие, но

доходчивые нравоучения про то, что глупо погибать под колесами грузовика, когда надо учиться, чтобы смело смотреть в послевоенное будущее.

Не надо ухмыляться! Так или иначе это действовало! Я-то до сих пор думаю, что действовало прежде всего низкое качество моих, например, снегурочек, затянутых веревкой с палочкой, — такой примитив! Веревки рвались, палки ломались, и хотя действительно в валенках с коньками можно было прыгнуть в неглубокий, притоптанный снег и в случае чего просто побежать, а не поехать — все-таки ощущение своей технической неоснащенности слегка придавляло неразумность и уступало место более или менее трезвому расчету: ради чего гробиться, если коньки худые?

И я замечал, что число ребят с крючьями потихонечку убывает.

Один Ленька-железнодорожник упорно цеплялся за машины.

Нашу улицу он покинул давно и, как оказалось, навсегда, но на главных дорогах от вокзала до заводов — а их было всего две — он, мне порой казалось, просто жил.

Сколько раз я там ни появлялся по каким-нибудь случаям — оглянись по сторонам, и если увидишь грузовик, а особенно студебекер, подожди минуту-другую, и всегда заметишь победоносного Леньку, который, будто артист какой, катит себе на коньках с ботинками, и в одной руке у него длинный крюк, зацепившийся за машину.

Тут все-таки надо пояснить, что в войну, да и многие годы после нее, дороги — по крайней мере в нашем городе — никто не убирал, снег не просто слеживался, а спрессовывался, машины, вернувшиеся с войны, их глянцеваля, а то и растирали до настоящего льда, который скрывался под укатанным снегом, и ехать на коньках по дороге было чистое удовольствие.

И Ленька стал чуть ли не городской достопримечательностью. Когда классная руководительница просвещала нас насчет опасности таких увлечений и полезности простых катков, число которых увеличилось вдвое — открылся еще один, на стадионе «Динамо», — она не могла не столкнуться с чьим-то вопросом: что, мол, с этим парнем из железнодорожной школы, он хоть учится или нет, и почему тогда не найдут на него никакой управы?

Наша пожилая учительница затуманилась — это бывало всегда, когда она не знала точного ответа, и может быть, правду сказала, а может, и придумала в помощь себе неуверенные слова, что этот мальчик чистый хулиган, с ним не может справиться ни семья, ни школа, ни даже милиция, куда вызывали его с матерью.

И кто-то в шутку поддержал ее:

— Фулюган с большой дороги!

Она обнадеженно усмехнулась, полагая, что до нас дошел главный смысл ее остротки, и ответила:

— Вот именно что фулюган! До хулигана не дотягивает!

14.

Так и потянулась за Ленькой эта заочная кличка — фулюган с большой дороги. Почти наверняка он не знал, что его зовут так за глаза самые разные люди — ну, ребята, это ладно, мелкотня, что с них возьмешь... Но ведь и взрослые, а уж это — досадно!

Если бы Ленька тогда узнал об этом — я почему-то уверен в этом, — он бы устроил какое-нибудь безобразие, только чтоб его фулюганом не звали, а звали просто хулиганом. Ведь было что-то пренебрежительное в этом почти шуточном обороте.

А так-то Ленька всю мастерился. Такого слова сейчас нет ни в ребячьей, ни во взрослой речи, а в наше время оно существовало и определяло подчеркнутое во всем превосходство, надменное умение что-то делать лучше других, конечно, прежде всего в навыках физических, спортивных, но и других — тоже.

Например, сильный человек мог позволить себе играючи, то есть мастерясь, расколоть десять березовых толстенных чурбанов, и это спокойное употребление силы и мускулов, ежели человек это делает на глазах у других, могло быть признано вот такой гордыней. Могли сказать: мастерится.

В спорте гимнастка, превосходящая других, могла, скажем, упражнение на турнике выполнить блестяще, но скромно, никого не унижая своим мастерством, и что ценилось безмолвно, невысказанным признанием. А другая могла, делая то же самое, подчеркивать свое умение неприкрытой гордостью, отличимостью от других, желая даже внешностью своей, всей отточенной своей фигурой — и, конечно, мастерством — неуловимо дать понять окружающим свое личное превосходство.

Ленька был лучшим цепляльщиком за грузовиками — легковых еще почти не было, а те редкие, что ездили, перевозили начальников, и даже Ленька за них не цеплялся из чувства почтения. Но в этом своем цепляльном признании Ленька-железнодорожник стал задаваться. То есть мастериться.

Когда студебекер шел в гору, он, конечно, использовал его мощь и был от машины на расстоянии своего крючка метра в полтора. Но когда трехосный автомобилице подкатывал к краю спуска, Ленька нагнул, приближался к машине вплотную, ухватывался за борта кузова рукой и катился рядом с рычащим железным чудовищем, порой притормаживая, чтобы не обогнать его, и являл окружающим свое свободное владение коньками рядом с громадными и опасными, почти до его плеч, колесами.

Это и называлось — мастериться.

Да уж! Ленька теперь не отбирал бутерброды у малышей, не жрал их за забором, как загнанный волк, а мастерился, цепляясь за студебекеры, форсил перед городом и миром.

И никто не знал, где взял этот мальчишка коньки на ботинках. После изучения картинок в книжках я знал, что коньки были хоккейные! А значит, довоенные.

С приходом Победы хоккей еще не добрался до глубин России, значит, их откуда-то привезли!

И вот здесь наступает обрыв.

Город облетает молва, что Ленька попал под машину, за которую цеплялся.

И ему отняли обе ноги!

Будто какой-то черный вихрь пронесся над мной при этом известии. Я ничего не переспрашивал, а просто молчал! Ленька, этот проклятый Ленька-железнодорожник, был мне не друг, а враг, он отнял у меня яблоко, но главное, кляссер с марками, и только по причине какого-то чуда отец так ни разу и не спохватился, где его чудесная коллекция! И что будет еще, когда спохватится! Но мне было отчаянно жаль Леньку!

Все получалось так глупо — цепляться за машины, мастерясь, но и на самом деле цепляясь лучше всех в нашем городе...

Ах, Ленька... Да и почему он «железнодорожник», ну да это ладно, потому что в двух железнодорожных школах нашего городка учились ребята, к железной дороге отношения не имевшие. Но где его мать? Про отцов тогда не спрашивали, потому что вместо ответа можно было сразу нарваться на слезы, но вот мать?.. Почему она не урезонила его, и как он теперь будет жить?

15.

А никак!

Жизнь, окружающая нас, не просто сурова, как истина. Она и есть истина в последней инстанции.

Жизнь как бы говорит всем нам — вот я тебе дана, и не просто радуйся — хотя этого никто не

запрещает, радуйся, пока дают, — но ты еще береги меня! Не обращай ко мне, как к бесконечности, я же конечна! И когда ты это поймешь, постарайся использовать меня разумно, с толком, со смыслом, с пользой для своего собственного ума и сердца и с радостью для других — близких и чужих.

А если — нет, если ты этого не поймешь и не оценишь, ты лишишься меня, и никто не будет виноват, что тебя забудут.

Очень быстро.

Леньку забыли сразу. А и кто обязан был помнить фулюгана с большой дороги, окруженного безликим дитячьим комарьем! Р-раз! — и все исчезло. И, может, эти комаришки пропали первыми.

Жизнь двигалась своими большими, тяжелыми шагами, переступая через павших — детей и взрослых. У нее нет жалости, если ею не дорожат.

И Ленька удалился из моего сознания.

16.

Прошло года полтора.

Да что там годы, неделя-то мальчишечьей жизни — это торопливая эпоха, если при том войны уже нет и отец дома — вот он, курит по вечерам свой мундштучок и говорит про самые обыкновенные домашние дела.

Возвращение с войны отца меня, честно сказать, как-то переменяло. Получать пары, даже по математике, стало неловко, хотя я никак не мог вписаться во все эти теоремы и формулы, и если назревала неприятность, я просил нашу математичку поговорить со мной после уроков, чтобы допонять, додумать, как дорешать неодолимую задачку. Со мной, как и со всеми, кто подвигался на такое прошение, обращались внимательно, и двойку, если она уже стояла в дневнике, переписывали на тройку при второй, подтверждающей, учительской подписи.

А еще я записался в лыжную секцию, которая летом сама собой превращалась в легкоатлетическую, и, честное слово, сразу стал жить как-то увереннее.

Может быть, просто у меня появились новая компания и тренер, незабвенный Всеволод Васильевич, человек немногоречивый, сдержанный, даже краткий, к каждому относившийся с ровной справедливостью. Чемпионов он среди нас не искал, даже в незримом будущем, а просто приучал к упорству, терпению и желанию научиться таковым знаниям, что всегда и всюду пригодятся.

Я почувствовал, что где-то неподалеку у меня появилась хорошая компания. И еще я почувствовал, что набираю силы. Ноги становились крепче и как-то взрослее, плечи вдруг расширились — ведь лыжные палки всерьез наливают мышцы, да и дышать я научился как-то легко, освобожденно.

Теперь-то я знаю, что это просто взросление наступало во мне, делало первые шаги. Ребенок превращался в юношу, почти молодого мужчину, но пока что до этого еще бежать и бежать. А вот именно сейчас ко мне приступало отрочество. Когда мы еще не взрослые, но уже и не дети.

И на отца я теперь смотрел не как малое, но все же не вполне разумное дитя, только в нем единственном ищущее защиту. Я видел в нем главного взрослого моей жизни. Он долго не говорит — скажет фразу, другую, ты задумаешься, поверишь, и все как-то становится на место, успокаивается, наступает уверенность. Я так хотел верить ему!

И мамины речи оказываются не просто торопливыми хлопотами, беспокойством, а разумным предупреждением, советом, оберегом от ненужных испытаний.

К тому же я много читал. Уйму книг! Ну да еще и уроки! Забавное, точное и всегда повторявшееся, по крайней мере со мной, правило: чем больше занят делом, тем жизнь становится спокойнее.

Наверное, от своей определенности.

17.

Настала очередная весна, лыжи с «ротофеллами» — это такие крепления были для ботинок; да и лыжами мы пользовались в секции-то вполне достойными, — сданы на склад, а мы три раза каждую неделю собираемся в спортзале Дома физкультуры — бывшем монастыре.

Мой путь оттуда был разным, мы шли толпой, тающей постепенно, и любили ходить дорогами не главными, не основными, даже, можно сказать, боковыми, непроезжими, а то и покорооче — проходными дворами.

А в тот день я вышел на главную улицу. Ничего, собственно, это не означало — вышел и вышел, двигался легкой походкой после тренировки, на булыжной мостовой взблескивали остатки воды, и, сияя на солнце, эти маленькие подобию лужиц слепили глаза.

Эту нашу главную улицу рассекал овраг, а через него пролегал массивная насыпь, и вот на краю этой-то насыпи всегда толкалась толпа людей, торгующих всякой мелочью. Например, там года-



ми — можно сказать, всю войну, — топталась изможденная тетка с пол-литровой банкой в руке, а в банке этой — чудо, притягивающее взгляды всех детей! — блистали сладкие петушки. Этакie карамельки в форме петушков и на палочках. И цвет у них был самый что ни на есть соблазнительный: красные, желтые и даже зеленые.

Еще в войну мне мама купила такого красного петушка, принесла порадовать, и я радостно обсосал его, а потом и догрыз. Но дальше! Дальше меня стало тошнить, и мама отпаивала меня чаем и почем зря ругала торговку, подозревая, что та делает эти петушки уж точно на сахарине, да и краситель у нее, наверное, какой-то зловердней. Разве бывают петушки зелеными?

Мама рассказывала, что на другой же день после работы она кинулась на ту толкучку, хотела ругаться и требовать объяснений, но именно той худой тетки не оказалось, а ругаться с другой, потолще, но с той же самой банкой петушков, смысла не имело.

Ну и вот я, подросший и независимый, подхожу к этим петушкам, оглядываю букеты искусственных цветов — то ли на комод, для украшения к 8 Марта, то ли на кладбище, пока живых цветов нет, и возле ступенек парикмахерской, где и располагался этот толчок, тоже привычным, ничему не удивляющимся взглядом оглядываю попрошаек — нищими назвать их не позволяла совесть.

Три, четыре, а то и пять безногих военных инвалида сидели тут всегда, привязанные к деревянным тележкам с шарикоподшипниками, чтобы передвигаться на этих колесиках.

Все они были в военной форме, только без погон — это кем-то не дозволялось — все были в разной степени пьяны, и все просили подавание.

Впрочем, чаще всего и не просили! А требовали! Каждого из них городской народ знал по именам, бросая в перевернутую фуражку или пилотку мятую денежку, говорили: «Возьми, Ваня! Прими, Вася!» Но быстро отходили. Уж больно

требовательными были просители! Кричали матом, совершенно не стесняясь ни женщин, ни детей! От мужчин, обходивших их, чаще всего по другой стороне улицы, требовали неизвестно чего, укоряя их особо изысканными оборотами за то, что те почему-то остались и с ногами, и с руками, хотя война прошла!

Особенно пьяным был боец по имени Миша. На гимнастерке у него висела медаль «За отвагу» с одной стороны и орден Красной Звезды — с другой, а такими наградами, особенно «Звездочкой», не каждый отвоевавший похвастаться мог. У моего отца, например, ордена не было, а «За отвагу» была.

Миша играл на гармошке, и по утрам, пока еще не собрал подаяний, был трезв, вызывал к себе явное сочувствие прохожих. Ему щедро бросали рублики и копейки, через час он менял капитал на чекушку, а к концу-то дня напивался до краев и выглядел безобразно. Милиция тем не менее инвалидов не трогала, помогая лишь, когда, например, жена Мишина не могла уговорить героя своего зажурчать своими маленькими колесиками по неровной мостовой, то есть стронуться с места.

Словом, на дамбе был толчок, парикмахерская, как центр мироздания, куда приходил — хошь не хошь — всякий человек мужского пола — да многие и женского, — и вот эта стоянка безногих бойцов миновавшей войны. Все к ним привыкли. И я тоже.

Но тогда, обзрев привычный вид, я просто споткнулся.

Возле пострадавших в боях воинов, на отшибе от них — значит, погнались! — на такой же тачке с подшипниками сидел пацан.

И это был Ленька!

Ставший совсем другим человеком, можно сказать, сильно подросший отрок, я с детским старым трепетом приблизился к нему. И уставился на него.

Да, это был Ленька! Я вглядывался в его лицо, я разглядывал его плечи, руки, туловище, я глядел на остатки его ног в подвернутых, хотя и обрезанных брюках, зашитых неровной и грубой стежкой, я глядел на шапку — обычную и потрепанную зимнюю ушанку с завязанными ушами и перевернутую к милосердным людям, — и все во мне раскачивалось.

Что я испытывал к Леньке!

Да ничего, кроме жалости. Все, что было дурного, память одним махом вымела из меня, даже классер.

Я просто думал, как же так он оказался тут? Ведь он пацан, пусть старше меня. И почему его

кто-то отпустил сюда? Как вообще такое происходит?

Ленька тоже смотрел на меня. Не так, как раньше, не равнодушно и не брезгливо, будто на слабака. Он смотрел, будто узнавая меня по новому. Да и вообще, словно впервые по-настоящему знакомясь со мной.

И тут я вспомнил, что у меня в заднем кармане брюк есть трешка — три рубля зеленого цвета, одной бумажкой, мое денежное сокровище. Я полез в карман, а потом положил деньги в Ленькину шапку.

И вдруг он сказал мне:

— Не надо! Я твой должник!

18.

Разговаривать сверху вниз было неудобно, не хорошо.

Я сел на корточки перед Ленькой и ничего разумного, никаких умных слов не лезло мне в голову. Но и молчать было глупо.

Просто проговорил:

— Как же так, Ленька?

Он смотрел мне в глаза, и я увидел совсем другое лицо другого человека. Оно дрожало мелко-мелко. И скулы у него ходили ходуном. И не могли не дрожать губы.

— Убьет, убьет! — прошептал Ленька. И стал лихорадочно вынимать мою единственную трешку из шапки, сунул ее мне обратно. Мелочь бросил на землю — да и было там несколько монеток.

— Кто убьет? — спросил я запоздало, и Ленька, взяв в руку деревянные колодки, которыми надо было отталкиваться от земли, чтобы ехать на тележке, ответил уже спокойно:

— Отец!

И поехал по тротуару, с толчка, где спалились вместе беда и отчаяние с крошками послевоенной радости.

Я посмотрел ему вслед. И кто-то спокойный сказал мне изнутри меня самого:

— Иди с ним. Помоги ему.

Я поравнялся с каталкой, и мы сначала двинулись рядом. Ленька молчал, молчал и я. Но ведь нельзя было не понимать, как трудно ему отталкиваться деревяшками от земли, местами мокрой. Ног у человека не было, значит, требовалось всю силу употребить в плечи и руки. А впереди простиралась пологая гора.

Запахавшийся — да что там — мокрый, Ленка снял шапку и остановился.

— Давай помогу тебе, — проговорил я.

— Как? — спросил он.

— Буду толкать тебя в спину, ты просто крепче держись руками за катапку.

Мы попробовали. И это получилось!

Я толкал Леньку в спину — а спина у него была худющая! — и коляска катилась вперед, мягко журчала подшпипниками! Я упирался изо всех сил и думал, что сам бы Ленька не въехал в эту некрутую горку. А если бы она была крутой?

Мы почти не говорили. Теперь уже задыхался я, Ленька упирался моим рукам спиной, и для бесед не было подходящего состояния.

Мы передвигались по улицам, ехать дворами было безнадежно — земля там раскисла. А дороги наши известно какие тогда были!

Наконец добрались до скособоченной избушки за дырявым штакетником, и Ленька велел остановиться.

— Как ты и добрался-то туда? — удивился я.

— Сам не знаю, — ответил Ленька. И добавил: — А чего! Времени у меня теперь навалом!

Я ничего не ответил, не мог судить ни о его времени, да и о нем самом.

— Слушай! — сказал он вдруг мне. — Меня вообще-то засекли.

— Кто? — спросил я.

— Да училка из нашей школы! Настучит отцу. А он машинист, составы гоняет!

Он помолчал. Проговорил не очень-то понятное:

— Я и так для него одна беда.

Снова помолчал:

— Хотел меня в суворовское отправить, да теперь какое там!

— А мать? — спросил я.

— Мать умерла. Да и бабушка лежит пластом. Потеряла, поди, меня.

Он ткнул деревянной балдашкой легкую калитку, прокатился до дверей, обернулся ко мне и сказал:

— Знаю, знаю! Я твой должник.

19.

Надо сказать, что эта встреча совершенно выходила за правила моего характера. Война не только на взрослых как-то там влияла, но и на ребятню. В наше время если был у тебя друг, то он и должен быть другом без всяких-яких, а если враг, то он и есть враг. И уж Ленька-то был моим не просто недругом, врагом, а — вражиной.

Тогда чего же я этак-то рассиропился? И яблоко, и марки, и множество унижений, когда он повелевал одной только бровью открыть для проверки не

одну твою суму, но всей бредущей в школы малышни! Разве это забывается когда-нибудь? Разве это можно простить?

Но вот какое удивительное ощутил я чувство еще.

Мне как будто кто-то шепнул, что дело просто в том, что виноват-то не Ленька, а я!

Удивительно! Я не мог даже и понять, в чем моя вина, но зато ощущал ее очень даже ясно. И чем дольше думал, тем понятнее становилась мне моя виновность.

А просто ко мне вернулся мой отец, и мама была со мной, и бабушка, и эта закончившаяся тяжкая война для меня была уже позади, а для Леньки — нет. Вот в чем дело!

Его война не кончилась. Не знаю, как это случилось, и никогда не узнаю этого, но у него не стало матери, и бабушка лежит пластом, а он, слывший героем — хулиганом с большой дороги, потерял ноги. И хоть отец у него железнодорожный машинист, водит, наверное, могучие паровозы по имени «Иосиф Сталин» или «Феликс Дзержинский», но для Леньки-то, может, еще и не видно берега.

Еще неясен конец его войны!

А мой — ясен. И в этом состояла моя к себе собственная укоризна.

20.

Теперь уже Ленька не очень-то охотно покидал мою голову. Где-то мне удалось вычитать выражение, что, мол, если не знаешь, как вести себя, поставь себя на место другого. Но когда я ставил себя на место Леньки, хотелось спрятаться. Я не знал ничего — ни про него, ни про себя.

Тут подошел какой-то праздник, и моя бабушка на радостях напекла много каких-то особенных пирожков из серой муки с картофельным пюре внутри. Мы поели всей семьей, а на тарелке осталось еще приличная кучка, и я вдруг сцапал десяток таких пирожков-пончиков, завернул в газетку и двинул к Леньке.

Никто меня не звал, никто не ждал, поэтому появление мое на пороге скособоченной избушки и для меня самого-то стало полной неожиданностью.

В комнате, возле стен которой стояли две железные кровати, по центру был маленький стол, над ним висела лампочка под железным плоским абажуром, почти как на катке, а за столом чинно сидело два человека.

Один был Ленька, а второй, без сомнения, его отец, человек высокий, худой, со впалыми щеками, с волосами, зачесанными назад, и с лысиной, продолжающей лоб.

Когда я постучал, мне ответили сразу два голоса, а когда вошел, настала тишина, и я почувствовал всю глупость своего положения.

На столе стояли тарелки, полные супа, а рядом еще тарелки и тарелочки с салом, с отварной картошкой, с соленой капустой, с маринованными помидорами, в большой тарелке лежала отваренная курица. А я приперся сюда с серыми пирожками, начиненными картошкой.

Но отступить было некуда, Ленька назвал меня знакомым пацаном, и отец его смягчился, особенно когда я выложил свое угощение.

— Спасибо тебе, — сказал Ленькин отец и протянул мне руку, представляясь. — Захар Матвеевич.

Он вышел из-за стола, достал еще тарелочку и водрузил на нее мои угощенья.

— Садись за стол, — пригласил он и, обращаясь к Леньке, сказал ему: — Видишь, у тебя есть товарищи! А ты твердишь — нет!

Я уселся, и Захар Матвеевич приставил ко мне тарелку с ложкой и вилкой, но я чувствовал себя сквернейшим образом. Никогда в жизни ни у кого из товарищей я до сих пор не обедал. Да и еще с таким обилием, довольно странным для скудных послевоенных годов. Мне показалось, что этого не должно, не может быть, что так по нынешним временам вообще никто не ест, может, только какие-нибудь спекулянты, да и то не в наших краях.

А худой Ленькин отец будто запросто слышал мои мысли. Он усмехнулся и сказал:

— Ты не удивляйся нашей еде! Я железнодорожный машинист, понимаешь? Вожу поезда к западу и востоку — до соседних больших станций, где есть паровозные депо. Довезу состав и обратно. А это трудные поезда! Тяжелые! Возим вооружение, людей! Иногда, не дай бог, разрываются! Сразу закупорка на целом направлении. Этого нельзя. Поэтому нас хорошо кормят. Зарплату большую дают. Я не спекулянт, не думай.

— Я и не думаю! — пролопотал я.

— А вот ты хороший паренек, — будто и не услышал Ленькин отец. — Принес коржики. Тебе принес, сынок!

И так он ласково проговорил это слово, что все мои неудобства отлетели, и я принялся хлебать суп с вермишелью.

— Вы давно знакомы-то? — Ленькин отец переводил свой взгляд с меня на Леньку и обратно.

Я молчал, усердно заглядывая в тарелку, а Ленька будто язык проглотил.

Захар Матвеевич свой вопрос повторил голосом уже похолодавшим.

И опять Ленька будто воды в рот набрал.

— Бойтесь признаться, что ли? — усмехнулся худой этот человек, которого мне теперь уже тоже стало жалко. И у него ведь война-то не кончилась.

— Поди, вместе крючьями за машины цеплялись? — спросил Ленькин отец. И выдохнул, сердито бросив ложку: — Жизни своей не цените! Близких своих не любите! За что!

— Да нет, пап! — вдруг сказал Ленька. И добавил, потупясь: — Все куда хуже!

— Хуже? — как-то обмяк его отец. — Куда еще хуже?

— Да я у него марки отнял. Помнишь, ты меня выпорол? Я ведь даже не знаю, как его и зовут-то! Этого-то пацана!

Ленькин отец походил на взрослого, конечно, человека, но совершенного мальчишку. На этакое несмышленища, который никак не сообразит, что перед ним происходит.

— А ты? — спросил он вдруг отрывисто меня. — Знаешь, как его зовут? — Он ткнул пальцем в сторону сына.

— Конечно! — ответил я. — Ленька! А еще его зовут Фулюган с большой дороги.

Я думал, этот «фулюган», смягченный вариант «хулигана», поможет разобраться, что к чему, и обернется смехом. Но дядька вдруг вскочил, и я увидел, какого он большого роста.

Он постоял всего мгновение и вдруг заплакал.

Да нет, он просто зарыдал, склонил лысоватую голову с зачесанными и редкими волосами на грудь и закрыл лицо крест-накрест сложенными руками.

И все его худое тело содрогалось от какой-то страшной боли.

Я вскочил, отодвинув стул, ну никак не ожидал такого разворота событий! А Ленька все сидел и глядел невидящими глазами куда-то вперед.

И какое-то недетское совсем ожесточение увидел я в этом тяжелом взгляде.

Но длилось это очень кратко — какие-то мгновения. Опершись о стол, Ленька остатками ног вышвырнул из-под себя сиденье и больно бухнулся о пол.

Опираясь руками, он поспешно подтянул себя к ногам отца и обнял его за черные и трепаные штаны.

— Папа! — крикнул он каким-то взрослым, твердым, почти мужицким голосом. — Не надо!

И сам зарыдал, затрясся плечами!

И вот они оба стояли возле стола и тряслись, не сдерживаясь, выли в два мужицких голоса, и тогда я, тоже трясясь и плача, крикнул — наивно, по-ще-

нячи, — не находя никаких иных способов успокоить сына, а главное, взрослого отца! Машиниста!

— Но вы понимаете! — крикнул я во весь голос. — Что! Фулюган! Это еще! Не хулиган!

И еще зачем-то выдумал в прибавление:

— А большая дорога! У нас одна!

И совсем сдурев, выкрикнул вычитанное где-то:

— И нету пути назад!

Вот только тут они утихли.

Видно, все эти мои лозунги заскочили им в голову вроде коротких молний. Говори я дольше, спокойней, убедительней, толку бы не вышло. А тут я прокричал! И все стихло!

Первым взял себя в руки отец. Он наклонился к Ленке, с трудом поднял его и усадил на стул, тут же подставленный мной. Вот и Ленка отер лицо руками, а я поднес им по очереди полотенце, смоченное в ведре с водой.

Они улыбнулись.

Суп с лапшой, конечно, простыл. И вообще! Чего я сюда ворвался со своим подаванием?

Надо было двигать отсюда, поскорее забыв происшествие, и я уже готовился выдумать какую-нибудь прощальную причину.

Но Ленкин отец Захар Матвеевич вскинул тут на меня глаза, темные и горькие, улыбнулся и спросил неожиданно и негромко:

— Ну, так как тебя зовут? Давай познакомимся.

Я назвал, но какое это, собственно говоря, могло иметь значение?

А Ленка смотрел на меня с любопытством — будто только проснулся и разглядывает что-то незнакомое.

— Так вы руки-то хоть пожмите, — усмехнулся его отец. И мы пожали.

21.

Вот, собственно, и все.

Кроме самого главного!

Может быть, удрученный результатом неумелого сочувствия, которое обернулось горькой сценой, а может, где-то внутри себя утешаясь мыслью, что отец и сын сумеют обойтись без моего маловозрастного соучастия, я больше не заходил в ту развалюху.

А потом увидел, что окна заколочены на ней досками и избушка совсем скособочилась, как уже умершее, да, по забывчивости людей, не похороненное существо. Значит, жильцы исчезли.

Шли годы, меняя мир вокруг, моих близких и, конечно, меня. Я окончил школу, уехал в другой

город учиться и на каникулы, конечно, летел домой, хотя слова «летел» носит здесь чисто фигуральное выражение.

Конечно, ехал, а не летел. Ехал на поезде.

Я обожал появиться на пороге родного дома неожиданно, чаще всего поутру, потому что поезда из города, где я учился, приходили исключительно по утрам, а некоторые — по ранним утрам. И я часов в шесть, когда все еще дома, являлся как взошедшее солнце, вызывая не только родительский смех и восклицания, но и бабушкины родимые стоны.

Поезда эти были очень разными, числились среди них и скорые, которые не тормозили возле каждого столба, и хоть эти оказывались подороже, я стремился на них, даже попадая на проходящие, и уж эти-то точно были скорыми: разве можно тихо гонять поезда по имени, например, «Владивосток — Москва».

Однажды, с такого вот поезда, проходящего через город, где я учился, и далее, через город, где родился, я сошел на родной перрон очень рано, часов в пять, и оказался едва ли не единственным вышедшим из вагона.

Сняв свой фанерный чемоданишко с лесенки, я развернулся, чтобы рвануть к выходу, и вдруг — лоб в лоб — столкнулся с двумя высокими людьми в черной форме с молоточками на околышках фуражек. Это были железнодорожники.

Я хотел было обогнуть их, чтобы не задерживаться, и вдруг один из них окликнул меня по имени.

Я уставился на него, с трудом вспоминая, где мог видеть этого пожилого человека, и тут второй легонько стукнул меня в плечо.

Вот это да! Передо мной был Ленка, и рядом с ним стоял его отец — как же зовут? Ну да и Ленка-то! Он же на ногах!

Я только и мог выпалить:

— Ленка! Как же ты?

— Да так, — усмехнулся почти взрослый Ленка, которого я бы мог и не узнать на бегу. — Отец вон раздобыл такие пилюли! И ноги у меня выросли по новой!

И расхохотался, разглядывая, видно, мое дурацкое непонимание.

— Эх! — вздохнул его отец. — Если бы сбывались такие чудеса, да я бы...

Он помолчал.

— Конечно, протезы, надо вот новые делать, натирают культы!

Я смотрел на них, переводил взгляд с одного на другого и как бы ждал, что они еще скажут. Помнил, как тогда, за столом, у них Ленку подвел.

— Я кончил ФЗО, — сказал Ленька и покровительственно похлопал меня по плечу, — работаю с отцом, у него помощник. Так что помощник машиниста. А ноги...

Он посмотрел на свои ботинки, ничем не отличавшиеся от моих.

— А ноги машинистам не помеха.

В двух словах я рассказал про себя — мол, учусь, мол, в таком-то городе.

Пожали друг другу руки, я пошел к выходу с перрона, и вдруг меня окликнул старший. И тут я вспомнил, его зовут Захар Матвеевич.

— Коль! — крикнул он мне. — А какая все-таки разница-то — фулюган или хулиган?

Я ответил:

— Фулюган — это еще не хулиган.

И вдруг выдумал:

— Да и не будет им никогда!

22.

«А марки?» — спросите вы.

Где пухленький господин кляссер с отцовскими марками?

Я так об этом и не узнал.

Может, Ленька их продал или променял? Может, пропали, как пропадают безвестно люди. А марки — не люди, и я про них тогда забыл.

Потому что, может, мой отец так и не спросил меня — где они?

Декабрь 2014 года



Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008—2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».



«Юность» продолжает развивать новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что продолжают споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем! Всем спасибо за первые отклики!

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

В Петербурге всегда сыро. Даже когда жгучее солнце. Даже когда вызывающая духота. Все равно ощущение: вот-вот затянется небо тучами. Вот-вот пойдет дождь. И зарядит, зарядит. Может быть, от этого в северной столице всегда немного грустно. И немного тревожно.

Впрочем, в то далекое утро, 19 мая 1864 года, Петербург был городом, каким ему и предложено быть судьбой. Туманным, ветреным. Слезливым от мелкого дождя. Мрачным от густой мглы. Атмосферным. Декоративным. Интеллигентным. Городом для философов. Одного из которых обязательно должны привязать к столбу позора.

Декорации продуманы до мелочей. Мытнинская площадь. Промокший дощатый помост эшафота. Высокий черный столб с цепями. На эшафоте — промокший сухощавый человек. Струйки дождя стекают по бледному лицу. Спол-

зают под воротник пальто. Холодно... как холодно... А ведь это — месяц май. Впрочем, не все ли равно, какой месяц и какая погода. Если так холоден этот мир. Сквозь затуманенные очки трудно философски смотреть на этот мир. А, возможно, наоборот. Затуманенным он выглядит более философичным. И, как ни странно, более понятным и простым. Театральное действие началось. Началась гражданская казнь над Человеком. Возможно, самым интеллигентным из всех интеллигентов России XIX века. Самым политичным из всех политиков России XIX века. Самым мыслящим из всех мыслителей России XIX века. И очень, очень порядочным. Казнь над Николаем Гавриловичем Чернышевским. Величайшим писателем, общественным деятелем, просветителем, социалистом, революционером-демократом, ученым, публицистом.



На площади около двух с половиной тысяч человек. Нет, это не просто зрители, жаждущие хлеба и зрелищ. Это товарищи, единомышленники, соратники. Писатели, студенты, офицеры. Цвет русской интеллигенции. И, конечно, народ. Которому Чернышевский посвятил свою жизнь. И во имя которого он оказался у позорного столба...

Декорации соорудили. А вот спектакль провалился. Да и актеришки, прислуживающие власти, оказались бездарными и безграмотными. Палач неуклюже сдернул шапку с подсудимого. А чиновник, заикаясь и кашляя, зачитал приговор. В итоге поперхнулся клеветой и промямлил «сацалических идей». По непроницаемому гордому лицу Чернышевского скользнула снисходительная улыбка. И в это время из толпы был брошен букет цветов. И все же этот фарс состоялся. Чернышевского приговорили к четырнадцати годам каторги и поселению в Сибири навсегда. За то, что своими «сацалическими идеями» повел молодежь за освобождение народа от рабства. Затем палачи грубо опустили его на колени, приковали железными цепями к столбу и над головой сломали саблю. И дождь пошел сильнее. И стало холоднее. Во всей и без того холодной России. И в толпе воцарилось молчание. Как и во всей и без того молчаливой России.

После окончания этого позорного для России спектакля все ринулись к карете, на которой увозили революционера-демократа в кандалах. Только конные жандармы смогли успокоить людей. И вновь Чернышевскому были брошены цветы. Как победителю. А не побежденному. Кто-то закричал: «Прощай, Чернышевский!» Но его тут же перебили: «До свидания, Чернышевский!» «До свидания-я-я-я!!!» Эхо пронеслось по всей толпе. Эхо пронеслось по всей стране. «До свидания, Чернышевский!»

«До свидания!»

Свидание не состоялось. Через двадцать лет после возвращения в родной Саратов из Сибири, где он прожил двадцать лет, он умер через пять месяцев.

И все-таки получилось «Прощай, Чернышевский!». И как несправедлив этот мир. И о какой справедливости речь, если такой же гражданской казни был подвергнут Мазепа, которого Петр Первый наградил орденом Иуды (изготовленным в единственном экземпляре) за измену России. И декабристы, самая передовая часть русского дворянства, боровшаяся за процветание России. О какой справедливости речь, если к позорному столбу приковали Салтычиху, садистку и убийцу крепостных. И Чернышевского. Благороднейшего борца против крепостничества.

Да уж. Воистину легко смешать добро со злом. Черное и белое. Впрочем, это всегда кому-нибудь нужно. Точнее — выгодно. Как и выгодно было в 90-е годы XX века вторично устроить ему «гражданскую казнь», опозорив и оплевав его имя. Увы, его руки в кандалы уже невозможно заковать. Хотя бы — с удовольствием!.. А в «нулевые», когда общество начало медленно, мучительно, но верно идти к справедливости, эти «борцы за демократию» вдруг суетливо делают Чернышевского «своим» — борцом против нынешней власти. Таковы изощренные, уродливые методы нынешних демократов. Хотя истинными демократами были и остаются Чернышевский и его последователи. И эту историю не переписать. Как не предотвратить гражданскую казнь над новыми мазепами и салтычихами. Чернышевские исключаются.

Как-то Иван Сергеевич Тургенев справедливо заметил: «Все истинные отрицатели, которых я знал — без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнее и т. д.), происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у деятелей, у отрицателей всякую тень личного негодования, личной раздражительности. Они

идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни».

По своей дороге шел и Николай Гаврилович. Как можно быть счастливым, если вокруг столько несчастных. И есть один способ стать счастливым — осчастливить всех. Утопия? Возможно. И все же. Значит, и религия — утопия? Страдания за ближнего — утопия? Готовность принять муки за всенародное счастье — утопия? Вера в справедливость, добро, правду — утопия? Или все же — порядочность и благородство?

Кстати, великий «отрицатель» Николай Чернышевский был из потомственной семьи священников. Отец, оба деда и прадед — все священнослужители. А сам Николай стал революционером. Посвятив себя священному делу. Сделать мир лучше. Он всю жизнь доказывал, что веры в гармонию мира мало. Нужно за гармонию мира бороться. Вот такое соединение веры и борьбы. Гармоничное соединение. Даже если это утопия.

Начитанный, дерзкий, глубокий. Он знал латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, польский, английский, персидский. Воистину — интернациональное мышление. Особенно если великие книги можно читать в подлиннике. Воистину — заработанное право не просто изучать этот мир, но и учить этот мир...

После окончания Петербургского университета он стал старшим преподавателем в Саратовской гимназии. Затем преподавал в кадетском корпусе в Петербурге. Любовь прогрессивной молодежи к нему была безграничной. Ненависть властей — безразмерной. Защита его диссертации становится настоящим событием общественной жизни. Как и его публицистика в журнале «Современник», где он возглавлял политический отдел. Ох уж эти «сацалические идеи»! Они уже давно поперек горла властям. И давно их пора схватить за горло. Чтобы задушить «сацалическую» песню буревестников. Схватили. «Современник» временно закрыли. Чернышевский со товарищи арестованы. В руках суда — ни одного достоверного материала для законного осуждения. «А судьи кто?» Известно. Беззаконие. Чернышевского судили только за то, что он был... Чернышевским. Не больше и не меньше. Нет, пожалуй, больше. К позорному столбу пригвоздили всю передовую Россию. Всю прогрессивную мысль. И веру. Даже если тогда она называлась атеистической. Шекспировское: быть или не быть? И очень русское: что делать?

За четыре месяца в одиночной камере Петропавловской крепости Чернышевский написал роман «Что делать?». Роман тут же опубликовал журнал «Современник» (цензоры проспали или не

читали). И тут же номера «Современника» были изъяты. Роман в рукописи разошелся по всей стране и был подобен взрыву. Взрыву сознания.

«О романе Чернышевского толковали не шепотом, не тишком, — но во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажира. Кричали: “гадость”, “прелесть”, “мерзость” и т. п. — все на разные тоны...» (Н. С. Лесков).

«Для русской молодежи того времени она [книга “Что делать?”] была своего рода откровением и превратилась в программу, сделалась своего рода знаменем...» (П. А. Кропоткин).

В Женеве роман переиздавался пять раз (на русском языке) русскими эмигрантами, затем был переведен на польский, сербский, венгерский, французский, английский, немецкий, итальянский, шведский и голландский языки. Воистину интернациональное мышление. Как того и хотел Чернышевский...

Вообще-то это очень своеобразный роман. Слишком своеобразный, чтобы не стать гениальным. Пожалуй, парадокс в том, что сам автор называл его реалистичным. Да, заявленные приемы критического реализма и революционного романтизма неожиданно впервые породили самый нереалистичный роман. Первый опыт постмодернизма в России. Или первый неореализм вообще? Или гармоничное их сочетание. Тогда таких терминов еще не было. Да и сам Чернышевский вряд ли бы согласился с этим. Он считал себя человеком, родившимся вовремя. В реалистичное, слишком реалистичное время. И, возможно, он впервые ошибался. Да, для своего времени он сделал все возможное и невозможное. Но как писатель-художник он перешагнул время. Недаром его обожал советский авангардист Маяковский. Поэт мысленно часто разговаривал с Чернышевским. Часто спрашивал у него: что делать? Перед самой смертью он в очередной раз перечитывал «Что делать?». Нашел ли ответ Маяковский? Нашел ли ответ Чернышевский? Наверное, если бы было все так однозначно и просто, мы бы до сих пор не спрашивали: что делать? Что?..

Удивительно, но это роман о любви. О любви мужчины и женщины. О любви к Родине. О любви к будущему, которое обязательно случится прекрасным. И все же... Этот роман настолько завуалирован, настолько эзопов и настолько недосказуем, как туман, окутывающий утренний Петербург. Нет, не только потому, что писатель его сочинял в тюремных застенках под пристальным оком жандармов. Что некоторые места до сих пор не расшифрованы. Все гораздо слож-

нее. И глубже. Насколько сложен и глубок этот роман. Иногда кажется, если бы автор был на свободе. И на веранде своего дома писал... Или в чистом поле... Он все равно бы обозначал символы. В этом и суть, и тайна, и талантливость этого произведения. Ведь Чернышевский писал и для будущего. Прекрасно зная, что и в будущем... в общем-то человек будет таким же. Увы. Он был умница, Чернышевский.

Если бы существовал такой жанр «игра», то этот роман можно было бы запросто к нему причислить. Роман-игра. Писателя и читателя. Писатель бросает вызов читателю, подсмеиваясь над ним, иронизируя над ним. Полемизируя с ним о своих любимых благородных героях: «Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои, это не так вам представлялось: не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко...»

Только глупый читатель может обидеться на автора. Умный все поймет. Ирония — вот его литературный прием. Вот способ донести, что идеализировать героев своих романов можно и нужно. Сколько угодно. И даже нарочито и вызывающе «невозможных» «новых людей»: Рахметова, Лопухова, Кирсанова, Веру... Веру Павловну... Первую, создавшую коммуну, первые швейные мастерские. Первую, заявившую о правах женщин. И свободе для женщин. Конечно, где-то далеко-далеко, во Франции, маячила личность прекрасной Жорж Санд. Но за спиной Веры Павловны стоял русский Чернышевский. Какая редкость! Мужчина, который хотел уравнивать женщину с собой. На это способны только настоящие. А ведь это еще XIX век...

Самый главный герой романа «снимается в эпизоде». Ну конечно, Рахметов. Уникальный герой. Которого обожал автор. «Высшие натуры, за которыми не угнаться мне и вам, жалкие друзья мои, высшие натуры не таковы. Я вам показал легкий абрис профиля одной из них: не те черты вы видите...» «Я знаю о Рахметове больше, чем говорю...»

Конечно, конечно больше. Парижская коммуна, итальянские карбонарии. Жанна д'Арк, Джордано Бруно, Мор и Кампанелла, Сен-Симон и Фурье... Их образы до сих пор не разгаданы. Они, как и Чернышевский, знали о мире гораздо, гораздо больше. И их слова во многом до сих пор зашифрованы. «Особенные люди». Они могли

подвергаться чудовищным пыткам. Их загоняли в «крокодилы ямы». Взивался костер, превращая их в пепел. И они выживали. Как Рахметов, который сознательно подвергал свое тело физической боли. Но дело не в физиологии. Они просто тренировали свой мозг, свое сознание. И, безусловно, главным для них была — вера. Так выдерживали и потом, спустя век, в Великую Отечественную. Благодаря вере. Так еще мы обязательно выдержим. Если поймем, «Что делать?». Даже безответно.

Ленин резко ответил меньшевику Валентинову на его пренебрежительный отзыв о романе. Любимом романе вождя. «Он меня всего глубоко перепыхал. Когда вы читали “Что делать?” Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам пробовал его читать, кажется, в четырнадцать лет. Это было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата... Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют...» Только гениальные.

Если бы был такой жанр в литературе «спектакль», этот роман бы в него вписался. Роман-спектакль. И великий социалист на подмостках, на коленях, прикованный к позорному столбу. Непроницаемый гордый взгляд. В будущее. Холодные струи дождя, проникающие через пальто. Холодно. Как во всем Петербурге. Туманном и философском. И не всегда милосердном Петербурге. И публика. Можно гнилые помидоры, а можно — цветы. Конечно, букет красных роз. От свободных женщин XIX века. К ногам Чернышевского.

Что делать? Этот вечный вопрос встает перед каждым из нас каждый день. И ответ на него может определить судьбу человека...

Личность Чернышевского — это явление века. Мировоззрение Чернышевского — это открытие века. Роман Чернышевского — это откровение века. И подвиг. Подвиги совершают не только на войне. Их совершают и в искусстве тоже. Очень, очень немногие. Но извечный вопрос «Что делать?» задают все писатели. И только избранные отвечают на него. По-своему. Или не отвечают. Как Чернышевский... Как и еще 99 писателей, которые потрясли мир.


Анна ГЕДЫМИН

Анна Гедымин — коренная москвичка. Родилась на Арбате, в семье инженеров. Окончила факультет журналистики МГУ. Стихи начала писать на первом курсе, первая публикация — в газете «Московский комсомолец». Пишет прозу, произведения для детей. Печаталась в «Литературной газете», «Литературной России», газетах «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Октябрь», «Континент», «Кольцо А», «Огонек», «Арион», «Работница», «Крестьянка», «Крокодил», «Литературная учеба», «Новый журнал» (Нью-Йорк) и др., в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки» и т. д. Автор шести стихотворных сборников (первый — «Каштаны на Калининском» — вышел в 1985 году, последний — «Осенние праздники» — в 2012 году) и электронной книги стихов о любви «С четверти первого до полседьмого» (2012).

* * *

Бремя давней любви —
 это счастье особого рода.
 Ты продлил бы мне, Господи,
 кроткое это житье!
 Ну а если нельзя без геройства —
 пусть, ладно, свобода.
 Только пусть поскорей,
 я хочу пережить и ее.

Я согласна хлебнуть вышины,
 как не всякая птица,
 Сквозь мелеющий воздух
 мучительной красоты.
 Лишь бы к ночи хотя бы
 в душистой избе схорониться,
 Где в хорошее лето
 окна достигают цветы.

А потом вспоминать, улыбаясь,
 звоночки трамвая,

Ярко-желтые пятна на синем
 (листва и вода)
 И подумать, что осень
 так сладко меня забывает,
 Как никто из людей
 никого, ни за что, никогда...

* * *

Друзей не выбирают и детей,
 Родителей, и родину, и плаху.
 Горазда жизнь одаривать с размаху,
 Шутя, не поровну своих гостей.

А кто решил судьбу переиграть,
 Себя приговорил к жестокой мере:
 От долгожданной вроде бы потери
 Как от потери крови умирать.

ЧЕСТОЛЮБИВАЯ МОЛИТВА

Музыка! Ты пришла, наконец...
 Листва шелестит, маня...
 Кончено, теперь я тоже — творец.
 Боже, прости меня!

И наплевать, что, злой, как оса,
 И от власти хмельной,
 Ангел возмездья уж полчаса
 Носится надо мной.

Милый, придется чуть обождать,
 Постой дудеть на трубе,
 Пока не кончится благодать —
 Я не дамся тебе.

Ваш Главный слепил меня из интриг,
 Швырял из блеска во тьму,
 Но вот за этот звучащий миг
 Я все прощаю Ему.

И пусть перелесок уже в огне
 И пестр от змеиных лент,
 Пойми: если что-то зачтется мне,
 Так этот самый момент!

Не то что звезда, а метеорит
Сверкнул на исходе дня...
И, может, ваш Главный чуть пожурит,
Но все ж — помилует мя.

* * *

Казалось, здесь каждый кустик знаком,
Но стало смутно и странно,
Когда овраг, словно молоком,
Наполнился вдруг туманом.

И охнул закат, и прервался путь,
И взгляд оценил глубины:
Березы стоят в молоке по грудь,
По шею стоят рябины.

И пес, будто зная, что жизнь одна,
От дома, от спелых грядок
Летит, чтобы вылакать все до дна —
И счастье, и непорядок.



Станислав АСЕЕВ

Окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2015 год

МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, или ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ

РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ

Рисунок Настасьи Поповой

ГЛАВА 12. В СТРАНЕ МАЙДАНОВ

Перед тем как провести вас по финальным коридорам моей души, вместо лепестков роз усеянным листками тоски и печали, разрешите мне сказать несколько слов. Быть может, многие из вас сочтут меня чрезмерно деликатным при выборе той палитры, которой я собираюсь очертить силуэты нашей недавней истории, а некоторые, напротив, возненавидят за излишнюю яркость в бесцветных на деле тонах. Но, друзья! Позвольте мне самому указать вам на наибольший промах прочтенной главы — ее не должно быть здесь вовсе. Все дело в том, что едва художник берется за кисть, как его руки более не принадлежат ему самому, и если вдруг вздумается его несносному «я» перечить ветрам провидения, то единственный путь для такого человека — отказаться от своего ремесла. Но раз уж в этой книге изложены события моей бурной жизни, смогу ли я отсеять их весомую часть, не сообщив вам о том, о чем бы не стал говорить ни при каких других обстоятельствах? Разумеется, нет. А стало быть, мне остается лишь просить вашего снисхождения, ссылаясь на то, что строки эти и сейчас пишутся под залпами артиллерийских орудий, пытаюсь нащупать то дно, в котором дрейфует наш край. И так...

Оказавшись на улице, я тут же примкнул к тысячам безработных, чьи нестройные ряды ежедневно пополнялись новыми людьми с тюком за плечами. Еще некоторое время кочуя от складов к складам и получая отказ за отказом, я наконец оставил это гиблое дело и более не пытался подыскать для себя работу. Но в душе я был рад: воспринимая потерю работы как временное благо, я уже давно ощущал, что внутри меня что-то сломалось — что-то, что могло не позволить мне уйти с этих грязных складов самому, без хорошего пинка ботинка судьбы. Но так думал лишь я. И вот весомая тому причина.

Видите ли, все лучшие, стальные черты характера, о которых так часто упоминают, говоря о людях из рабочих городков, становятся чем-то вроде необходимого инстинкта, передающегося почти по наследству, от отца к сыну, и позволяющего выжить в тех условиях жизни, где сама форма подобного существования должна была бы считаться недопустимой и унижительной. И гордость... Безразмерная гордость, почти благодарность за отнятую жизнь через вязкое время рабочих часов — все это составляло необходимую сущность шахтерских глубин, где каждый новый день при-

носил очередной восход серого дымного солнца. Но стоит отнять у человека его путеводную звезду, как он готов поклоняться тельцу, проклиная то, чему еще недавно отпускал поклоны.

Едва я вскочил в длиннющую очередь стоящих за плетью с цепями, как тут же обнаружил, что все эти люди не просто лишились средств к существованию — они не знали, как им жить дальше в самом широком смысле этого слова. Моя мать и дня не могла провести без работы, в единственный законный выходной занимая себя чем угодно, лишь бы не замечать проклятия той свободы, что разверзается перед нами в минуты покоя от крысиных бегов. Но что, если этот выходной превращается в целую жизнь, ставя огромный вопрос у вашего носа не только о ценах на хлеб, но и об отнятой вере в священность и святость труда?

Именно это обстоятельство стало причиной, по которой слово «майдан» звучало на нашей земле словно ругательство, а первые дни протестных шагов встречались Донбассом одной-единственной мыслью, когда фраза «я работаю» объясняла все: и притязания с надеждой на лучшую жизнь, и покорное смирение с отсутствием этой жизни, и, наконец, гордость за принесение себя в жертву новому богу XX века, все еще чувствовавшему себя уютно в редких уголках ныне атеистической земли, — Труд. Да, именно Труд, написанный с большой буквы, стал новым распятием востока страны, когда остальная часть Украины уже давно молилась на нечто более эфемерное и утонченное, сменившее старика-еврея на такое же бестелесное, невидимое для простых смертных существо — Право. И в ситуации, когда мозоли стали заменять стигматы — с одной стороны, а тонкая бумажка с вынесенным приговором и мокрой печатью — с другой, в стране, где все это еще недавно варилось под крышкой идеи вселенского рая до конца семидесятых годов, люди лишь больше упорствовали в своем стремлении оставить все как есть, едва это «все» разворачивалось в сторону нового рая, перенесенного уже на неопределенный срок.

Но если мои земляки мыслили сытым желудком и платой скупых отпускных, то заоблачные грани свободы уже поджигали в умах остальных грязные черные шины и жажду горящих огней. О! Существует ли еще одна такая страна, чей силуэт бы стал экспериментом на свету равноправия? Все эти люди... Все это бесчисленное множество несчастных людей, чей взор пылал невосполнимо жаждой звенящей от пуль пустоты... Ведь они могли бы бежать по ступеням парижских садов, крича «не забудь свою щетку», в надежде догнать

обворожительную незнакомку, с которой только что провели эту ночь; могли бы лежать в тени африканских прерий под развесистыми акациями, глядя на прорывающиеся уголки неба сквозь шелест зеленых ветвей; они могли бы купаться ночью в Днепре под пестротой небесных огней, мечтая о вечерних закатах на Фиджи и щекотании собственных стоп послушной океанской волной под тихие ритмы луизианского блюза. Они могли бы... Человек всегда был спором о его счастье, помноженным на вечность. Что же удивительного в том, что и наша нация решила сделать в нем ставку, отправив свой шанс на зеро?

Настало время, когда на Украине высшей формой рациональности стал ваш собственный изогнутый силуэт в шезлонге на Мальдивских островах с коктейлем «Маргарита» в загорелой руке. Если вы смогли обогнуть все углы общечеловеческих ценностей, избежать двадцати пожизненных сроков за кражу государственных средств в таких масштабах, что могли бы заранее выкупить все тюрьмы страны в частное пользование и превратить их в первоклассные отели с генеральным прокурором в качестве швейцара, если ваши будущие потомки благополучно могли бы не работать в течение следующих тысячелетий, живя на украденные своим далеким предприимчивым предком деньги, и, наконец, если при всем этом вас ни капли не мучила мысль о том, что во всем этом что-то не так, — лишь тогда с лазурных небес благоденствия и успеха раскрывались сияющие врата вполне земного, привычного рая и раздавались оглушительные аплодисменты, прямо в тени банановых листьев далеких земель.

Но было бы ошибкой считать, что такой способ мысли был присущ исключительно сильным мира сего, ибо те, кто бросал в тучных толстосумов тяжелыми кирпичами с Майдана, ни капли не осознавали, что эти самые кирпичи и есть краеугольные камни здания равенства и свободы, столетиями выстраиваемого в разных уголках нашей планеты. Безумством стала бы жизнь людей, чьим идеалом сделалась смерть: равенство и свобода были так же противны действительности, как и навязчивая идея о том, будто президенты должны жить в собачьих будках наравне с теми, кто так и не сумел выкарабкаться из своей конуры за всю свою жизнь. Старая добрая мысль «все взять и поделить» перекочевала из дворцов и дворянских поместий в человеческие души, ставя в один ранг профессора, президента и продавца рыбы, а всеобщее равенство вместо распятия взгромоздило над вашей кроватью эталон добродетели — Конституцию Украины. Создавалось впечатление, что

тот самый золотой унитаз, которым всякий раз тыкали в нос совести бывшего тирана, целиком оправдал бы украденные на него деньги, отливайся он из простого фарфора. В этом отношении немцы могли бы служить нам отличным примером, не топчась по шляпе с пером Германа Геринга даже после Нюрнбергского процесса. Демократии, как и любви, нужно было учиться, каждый день проводя в боях с собственными пороками и недостатками. Но, очевидно, высшее благо на родных черноземах приобретало форму очередного невроза, когда недостижимая цель выливается в легкое подергивание раньше спящей руки.

Что ж, одной из черт новоевропейских свобод стал глас большинства, а потому сам я, думая именно так, а не иначе, был в том самом меньшинстве, чье множество состояло из одного-единственного элемента — меня самого. Но «скромному обаянию буржуазии» лишь предстояло окутать нас сном из волшебных свобод, на деле встречавшихся реже, чем верно поджаренный стейк. Глупость, этот величайший из щитов эволюции, претворил нашу собственную волю в анахронизм, выбив последние камни свободы из-под ватных ног всеобщего покоя и равноправия. Демократия стала воплощением безвкусицы. Страна трещала по швам, и несмотря на то, что сам я был на самом дне общества, не имея ни работы, ни средств к нормальному существованию, испытывая все недостатки той «недемократичности», о которой всякий раз заходила речь, лишь стоило с акцентом произнести слово «ганьба», — я все же отчетливо осознавал, сколь безвозвратно утеряна тяга к глубокомыслию и независимости духа, сменившаяся гильотиной под дробь Ламетри.

И однако же как атомная бомба, по словам Хайдеггера, начала взрываться уже в поэме Парменида, точно так же черные купола дыма над некогда цветущим Киевом своими корнями впивались в диалоги Платона, где под внешней пеленой из нынешних взрывов и горящих шин свершилась, быть может, величайшая трагедия человеческого ума — победа единого над многим. Неискушенному человеку это может показаться смешным, но именно отсюда вела свое начало мысль, будто всеобщее есть воплощение божественного, именно здесь явился, словно фонтан кипящей воды, глас народа, ставший впоследствии гласом Божьим, а затем и вовсе избавившийся от своего небесного соседа, и, наконец, именно здесь окончательно стерлась та тонкая нить, почти прозрачным солнечным лучом некогда связывавшая человека с тихим дыханием спящей земли. Поразительно, как философия, целыми столетиями

смущенно ронявшая взор от обвинений в бесплодности и наивности, теперь определяла облик целой страны. Но еще поразительнее было то, что никто из новообращенных революционеров и близко не видел этой связи, связи между поднятым флажком из снайперских винтовок и маленькими черными буквами, написанными более двух с половиной тысячелетий назад.

Были ли мы патриотами? Наверное, нет. Для этого чувства нам не хватало огня, горевшего в глазах вместе с зажженной бутылкой у тех, кто хотел перемен. Да и сами перемены не прошли сквозь кабацкий угар. Патриотизм, одна из высочайших ценностей демократической мысли и вместе с тем наиболее уязвимая, которой суждено одной из первых уйти в небытие новообразующего мира, просто априори не мог прорасти на донецкой земле, чью почву уже давно питали подземные ручейки безразличия и презрения, невидимые для столичного глаза.

Украина, которую я мог созерцать из окна своего дома, отнюдь не была похожа на прекрасную молодую дівчину с весенней пасторали закарпатских лугов, в чьих пшеничных волосах удивительно переливались синие лепестки рассветных фиалок. Здесь не звучали звонкие голоса народных песен, не было слышно вечернего лая собак, и та чудная украинская ночь, о которой так точно когда-то сказал гений народной души — Гоголь, и близко не сверкала своей тишиной над застывшими ночными балками и лесками, за редким исключением попадая на картинки рождественских календарей.

Нет. Та Украина, которую я видел, была соткана из разбитых серых дорог, смешанных с грязью и шахтной породой; из пьяных бедных людей, для которых черные и серые тона засаленной, зачастую еще советской одежды стали национальными цветами, а рюмка водки в протухшем местном кабаке — единственным спасением от наступающего завтрашнего дня; из покосившихся старых домов, на чьи еще хрущевские облезшие заборы то и дело надвигались гигантские горы рыжих терриконов; из смога, порою накрывающего вечерний город такой пеленой тумана, что кашель становился чем-то естественным, почти привитым внутренним уставом двенадцатичасового рабочего дня; из двуглавого вензеля русского языка, в чье грубое тело безжалостно впился местный мат, нередко заменявший одним восклицанием целые деепричастные обороты. Не может быть любви там, где нет даже гнева, а есть лишь усталость и сон, чья серая колыбель растила в себе все новые и новые поколения людей, лишенных будущего бездумным веретеном любви к «единой земле».



И на все это хотели набросить белоснежное покрывало европейских просторов, как если бы вы пожелали обернуть грязного бродягу шелковым саваном китайских мастеров. Какая нелепость, какое безвкусье царило в этом невротическом тике народной души, вечно рвущейся в сторону заходящего солнца! Увы, Европа! Когда-то очаг сокровенного, теперь ты стала приютом сирот, растворив свой горный ручей в бездонном океане жадных алчущих ртов. Но что сможет предложить Европе Бог, когда она пресытится своим довольством? Лишь гром войны, пирующий на улыбчивых устах фантазии и каприза. Но тем более нам, детям мирной земли, покой представлялся невообразимой целью, дымкой, чью туманную пелену наполняют тишина и ее привычка. Обыденное кажется благом, стабильность — ремеслом, призванным дать любому политику безоговорочное доверие преданных прежде умов.

Впрочем, понять, сколь далеко отстоит душа нашего человека от аккуратной золотистой оберт-

ки западной мысли, можно, лишь посетив украинские кладбища в поминальные дни, когда в одном из самых знаковых мест человеческой жизни разворачивалось поистине грандиозное действие, едва ли доступное пониманию французов или англичан.

Сами по себе многие западные погосты могли бы служить образцами мировой скульптуры и архитектурных традиций, складывающихся тысячелетиями, вмещающих в себя грандиозность готической мысли, либо же, напротив, арлингтонскую скромность белесой плиты с растущим вокруг нее аккуратным газоном. Что можно увидеть в желани несчастных европейцев, потерявших своих родных и близких, посетить их последний приют? Скромный букет нарциссов в руках опрятной дамы в черном пальто, стоящей у маленького гранитного надгробья своего отца или мужа.

С самого детства поход на кладбище был для меня целым ритуалом. У железных советских гробниц в человеческий рост с обязательной красной звездой на верхушке собиралось не менее

дюжины родственников, кочевавших от одной могилы к другой с торбами мяса, сала, котлет, огурцов и выпивки, раскладывавшихся бабушкой как на покосившемся деревянном столе, так и на самих могилах, после чего следовало обязательное повторение того дня, когда покойник отпелся: плач, причитания и рыдания вкупе с выпитым алкоголем и разворачивание прямо у подножия гробниц печенья, пасок, конфет и иных продуктов, по всей видимости, могущих пригодиться усопшему на том свете, а в действительности собиравшихся целыми ордами нищих и бедноты, бродящими по кладбищу к закату печального дня. Нередко у могил оставлялся и стакан с водкой, что, полагаю, было просто находкой для рядовых бродяг, вынужденных отдавать большую часть собранного в общий котел.

Надо сказать, что подобную атмосферу рыданий и уныний разделяли далеко не все присутствующие, и само количество пролитых слез снижалось пропорционально степени родства, тогда как в иных случаях рядом с плачем тут же можно было услышать тихий веселый рассказ о запаске, которую мой двоюродный дядя забыл прихватить с собой на рыбалку на случай прокола колеса. Наконец, после расстановки кастрюль с нарезанной колбасой и вареными яйцами все принимались вспоминать, сколь добрым человеком был покойный, что было едва ли не единственным приятным моментом во всем представлении.

Культура смерти всегда была живым отражением отношения к жизни, и те самые куски расплывшейся колбасы на могилах в действительности никуда не исчезали с окончанием поминального дня, переноса общее мироощущение наших людей в уже мирно ждущую их жизнь за фабричными станками и домашними диванами у голубых экранов.

Впрочем, дабы вы, мой уважаемый читатель, не сочли меня бородатым славянофилом, спящим на ложе из шумящих берез, скажу, что лишь единожды посетив Россию еще в детстве с необходимым визитом к отцовской родне, я навсегда для себя ощутил ту неистовую грусть, с которой не смог бы прожить и года в этой стране, между тем уже давно вливаю в души людей предпраздничным звоном церковей и сумрачным гулом курских лесов. Россия была экзотическим аттракционом, на который садились лишь после долгой однообразной череды жизненных пут и свершений, перед тем широко открытым взором пугливо глядя на отсутствовавшие ремни безопасности. Сиюминутное приключение с незабываемым щекотанием нервов — возможно, но ежедневный стиль

жизни, когда уже ничто на этом свете не в силах вас удивить, — едва ли это тот путь, о котором мечтает большинство человечества. Украина в ее шахтерском варианте была той уникальной землей, где все еще тусклый туман неизвестности, столь свойственный русским просторам, пускай и редко, но прорезал европейский луч равноправной линейки, и с каждым новым поколением этот процесс прибавлял по миллиметру порядка в беспросветность хаоса нашей земли. В этом и крылось то малое семя, что отличало Донбасс от дремучей России, все еще смотрящей на мир через тургеневский «Крокет в Виндзоре»: наш братский сосед разыгрывал глубокую шахматную партию, тогда как Европа по своему обыкновению играла в поддавки, наивно веруя в общий цвет клеточных полей.

У меня есть теория: глубокие души плавятся лишь в горниле тьмы и скорбей, когда жизнь воспринимается как то, что еще следует заслужить. Сейчас мы мыслим жизнь как дар, высочайшее благо, но лишь когда она, словно призрак, мелькает среди руин сожженной Варшавы, когда ненадолго появляется у замерзшего насмерть солдата у разбитых орудий, когда расцветает ярким цветком от теплой похлебки на тюремных нарах из ржавых железных прутьев в холодную морозную ночь, — лишь тогда появляются те, кто способен увидеть в ней саму жизнь, а не еще один дар, нанизанный на ожерелье из наших взглядов и мыслей. Думаю, настал черед и нашей страны — не имея в виду себя, я жду, что и на Украине должен явиться настоящий гений, тот, кто способен еще на слезы, а не только на смех.

Но как бы там ни было, а после Майдана я стал смотреть на себя исключительно сквозь призму времени, каким-то чудесным образом объявше-го в себе самого человека и словно в насмешку сделавшего его всего лишь одной из многочисленных вещей в самом себе — вещей, которым лишь предстояло отстоять право на существование под прищуренным взглядом бесконечности жизни. О как заблуждались мы, когда, скача на одной ноге в центре вселенной, беспечно забросили время в глубокий карман своего туманного тщеславия! Карьера, семья, деньги, наслаждения — весь этот шикарный итальянский фиат, не скрывая своего раритетного вида, питался, тем не менее, лишь одним типом топлива, подходящего для его больного желудка, — смертностью. Идея ограниченности нашего пребывания на этой земле заставляла нас бежать все быстрее, цепляясь за каждую возможность, словно шарик, блуждающий в бесконечном лабиринте времен.

Но иногда наступали мгновения, когда человек бросал все, останавливался, как бы замирая во все еще двигающемся кадре, брал бейсбольную битку или просто наскоро вырванную корягу и шел напролом, забывая обо всем на свете, готовый променять двадцать тысяч дней своей жизни на, быть может, несколько мгновений под прицельным огнем. Именно этим был интересен Майдан. Не наивными плакатами, не выкриками «слава Украине», не кровью, смешанной со слезами и плачем на киевских улицах, через время, словно засохший сорняк, перекатившихся на землю Донбасса, и даже не искренней верой людей во все это, — а самим молчаливым сопением вечности, которая, будто суровый критик, стояла в стороне от испачканных тел, словно шепча лишь одно: «И это пройдет».

Да, я не разделял убеждений этих людей, но искренне уважал их за то, что полуживому тягучему существованию они избрали хаос и безумство мгновения, единственно способного придать человеческой жизни если не утраченный смысл, то уж наверняка никогда не терявшееся достоинство.

Должен признаться, моя жизнь всегда текла стороной от общественных бурных потоков, и едва лишь пожары умов перекинулись на спящий Донбасс, как я вновь оказался меж двух огней, отказываясь верить в то, что лицезрел на нашей земле. Словно десятки зеркал, в которых мелькали огни революции, повсюду зывали к тому, что еще недавно так горячо проклинали с трибун своего возмущения борцы за донбасский народ. Я помню весенний Донецк. Март. Переполненную людьми улицу, крики, десятки цветов, возложенных к фотографиям погибших бойцов. А затем и тепло. Нет... Даже жаркое солнце, жару, осевшую на сальном теле толпы, трепетавшей в едином органе при криках «Россия!» и «Слава донбасской земле!». Растерянность и гнев сменили свой яркий окрас с цветных вышиванок на черный оттенок угля. Вокруг все гудело. Вся площадь забита людьми. И блеск... Все тот же блеск в глазах, все тот же неистовый трепет от веры в свои небеса. Помню, как кто-то рыдал прямо на крышке цевья. Залпы из ружей, и снова крики... Боже! Революция вредна одним лишь шумом, и тишина могла бы считаться верным признаком величия страны. Чего же хотели все мы?

Да, голос Востока не был слышен в шумном вихре столичных боев за чиновничьи кресла, но, по правде сказать, и говорить было не с кем. На центральных площадях стояли те, кто едва ли мог стать выразителем мнения большинства, вмещая в общую канву присутствующих и весьма не-

адекватных пожилых дам в сиреневых шляпках с портретами Сталина в золотом мундире, и людей, раздававших паспорта будущей Донецкой Республики, и крепких спортивных ребят с российскими триколорами и фотографией Путина в только что купленной деревянной рамке, — да и просто тех, кто пришел поглазеть на яркие советские флаги вне теплых майских деньков. Я даже лично знал пару-тройку парней, которые всерьез выступали за восстановление монархии и даже отправили письмо потомкам австро-венгерских королей, осевших будто бы в Вене, с приглашением занять украинский престол. Украина напоминала древний Иерусалим, куда на Пасху стекались все: маги, волшебники, жрецы, раввины, нищие, римляне — все были здесь и образовывали собой яркий котел, чьи брызги походили на сияние падающих звезд на глубоком лоскуте черного неба.

И все же счетчик мировой истории в очередной раз повернул умы в сторону крепкой руки: едва заметные, пока все еще тлеющие под ванильным розовым небом демократии и прогресса огоньки ненависти из глубин зывали к пламени пожара и грозным небесам, когда одно-единственное слово могло бы собрать всю волю воедино, — и неважно, горело бы оно ночным факелом на Крещатике или белело каменными стенами Москвы. Это только начало, которое, быть может, во всем его блеске предстоит увидеть другим поколениям, но положено оно было именно здесь, на Украине, в февральские ночи меж тающих в небе огней.

Знаете, долгое время я видел один и тот же сон. Я стою посреди прохладной осенней улицы со стаканчиком прозрачной ананасовой воды, а с крыши городской часовни срывается стая голубей, разгоняя уже опавшие листья взмахами белоснежных крыльев. И более ничего. Иногда часовня сменялась невысоким домом с разбитым шифером, а голуби были серого цвета, но остальное повторялось вновь и вновь: стоило мне взглянуть на воду, как эти птицы раз за разом разгоняли ломкие желтые листья, после чего я погружался во тьму. Не могу сказать, что придавал ему большое значение, но какое-то время бессмысленность сна приводила меня в замешательство, наутро вызывая ощущение особой зыбкости и прохлады, селившихся в еще спящей душе. «Прелестные картинки», как сказала бы Джейн. Быть может, именно потому в тот день я решил на «тайную вечерю», последний монолог с собой, обмакнув перо собственными мыслями в чернила тоски и покоя. Да, я вновь увидел его: вода, голуби, осень — все повторилось опять, и к вечеру я созрел к этой мысли, уже давно присмотрев для себя здешний бордель под мер-

цанием винных витрин. Не думаю, что вам захочется отыскать это местечко, но все же пускай его имя останется в тайне для вас, сбивая с толку своей пестротой, — «Вебрь».

Я помню блеклый туман и редкие насыпи снега, таявшие в тот вечер под мелким дождем. Донецк утопал в огнях, страна катилась к чертям. Недавние огни революции, Париж, промерзшие вагоны с хрустящими тарталетками, тот миг, когда я стоял у реки с высоким монахом, — все это крутилось в моей голове, пока я нетвердо шагал к намеченной цели сквозь холод и снег. Мне уже давно следовало это сделать, разрубить тот узел, что сужал тугую петлю.

Не знаю, уместной ли будет здесь эта фраза, но мне очень повезло с борделем. Замаскированный под массажный салон, он выглядел как дорогой отель, а его услуги были столь же нежны и элегантны, как и обещанный в нем массаж, к слову сказать, таки совершаемый девушками при желании клиента. Но я не желал. Зато воспользовался иным родом довольства: здесь же, в уютном отдельном помещении, находилось нечто вроде небольшого бара, в котором предварительно можно было пообщаться со своей избранницей. Местный паб был целиком залит красными огнями, ярко отблескивающими на якобы кирпичной стене, на самом деле обклеенной особого рода обоями. Мне даже показалось странным, насколько хорошо и уютно я чувствовал себя здесь, будто бы проводил в подобных местах все свое время, а не зашел сюда впервые. Играла расслабляющая приглушенная музыка, и мы с Аннет, чей псевдоним целиком не соответствовал ее образу, выпили по чашке сладкого кофе, после чего я осознал, сколь скромная девушка мне досталась. На ее лице не было ни капли вульгарности, которая свойственна людям ее профессии, обыкновенно перерастающей в развязное игривое поведение и даже некоторое презрение к самому клиенту из-за его «пустосторонности». Скорее ее лицо было закрытым, не сообщающим ничего, кроме этого мгновения, вобравшего в себя лишь алый мерцающий блик на стене и запах крепкого кофе.

Пройдя темный малахитовый зал, мы спустились в яркую комнату, где тотчас приглушили свет и зашторили окна. Все это время Аннет держала меня за руку, словно вела за собой в причудливый мир для тех, кто потерял всякий ориентир в том, прошлом мире, неуютном и зыбком, на который я бы не променял теперь и эту кровать, на вид идеально чистую и выстланную розовым мягким одеялом с голубыми вставками из каких-то птиц. Декорация блаженства и покоя, удовольствия в

его чистом виде, очищенного ото всех социальных и культурных наслоений, купленного лишь на час тем, кто устал бы и от этого беспечного рая, продлись он на целую вечность.

Из «Вебря» я вышел уже под вечер, чувствуя себя необычно душно то ли из-за собиравшегося дождя, то ли из-за подступавшей тошноты, по всей видимости, являвшейся следствием чересчур сладкого кофе. Купив бутылку минеральной воды, я отправился бесцельно бродить по городу, пытаясь не испортить пережитых мгновений идиотской привычкой переваривать жизнь в пустынном желудке мыслей и размышлений. Но пройдя несколько улиц и едва завернув за угол, я выблевал прямо на землю, почувствовав почти физическое отвращение к себе самому. Я вовсе не испытывал угрызений совести и отнюдь не жалел о том, что провел час вместе с этой девушкой, и впоследствии еще не раз возвращался в тот красный салон огней, мерцавших на кирпичной стене. Но в эту минуту мне было не по себе, и, сделав глоток минералки, я тут же определил свое бесцельное скитание по донецким улицам — ресторан напротив городского собора, в котором я всегда чувствовал себя особенно хорошо, несмотря на явный диссонанс моей свободной души с его стабильно сверкающим холлом. Мне всегда нравилась особая атмосфера этого места, к тому же там все время играл блюз, который я уже успел полюбить среди прочих зеленых ветвей музыки.

Заказав из вежливости небольшое пирожное и чашку холодного чая без сахара, ибо есть мне несколько не хотелось, я уселся у стены напротив картины с каким-то водоемом, напоминавшей репродукцию пейзажей Добиньи. Так и есть — это «Берега Уазы». Заказ принесли слишком быстро — придется есть. Но я пришел сюда для другого. Мне наконец захотелось сказать себе то, что я так долго скрывал за ширмой долгих лет из зеленых беретов и золотистого гранатного пламени. Что стояло за всем этим? Какая из еще не развенчанных иллюзий блуждала в моей душе, пытаюсь заново соткать распущенное тело надежды?

Приятный полумрак ресторана проявлял в темноте окна освещаемый шпиль собора и мелкие капли дождя, тоскливо рвущиеся внутрь этого теплого уголка покоя и уюта. Чай горьковат. Сделав пару глотков, я наконец удобно расселся на стуле, обитом мягкой серебряной тканью. Теперь, лишь теперь я был полностью спокоен и готов принять все, от мельчайших крошек на этом столе до удивительного сияния самых далеких звезд, столь же холодных, как и этот вечер.

Что из того, что я принял главную цель своей жизни, словно выбирая капусту на рынке? Что из того, что я чуть было не отказался от нее ради той, о ком и теперь не могу вспоминать без гнева и боли, пронизывающих все тело горячей смолой разочарования? Что, в сущности, мне до всех тех, кто пройдет точно такой же путь и совершит те же ошибки, что и я в своей жизни, быть может, сочтя их за единственно возможный способ существования на этой земле? Да и что, наконец, изменило бы то, проживи я свою жизнь одним из миллиардов других вариантов, способных увлечь меня не больше, чем вот это заварное безе, плывущее в полутьме лиловых огней ресторана, где я уже в который раз слушаю одну и ту же заунывную мелодию из *Let them talk: After you've gone* звучала уже трижды, не без основания считаясь признаком хорошего вкуса и мещанской атмосферы достатка. Мой отец умер под лавкой — я растворяюсь в небытии стеклянных витрин и мерцающих фонарей, быть может, выиграв для себя лишь несколько лишних лет скитаний от дома к работе. Казалось, все мое будущее застыло прямо здесь, прямо в этом зале, собравшись в углу под той картиной юным наивным парнишкой, завязывающим шнурки ботинок для бега к своей мечте. Я готов бежать вместе с ним — в сущности, нет ничего, кроме бега. И теперь, когда я всей своей сутью впитал этот промерзший мокрый вечер, мне захотелось вновь повидать того старика, что много лет назад встретился мне на жаркой каирской улице, обмотанный мешками и сетчатой лентой: теперь мне кажется, что существование не коснулось его своей липкой рукой, ведь он был кусочком какого-то совсем иного, бесконечно радужного мира, не погрязшего в спянявой мольбе к себе, несмотря на всю нищету его жизни.

Я вышел на улицу без четверти восемь. Все еще моросил мелкий дождь, но мне захотелось пройтись. До набережной было идти минут два-

дцать, но я специально шел медленно, наслаждаясь тишиной опустевших улиц обычно шумного города. Через несколько месяцев здесь будет война. Тяжелые гаубицы изроют ту землю, где дремлет сейчас промокший каштан. Но все это будет позже. В каком-то смысле я был благодарен дождю за возможность собраться с мыслями и спокойно пройтись до мостовой — и прежде угрюмые небеса, видимо, отплатили мне той же душевной улыбкой: ибо едва я дошел до реки, как дождь прекратился, и я спокойно стоял на мосту, глядя на вечерние огни теплых высоких домов.

ЭПИЛОГ

Был конец ноября, когда я шел по местному рынку, пытаюсь сквозь ветер и накрапывающий дождь добрести до автобусной остановки. Как вдруг, проходя мимо прилавка со всевозможными пластмассовыми мельницами, плюшевыми игрушками и бумажными календарями, я увидел удивительной красоты слона, вылитого из серебристого металла, похожего на мельхиор. Он стоял в застывшей позе с закрытыми глазами на такой же серебристой подставке, словно уснув посреди шумного дня. И тут внезапно начался ливень: ветер усилился втрое, срывая даже крыши товарных палаток и разнося в стороны календари и легкие плюшевые игрушки. Хозяйка лотка стала спешно собирать товар, суетясь и охая от внезапно налетевшей бури. И во всем этом хаосе из холодного ливня и обжигающего лица ветра лишь этот маленький мельхиоровый слон стоял неподвижно, ни на миллиметр не поддавшись натиску осенних капризов земли.

Засунув руки в карманы плаща, я укутался носом в вязаный шарф и неспешно побрел вверх по улице, отчего-то легко и рассеянно улыбаясь под теплыми мягкими нитками, щекотавшими нос.

22.12.2013–18.08.2014



Анастасия ОРЛОВА

**Анастасия Орлова — русский поэт.
Пишет стихи и прозу для детей.**

**Член Союза писателей Москвы. Участница семинаров,
форумов и фестивалей для молодых писателей.**

**Стипендиат Министерства культуры
РФ. Победитель Третьего ежегодного
литературного конкурса «Новая детская книга».**

**Стихи публиковались в журналах «Октябрь»,
«Юность». Лауреат премий имени А. Дельвига,
С. Маршака, К. Чуковского. Автор книг «Яблочки-пятки»,
«Обожаю ходить по облакам», «Читаем в детском
саду», «Детки у наседки», «Речка, речка, где твой
дом!», «Ромашки» и др.**

Живет в Ярославле.

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья! Не так давно под рубрикой «Для младших братьев и сестер», основанной еще Самуилом Яковлевичем Маршаком, дебютировала Анастасия Орлова. И вот нам предстоит новая встреча с поэтом. Анастасия не тратит времени даром — выпускает книги, ездит по стране с выступлениями — завоевала любовь не одной детской аудитории. А еще поэт Орлова стала лауреатом премии имени Анны Ахматовой.

Полупоэму «Мы плывем на лодке» можно читать и детям, и взрослым, днями и ночами, хором и в одиночестве.

МЫ ПЛЫВЕМ НА ЛОДКЕ

Мы плывем на лодке,
Плывем на белой лодке —
Справа мама,
Слева папа,
А я посередке.

А навстречу перышко,
Беленькое перышко,
Маленькое-маленькое
Перышко-суденьшко.
Испугалось перышко,
Задрожало перышко,
Улететь бы перышку —
Только где же птица?

Ну а мы неумолимо,
Ну а мы неумолимо
Уплываем

мимо,

мимо,

мимо перышка.

Мы плывем на лодке,
Плывем на белой лодке —
Справа мама,
Слева папа,
А я посередке.

А навстречу чайка,
Чудная чайка,
Печальная чайка —
Потеряла перышко.
Нос крючком,
Плывет бочком.
А у чайки перышки,
Белые перышки,
Перышки воздушные.
А одного перышка не хватает.
Чайка, чайка, там твое перышко!

Ну а мы неумолимо,
Ну а мы неутомимо
Уплываем
 мимо,
 мимо,
 мимо перышка,
 мимо чайки.

Мы плывем на лодке,
Плывем на белой лодке —
Справа мама,
Слева папа,
А я посередке.

А навстречу лодочка,
Маленькая лодочка,
Легкая лодочка,
Где папа и дочка.
Лодки веслами взмахнули,
Словно крыльями взмахнули,
И друг дружке кивнули —
Поздоровались!

Только мы неумолимо,
Только мы неутомимо
Уплываем
 мимо,
 мимо,
 мимо перышка,
 мимо чайки,
 мимо лодочки.

Мы плывем на лодке,
 Плывем на белой лодке —
 Справа мама,
 Слева папа,
 А я посередке.

А навстречу катер,
 Быстрый, как ветер,
 Сильный, как ветер,
 Порывистый, летучий.
 Наша лодка взволновалась,
 Удивилась, засмеялась.

Только мы неумолимо,
 Только мы неутомимо
 Уплываем
 мимо,
 мимо,
 мимо перышка,
 мимо чайки,
 мимо лодочки,
 мимо катера.

Мы плывем на лодке,
 Плывем на белой лодке —
 Справа мама,
 Слева папа,
 А я посередке.

А навстречу,
 А навстречу,
 А навстречу теплоход!
 Вот!
 Вот такой!
 Большой-большой!
 Огромный, как дом,
 Пробирается с трудом!
 Смотрит в воду теплоход,
 Видит, перышко плывет —
 Маленькое перышко,
 Беленькое перышко,
 Перышко-суденышко —
 А это наша лодка!

Только мы неумолимо,
Только мы неутомимо
Уплываем
 мимо,
 мимо,
 мимо перышка,
 мимо чайки,
 мимо лодочки,
 мимо катера,
 мимо теплохода.

Мы плывем на лодке,
Плывем на белой лодке —
Справа мама,
Слева папа,
А я посередке.

А на небе месяц,
Узенький месяц,
Плывет через небо
И нас совсем не видит.
А навстречу месяцу
Хвостатые кометы,
Планеты да звезды,
Мысли и думы,
И лодочка наша.

Только мы неумолимо,
Только мы неутомимо
Уплываем мимо, мимо,
 мимо, мимо,
 мимо, мимо,
 мимо, мимо до причала.
Начинай читать сначала.



Марианна ТАРАСЕНКО



Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Тартуского университета (специальность «филолог-русист, преподаватель»). Работала учителем в школе, затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После ликвидации кафедры вернулась в школу. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».

СОБИРАЮТ, НО ИЗБИРАТЕЛЬНО

Наконец-то мы заканчиваем увлекательный разговор о числительных, но прежде чем это сделать, необходимо упомянуть еще один разряд имени числительного — last but not least (англ. — последний по списку, но не по значению).

Это собирательные числительные, и хотя их всего десять — «двое», «трое», «четверо», «пятеро», «шестеро», «семеро», «восьмеро», «девятеро», «десятеро» и «оба» («обе»), — они доставляют нам столько хлопот, как будто их в сто раз больше. Склоняются собирательные числительные так же, как прилагательные, сложными и составными не бывают: шестеро цыплят — нет шестерых цыплят — улыбнуться шестерым цыплятам — любить шестерых цыплят — возиться с шестерыми цыплятами — мечтать о шестерых цыплятах. Как правило, русский человек здесь ошибается редко. А где часто?

Гениальный фильм Станислава Ростозкого «Доживем до понедельника» сразу же был растащен на цитаты, в том числе и связанные с русским языком. Помните? «Я им говорю, не ложьте зеркало в парту, а они ложат». А вот другой пример, из сочинения: «Да-да, троих мальчиков и троих девочек!» Вот оно, то, что мы искали. Собирательные числительные сочетаются дале-

ко не со всеми существительными и поэтому отличаются от количественных и более узким употреблением, которое люди пытаются насильно расширить.

С чем собирательные числительные охотно сочетаются, так это с существительными, обозначающими лиц мужского пола (двое парней) и детенышей животных (сюда же отнесем и детенышей человека — восьмеро ребят, семеро козлят), а также с существительным «лицо» в значении «человек» (пятеро неустановленных лиц). Зато по какой-то загадочной причине категорически не желают сочетаться с существительными мужского рода, если те обозначают взрослых зверей и птиц: «пять львов», «три сокола», но не «пятеро львов» и «трое соколов».

Да и парочка «собирательное числительное плюс мужчина или детеныш» — всего лишь вариант, поскольку со всеми мужчинами и детьми прекрасно ладят и количественные числительные (два парня, семь козлят, восемь ребят, пять неустановленных лиц).

При этом употребление собирательных числительных ограничено стилем речи: в официальном стиле предпочтительнее количественные: например, «требуется два руководителя», а не «двое руководителей».

Это уже серьезное поражение в правах, но дело им не ограничивается: собирательные числительные категорически не сочетаются с существительными женского рода, даже если это детеныши. Так что «три девочки» и, соответственно, «трех девочек», но ни в коем случае не «трое девочек» и «троих девочек». Если это неодушевленные существительные, картина та же: «две тарелки», но не «двое тарелок». А вот при изолированном употреблении, то есть вне связи с существительными (и, соответственно, с категорией рода), собирательные числительные могут обозначать как лиц мужского, так и женского пола: например, «семеро одного не ждут».

Небольшое моральное удовлетворение собирательные числительные все же получают, но не все, а лишь «двое», «трое» и «четверо»: они — и исключительно они — возможны в паре с существительными, имеющими форму только множественного числа: двое суток, трое людей, четверо детей. Зато собирательные большего значения, от «пятеро» до «десятеро», не имеют преимущества перед количественными: можно сказать «пятеро ножиц», а можно — «пять ножиц».

Слава богу, на существительных свет клином не сошелся: собирательные числительные вполне уместны при местоимениях, например, «их было четверо», «позвали всех пятерых», «те шестеро», «нас двоих обидели». Но при склонении этих конструкций собирательные числительные часто превращаются в количественные: нам почему-то проще сказать «с ними четверья», чем «с ними четверыми», хотя «выгнали всех пятерых» или «думаю об этих четверых» произносится легко.

Точно такой же процесс мы наблюдаем и в сочетаниях с существительными: «двое студентов» в дательном падеже легко превращаются в «двум студентам», а уж если это существительные, не имеющие единственного числа, то собиратель-

ные числительные меняются на количественные в обязательном порядке: нельзя говорить «в течение двоих суток», хотя суток именно двое, а не два или две.

А встречаются и такие случаи, когда неправильное употребление числительного (количественного вместо собирательного и наоборот) может ввести в заблуждение. Это касается сочетания с существительными — как мужского, так и женского рода, — которые употребляются и в единственном числе, но в нашем сознании чаще представляют собой пару, например, «ботинок» или «перчатка». И в зависимости от того, собирательное или количественное числительное мы употребляем с этими словами, меняется смысл предложения: «три перчатки» — это три предмета, а «трое перчаток» — три пары.

Еще одна проблема — собирательное числительное «оба» с его формой женского рода «обе». В именительном падеже носители языка ошибок не делают: трудно представить, что кто-то скажет «обе мальчика» или «оба девочки». Но как только мы начинаем изменять конструкцию по падежам, жди беды, которая заключается в том, что форма женского рода исчезает напрочь, и получается как в песне Высоцкого: «Помню, Клава была, и подруга при ней, целовался на кухне с обоими». Ошибка очень распространенная, но от этого не менее грубая и попахивающая гендерным неравноправием. А ведь все очень просто: оба — обоих, обоим, обоими, в обоих; обе — обеих, обеим, обеими, в обеих.

Коротко подытоживаем. Собирательные числительные сочетаются с местоимениями, а также с существительными, употребляющимися только во множественном числе или обозначающими лиц мужского пола и всяческих детенышей. С существительными женского рода сочетается единственное собирательное числительное — обе, которому при склонении недопустимо менять пол.



Георгий ПРЯХИН

Продолжение. Начало в № 5 за 2015 год

MORITURI TE SALUTANT!

РОМАН

Рисунок Эдуарда Дудина

СЛЕПОЙ ПРОВИДЕЦ

Мне очень хочется написать о встрече Иосифа Сталина с его матерью.

Формально говоря, сюжет этот не вписывается в линию моего повествования. Встреча эта состоялась в тридцать первом году. В тридцать седьмом мать Сталина уже умерла. Обратите внимание: именно в тридцать седьмом, как бы вписавшись в общее число покойников этого страшного года.

Иосиф Сталин, к слову говоря, на ее похороны не ездил. Видимо, очень уж занят был. А может, уже побаивался длительных путешествий.

Ни в тридцать первом, ни в тридцать седьмом меня на свете еще не было. Я как бы не существовал. А ведь сейчас стараюсь писать либо о том, чему сам был свидетель или участник, либо — пунктиром — о событиях, совпадающих с рамками моей жизни и, прямо или косвенно, подпочвенно, повлиявших на нее.

А тут разница даже не в девять месяцев, которые есть у меня в запасе — в них я ведь тоже жил, правда, во вполне счастливом, утробном состоянии — а в полтора десятка лет.

Тем не менее.

При Сталине я прожил шесть лет.

Отголоски его поднебесной жизни касались, конечно же, и меня, как и миллионов, если не миллиардов других живущих в те времена, но я их

не осознавал — Сталин тогда не интересовал меня совершенно.

Отголоски его, тоже почти неземной в тогдашнем массовом сознании, смерти оказались для меня куда интереснее.

Я впервые увидал плачущего мужчину. Трезвого — то, что взрослые, уже задубелые мужики нередко, скрипя зубами, плачут по пьянке, я уже знал и наблюдал. Но — трезвые?

И кто? Мой родной дядька! Красавец, богатырь, под два метра ростом, из которых, правда, лишь полпятерни приходилось на лоб, зато, в компенсацию, над этим самым фамильным, бронетанковым лбом вился только что, вчера, у парикмахерши, наплоенный чуб такой высоты и матюковости, что все наши незамужние соседки, включая саму парикмахершу Клаву, то и дело прибегали к маме что-нибудь «позычить», занять, а на самом-то деле — просто еще раз поглазеть на ее младшего брата, а моего родного дядьку Сергея.

Только что вернувшегося с военной службы на Курилах. Вообще-то, двадцать седьмой год на войну, даже Японскую, не брали. Но дядька, приписав себе год, попал все-таки и на самый кончик Отечественной, а уж далее, напрямиком, в телячьем вагоне — навстречу солнцу. На Японскую. Где и застрял аж на семь лет, на тех самых островах, что и сейчас сидят у России и Японии, словно камни в почках.

Мой по-арийски белокурый кумир, все еще в парадной армейской форме, поскольку переодеваться еще не во что, да и как же переодеваться в деревенское, бумазейное, когда на военное сукно девки липнут, застревая в нем, как в меду, куда плотнее и охотнее! — стоял, переломившись в пояснице и, совершенно тверезый, рыдал навзрыд. Так, что отвесно повисшие на крутой груди его ордена и медали — золотая кольчуга, за которую девки и юные вдовы тоже, наверное, чутко цеплялись нежными своими грудями — а за кого ж и цепляться им в первые послевоенные, горько обезмуженные годы? — тоже тряслись и звякали от горя.

Много позже я часто еще видел дядьку плачущим — но только после водки — слеза и была ее второй перегонкою, еще горше и чище, чем сама горькая. Но тогда, в пятьдесят третьем, он еще не плакал не только после стакана, но и после бутылки тоже. Тут же рыдал, как девочка, на совершенно трезвую, тоже, как орден, павшую на грудь голову.

Мне стало страшно: рыдала моя единственная и самая несокрушимая — как и Красная армия — защита в мире.

И я, вылупив глазенки, уцепился за куда менее надежную — за мамину саржевую юбку.

Правда, мама почему-то не плакала. Может, потому что не воевала?

В пятьдесят пятом же, когда мы с моими одноклассниками пошли уже во второй класс, мой соученик и сосед по парте Витя Худобин, сын нашего деревенского киномеханика, щуплого, лысого и молчаливого, больше похожего на учителя, чем на представителя свободной профессии, вымарал Сталина в «Родной речи» глаза. Не выколот, не вырезал перочинным ножиком, а просто наглухо заштриховал черными чернилами. Тушью.

В селе жил старик-слепой, ходивший в черных круглых очках.

Витя Худобин из прозорливейшего поводыря сделал жалкого слепца, влекомого чужой безжалостной рукою.

Витя так усердно показывал всем свое художество, что его в конце концов заметили и учителя.

И наша махонькая начальная школа замерла.

Мы не понимали, почему наши учительницы, обычно веселые и смешливые, ходят с опущенными лицами и надолго запираются в учительской.

И почему киномеханик Худобин вдруг явился в школу при всех своих страшных орденах — их у него оказалось даже больше, чем у моего героического дядьки Сергея. Может, потому, что киномеханик Худобин лет на десять старше дядь-

ки и захватил даже Финскую? Стало быть, у него и возможностей отличиться, как и быть убитым, оказалось больше.

Витька два дня не ходил в школу. А потом еще с неделю сидел за партой, подложив под задницу обе ладони: видно, у тощего и маленького Худобина-старшего еще хранился в доме толстый солдатский ремень.

Витька не поднимал руку, потому что поднять ее было невозможно — занята, и учительница Нина Васильевна обходила круголя не только его самого, но и его фамилию в классном журнале.

Витьке снизили оценку по поведению и раздумывали, оставить его на второй год или нет. Но тут подошла весна пятьдесят шестого. Киномеханик вновь появился в нашей школе — и вновь в сумасшедших орденах и медалях. Киномеханики, как и сельские почтальоны, все узнают первыми либо вообще, как астрологи, знают все наперед. Зажившая Витькина задница стала почти что реликвией нашей крошечной школы. Так всегда и бывает: после культа личности наступает культ усидчивой задницы.

...Я хочу написать о встрече Сталина с матерью, потому что, не будь Сталина, я бы со своей матерью не встретился.

Отец и мать у меня — ссыльные. Мать, тогда еще девочку-подростка, сослали за несколько километров, чтоб только сорвать с родного, насиженного, унавоженного местоположения — как известно, на одном месте даже камень хоть чем-нибудь да обрастает. Отца же, совсем еще малышом, сослали с другого конца света.

Мать сослали, сорвали вместе с братьями и родителями — правда, матушка ее вскоре умерла, позже за нею последовал и отец. Отца же моего выдрали из грибницы с одной только матерью — его отец, то есть мой дед, бежал от красных в Афганистан.

Правда, у его матери, моей бабки, какое-то праматеринское имя, почти что Евы, — М а м у р а.

Разница в возрастах, на момент ссылки, отца и матери, объясняется не только тем, что отец с двадцатого года, а мать с шестнадцатого, но и другими объективными обстоятельствами.

С басмачеством Иосиф Сталин все же разделался раньше, чем с кулаками.

Как-никак с басмачами расправлялся резвый конник Семен Буденный (родом почти что из моих краев), а вот с мироедами — тщедушный штафирка, не выносивший даже тяжести собственных сумасшедших регалий, что смотрелись на его парадном кителе, как накладные усы у мелкого шпика, поскольку сановный владелец их и с дей-

ствительной-то был списан по малости роста, в 151 сантиметр, — Николай Ежов.

Грудного младенца вместе с матерью Мамурой интернировали сперва в город Маргилан, еще глубже в Азию. Но потом этого показалось мало — выдирать заразу, так с корнем! — и их заперли в совсем уже чуждые пределы, где заразе, казалось, было не прижиться — в Европу. Ходили б поезда до Марса — и там бы очутилась строптивая Мамура со своим первенцем-последышем. Правда, Европа оказалась с очень азиатской примесью — Ногайская степь.

Ну не в Кисловодск же ссылать басмачей!

Может, не драпани мой дед за кордон, то и сыну его дорога бы выпала куда короче?

У деда имелся караван верблюдов, с которым он ходил аж до Пекина и обратно, — тем, наверное, и объясняются как причины его одинокого поспешного, не самого благородного бегства, так и выигрыш в скорости.

Ни одна лошадь не совладеет с верблюдом на столь длинной дистанции — так Буденный и отстал от моего дедули.

А вот сына с Мамурой Иосиф Виссарионович достал. Сграбастал, как дерут, вместе с птенцами и невылупившимися еще яйцами, гнезда — птица-мать, птица-Мамура, сидит при этом, словно заговоренная.

А годы спустя в ту же ссыльную деревню угодила и моя матушка. Так они и встретились, мать и отец — как на предметном стеклышке, пипеткой по которому рассеянно елозил сам, на тот момент еще вполне зрячий, Провидец.

Зачат я был в селе, по с е л е н и и, с военной комендатурой (комендант был человек по фамилии Армейский, впрочем, вполне возможно, что еще одна «а» в этой фамилии просто пропущена нашим деревенским полуграмотным предсельсоветом). Но родился уже вполне свободным — именно в сорок седьмом году, году моего рождения, комендатуру в селе упразднили. Я застал только стоящее вдоль балки длинное угрюмое строение, где раньше помещалась она и где содержали в те времена провинившихся.

Не думаю, что там когда-то практиковали пытки, но самое зловещее из преступлений времен моего детства — о нем говорило все село, и разговоры, естественно, достигали и наших чутких до пакостей ушей — было совершено именно в этих заброшенных стенах. Пьяная шайка местных идиотов изнасиловала там бутылкою водки женщину, пившую вместе с ними...

Читал совершенно роскошную, умопомрачительную прозу Мандельштама, наткнулся на фо-

токопию постановления Особой тройки, впаявшей гениальнейшему из евреев десять лет. Фамилий «троечников» нету, зато очень разборчиво — подпись ответственного секретаря ее: Ш а п и р о. Ладно мы, не помнящие родства. Но богоизбранные?.. — вот и поверь после этого, что свой своему поневоле брат. «Поневоле» — можно писать и раздельно.

Скольких сжил со свету, закопал Провидец! А вот меня, похоже, по р о д л. Не будь его рассеянного пинцета, этого крошечного, кровью продезинфицированного штык-ножа, не встретились бы, с разных концов света, две протоплазмы — да и Бог с ними! — а главное, не встретился бы я со своей матушкой. Да и с самим собою — если б и появился, то совсем другой. Как минимум — наверняка бы без «бухарского следа» в крови.

А может, и он сам — не встретился? В том самом, предроковом тридцать первом?

Отсюда, может быть, — и тридцать седьмой?

Жизнь всего моего поколения — тоже под его вездесущей сенью-тенью.

Моя версия.

ЕКАТЕРИНА ДЖУГАШВИЛИ ВСТРЕЧАЕТСЯ СО СВОИМ СЫНОМ ИОСИФОМ

Тосподи, ну и рожи! — подумала Екатерина, осторожно осваиваясь за столом.

И сама же испугалась своей дерзости. И даже рот свой, и так уже схваченный старостью крупными, сапожными стежками-щипками, прикрыла концом цветастого шелкового платка, которым на кавказский манер покрыта ее голова.

Мысли, конечно, сами по себе, нежданчиками, наружу не выскакивают, но чего не бывает в старости? — причем не только с мыслями. И она покрепче прижала платок к губам и даже попросила его на вкус. Платок был нежен и еще имел шоколадный привкус — только вчера его подарил ей сын.

Кажется, никто не заметил мысленной ее выходки. Один только сын мельком взглянул на нее своим мускатным совиным глазом — на Москве уже шептались: мол, раньше в Кремле держали сокола, а теперь поселился там сыч и вся страна впала в его, ночной птицы, бессонницу, — поднимая тяжелый граненый готический бокал:

— Выпьем за всех наших матерей! Мы так редко видим их, а еще реже, басурманы, пьем за их здоровье. Мамы наши, живите тысячу лет!

И все потянулись с бокалами сперва к нему, а после вспомнили и о ней.

Некоторые так даже перегибались в три погибели и даже губы смачно вытягивали, как будто не чокаться с нею лезли, а сразу — целоваться.

Сын, сидевший в возглавии стола, один, — матери указали место в середине, — не чокнулся с нею, а просто еще раз приподнял бокал и еще раз взглянул на нее.

Сын, зорко отметила мать, выгодно выделялся среди остальных. Соразмерный, с правильными, твердыми чертами лица, с короткими, но уверенными, не бабьими движениями. Конечно, он постарел — она так давно не видела его! Конечно, на портретах он совсем другой. Фотографы, а тем более художники или те, кто руководит и фотографами, и художниками, как бы заново, не доверяя ей и исправляя ее промашки, родили его. Именно такого, какого и требовал, и видел, по их мнению, в своем воображении народ. Она рожала его, единственного выжившего своего, трудно рожала собственную слабою плотью, они же родили его — резцом. Сразу — каменным.

С в о й, живой, нравится ей больше. С шершавой, ноздреватой кожей, с жесткой, не подкрашенной рыжиной, из-за которой его упрямо приписывают к осетинам, как бы намекая мимоходом и на ее супружескую неверность, хотя видит Бог: монахини где-нибудь в горах Сванетии, Христовы невесты, и те, наверное, менее бдительны в верности своему небесному супругу, чем была она, Екатерина, своему земному законному пьянице Виссариону. С лысинкой, что уже вьет гнездо в его начесанных порыжелых волосах — знала бы она, что ни одному оператору не дано заходить к вождю с тыла! — с этими набрякшими подсумками под глазами... Да, мускатная спелость глаз, что так чарует ее, желтизной кидает уже и на впалые щеки. И больная кисть, заметила она, стала еще тоньше, еще суше, из-за чего и вся пясть уже похожа на желтую и жалкую, в черепахе, куриную лапку.

Куриная лапка... Прикуси язык! — очнулась старуха. Придет же в голову такая чертовщина. Свят-свят! Ей и так чудится, что угодила она на очень странную вечерю, на которой если и есть кто, не считая ее, с человеческим лицом, так это он. Один — ее сын. Ну вот взять хотя бы вот этого, прямо супротив нее. Квашня квашнею — сдери с него костюм и галстук, он так и расползется бельмом, опарою по столу. Сгребай пригоршнями, начиная с улыбки — она, угодливая, и впрямь пр е с м ы к а т е л ь н а я, так и поползет, наверное,

впереди него самого аж туда, на тот край стола, где засахаренным божком восседает ее сынок.

Не любит она таких вот льстивых, узкогубых улыбок — внутри них всегда таятся мелкие, змеиные же зубы.

Или этот, рядом с нею, черный истукан, идол, с волосатыми ручищами не то предместного кожемяки, не то просто душегуба. Ишь, — опасливо косится она, — выложил на скатерть пудовые свои. Такими кулаками сваи заколачивать или чужие окна в полночь высаживать. Говорят, главный по Москве — как же он, интересно, при таких-то кулачищах, со всякой там профессурой-макулатурой общается?

А в самом дальнем углу, с краю, последушком, сдачей даже не сидит, а, кажется, по-половому стоит — настолько мал росточком: присядет на венский стул и скроется с головою под столешницей — примостился совсем уже огрызок. Недомерок. Ни к вилке, ни к ножу ни разу не притронулся — глазами только жадно ест одного и того же: Господа во главе стола.

Этот — из самых опасных. Из тех, кто по ночам орудует не ножом, а — шилом.

Не нравится ей сыновья бражка. Откуда только понасобирал он их? Все как из бродячего шапито. Ни одного нормального. Кроме него самого. Не надо бы ему, поразительно трезвому, так беззастенчиво восседать на этом пьяном троне.

Да, в отличие от остальных сын умеет пить. И дело не только в кавказском происхождении — за столом есть и погорбоносее него. Просто было в кого уродиться, — горько усмехнулась про себя старуха.

Не надо б, не надо бы ему так сидеть — как другой, тоже на тайной вечере. Не возносись, не возносись, сынок, — не вознесен будешь.

Господи, да что это со мной? — вновь мысленно прикусила язык старуха. В грех впадаю. Старость — не радость, — сложила пальцы щепотью и тайком, вроде как платок поправила, перекрестила собственный в пучочек собранный рот. Хотя перекрестить хотелось не тайным, а полным, прилюдным крестом — сына.

Господи, спаси и сохрани его. И от этих, собутельников, — тоже.

— Здоровье Генерального! — воскликнул некто, сидевший наискосок от старушки. — Здоровье Генерального! — повторил и даже вскочил с места, поднимая над головою почему-то не бокал и не стакан даже, а сразу — хрустальный рог — где только взял его, под столом, между коленями, что ли, зажимал? — Потому что здоровье Генерального — это здоровье всей нашей великой нации!

Человек верещал с таким сильным мегрельским акцентом, что непонятно было, какую все-таки великую нацию имеет он в виду.

Сын заметно поморщился.

— До дна! — заторопился тостующий.

Зазвенел хрусталь, все, кроме сына и матери, тоже поднялись.

Старуха с неподдельным интересом следила за тем, с хрустальным рогом. Даже не за ним, а за его кадыком. Видно, что пил через силу — кадык заходил в судорогах. Осилит — аж пот на лбу выступил. И тут же втихомолку передал рог, как непосильную ношу, в струнку вытянувшемуся за его спиной официанту.

Дорого же им дается его здоровье, — подумала мать. Так и свое потерять можно. Но додумать не успела: сосед слева, приземистый и широколобый, тронул ее за локоть и, заикаясь, шепнул:

— С-с-к-кажите с-с-слово...

Сын тоже сделал знак поджатой, увечной рукой.

— Гаумарджос! — негромко, не поднимаясь, произнесла старуха и, ни с кем не чокаясь, пригубила из бокала.

Все захлопали, зашумели, вновь обращаясь лицами не к ней, а к сыну. Она же, воспользовавшись суматохой, подобрала юбку, соскользнула со стула и вышла.

Она устала. У нее разболелась голова.

Кеке прошла в комнату, которую ей показали с утра, и, сняв только ботинки на высокой шнуровке, прилегла, не разбирая ее, на пышно взбитую кровать. И перины, и подушки взбиты явно женской и умелой рукой. Кто стелет ему самому? Явно не жена. Она здесь, в Волынском, вообще, кажется, не живет. Ни жены, ни детей... Они, как поняла старуха, отселены в другое место. Неподалеку, по этой же дороге, но — отселены. Собственно говоря, и ее, Екатерину, неделю назад, по приезде в Москву, поселили вместе с ними, в том же загородном каменном особняке, одном из нескольких, обнесенных общим глухим и каменным же забором. Ей отвели там сразу несколько комнат, но она все равно всю эту неделю чувствовала себя приживалкою. С детьми общий язык находила, хотя по-грузински из них толком не знает никто. А вот с невесткою нет. Она вообще не воспринимала ее своей невесткою, эту слишком молодую, холеную женщину со странно горячим взором и так не соответствовавшими ему плавными, медленными движениями пианистки или драматической актрисы. Примы. Ну разве прижмешь эту гладко зачесанную, Натальи Гончаровой, Парижами пахнущую, дегтярно-черноволосую го-

лову к высохшей своей груди? Или прильнешь ли сама, нечаянно всплакнув, к этому отстраненно, лунно-холодному, не в меру, по старухиным понятиям, оголенному плечу? Нет и нет. Матерью ее невестка не называла, обходилась именем-отчеством, даже к столу звала через горничную. Да и свекровь в эту неделю старалась лишний раз с нею не встречаться. Скуластая и заветренная, как краюха черного и черствого хлеба, в старушечьем клобуке, в темных и длинных монашеских своих одежках, она при ней сама себе казалась не только старше своих, тоже немалых, лет, но и — чужой. И этим хоромам, и снохе, и детям, и даже сыну, который в особняке почти не появлялся, оставаясь дни и ночи где-то за пределами семьи. Исподтишка лишь любовалась снохой, как любуются в музее холодной и голой статуей или отчужденно-знаменитой артисткой на холодно освещенной театральной сцене.

Хороша Маша, да не наша. Не такая бы жена нужна ее Сосо. Пускай бы тоже русская, но — не такая. Постарше, попроще. И не с такими горячечными библейскими очами — лучше бы, чтоб там уже перегорело. Самые вкусные хлебы пекутся не на пылающих углях, а на соломенной золе.

И так странно иногда посмотрит на свекровь, как будто та перед нею в чем-то виновата.

В чем?

Виссарион тоже часто дома не ночевал — у каждого из них свой запой.

Смирись, дева. Махни рукой. Но эта, правда, если и махнет, то не рукою, а — крылом. Пава!

Она и сама порою чувствовала себя пред нею виноватой. Вот только так и не поймет, в чем?

Может, и ей, как сыновним фотографам, не угодила — с сыном?

Старуха повернулась на другой бок. Да, устала она за эту неделю. И в том, каменном, с гражданскою обслугою, особняке, и в этом, деревянном, военном и скромном, куда ее позвали только сегодня, на это глупое застолье, чтоб завтра — проводить на вокзал. Выпроводить — да, она слишком черна для этих паркетных полов. Идет и оглядывается — не наследила ли?

Муха на мраморе.

Не складывается у нее, с лачужным ее происхождением, с хоромами. Сын и в Тбилиси поселил ее в беломраморном дворце — вот уж точно навозная муха в янтаре — бывшего царского наместника на Кавказе. Но она и там отыскала себе комнатку, в которой жила когда-то прислуга. Это он, сын, не глядя, перешагнул из их горийской хибарки в царские покои — ему ли обращать на это внимание? Он и по воде пойдет аки посуху...

И вновь старуха испуганно прикрыла непослушный, хоть инсульта покамест, слава богу, ни одного не было, рот. Свят-свят!

Так и живет она в том беломраморном дворце — в прислугах. В прачках — она невольно взглянула на свои сухие, сморщенные, смолоту съеденные поденкой ладони. Пальцы дрожат, словно кто-то все еще играет на них. Ну разве ж можно их положить на столе рядом с долгими — вот они-то сами для струн созданы — нежными — даже дорогое кольцо смотрится на них как грубое, потное седло на арабском, с газельими глазами, скакуне — пальцами невестки? Разве что с теми волосатыми лапами недавнего соседа? Прачкою была, ею и осталась — даже здесь. Знает ли сын, что живет она не в дарованном им царском замке, а в пристройке? Наверное, знает. Наверное, доложили — даже телефон в каморку ее провели. Но, слава богу, помалкивает. Он и сюда, в Москву, направил ее в наркомовском салон-вагоне. Но она уговорила охрану, и на ближайшей остановке его заселили пассажирами с детьми. Сама же она разместилась в одном купе с официантками — привычнее. Корзинки только да бутылки, которые припасла для сына, ехали по-наркомовски: в курительном, мягком салоне. Правда, гостинцы отобрали у нее прямо на Московском вокзале, и больше она их не видела.

Господи, твоя воля...

Все равно, один-то подарок сыну она передаст. Уж его-то никто у нее не отберет. Он и сейчас спрятан у нее в кармане.

Не заметила, как задремала.

Очнулась, услышав негромкий стук в дверь.

— Да! — села, едва доставая ступнями, тоже сухими и твердыми, до пола, на кровати.

Поправила платок — кто бы это мог быть? — ведь уже, похоже, за полночь.

Вошел, как она втайне и понадеялась, сын. Не во френче, а в мягкой байковой кофте, полотняных штанах, заправленных в обрезанные сверху валяные опорки — ноги болят? — мелькнуло в голове — и с носогреющей в зубах.

— Не спишь?

— Нет, — счастливо соврала мать. Господи, за всю неделю она ведь ни разу толком и не поговорила с ним.

Он неторопливо уселся в кресло возле круглого, наподобие ломберного, столика.

— Чаю хочешь?

— А ты? — вопросом ответила мать.

Он что-то нащупал под столом. Видимо, кнопчку. Потому что в ту же минуту, как будто только что стояла вместе с ним за дверью, появилась

статная, сдержанная дама в белоснежной наколке и в туго накрахмаленном, с выбивкою по краям, переднике, ловко и твердо удерживая на полной и сильной руке поднос с чайными парами, пирожными, вазою с фруктами и даже с графинчиком и хрусталем — все это прикрыто, словно короною, каляной, расшитой салфеткою.

Ну и рука! — с приятною подумала старуха, узнавая когдатошнюю свою, молодую — даже Виссариону порой от нее перепало — десницу. Коня на скаку остановит!

Дама, поклонившись Екатерине, что так и не привыкла к чужим поклонами и смешно попыталась ответить тем же самым со своего пухового ложа, поставила принесенное на столик и ловко сдернула салфетку.

Сын только бровью повел — дамы в комнате уже не стало. Екатерина проводила ее длительным заинтересованным взглядом. Идет, чертовка, как строчку шьет!

— Спускайся с облака, — улыбнулся сын в рыжие прокуренные усы — видать, заметил ее взгляд.

Она послушно съехала с кровати и, прямо в чулках и носках, села в кресло напротив.

— Понравилась Москва?

— Понравилась, — простодушно ответила.

— То-то же. А ты не хотела ехать...

Мать засмеялась: это она-то не хотела? Только и мечтала — повидать сына. Как перед смертью. Да он — не звал.

— Девки замуж идут не когда хотят, а когда зовут.

Сын улыбнулся тоже.

Подвинул ей чай и сухое пирожное, себе налил вина из графина:

— Говорят, ты привезла?

Она встрепенулась, даже лицо морщинистое помолодело:

— А ты еще не пробовал?

— Другие пробовали... Проверяли, — вновь усмехнулся сын.

— Да что ты? — изумилась мать. — Я у самого Теймураза-Косого на базаре брала. Он, говорят, никогда не разбавляет...

— Тебе не понять, — погладил вздрогнувшую материнскую руку и сделал глоток.

— Да, — покорно согласилась. — В вине я не разбираюсь.

— А как тебе английский фотограф?

Странно, — мелькнуло у старухи. — Не о детях, не о жене, а о фотографу спрашивает...

— Фотограф-то тоже понравился, — задумчиво протянула она.

Ей и в самом деле понравился фотограф, с которым она провела вчера половину дня. Он снимал ее в Москве для какого-то журнала. Сказал, когда встретились: «У нас с вами, мадам, будет сегодня фотосессия». Она испугалась: заседание, что ли, на которых она отродясь не бывала? Оказалось, нет. Фотограф ездил с нею по Москве на большой иностранной машине «Паккард», в которой, кроме их двоих и шофера, был еще офицер охраны, и снимал в разных местах. Сниматься она не боялась, хотя не помнит уже, когда с нее делали последнюю карточку. В молодости, пожалуй. Больше всего понравилось ей на набережной. Ты сидишь, а город перед тобою нежно плывет. Только людей вокруг никого, ни на скамейках рядом, ни у парапета. Люди ей никогда не мешали. Может, фотограф настоял, чтобы перед глазами не мельтешили? Да, он ей очень понравился. Ловкий, обходительный, по-русски чешет лучше нее. Когда закончили, полезла в ридикюль, который специально для этой поездки в Москву и купила, но он засмеялся и сказал, наклонившись к самому ее уху, как будто она уже глухая: «Я на вас и так уже хорошо заработал». И даже в тот же вечер прислал ей одну готовую карточку — она, Екатерина, на лавочке. Сидит, так же, как сидела бы и у себя в Гори. Все в тех же своих темных монашеских одеждах и высоком национальном клобуке. Не позирует. Она и слова этого не знает. А просто смотрит. Смотрит — пока еще смотрит — на белый свет. На плывущий мимо и нежно город. Правда, печальными-печальными, давно перегоревшими большими глазами. Да, ей кажется, что на этой карточке именно она. Не то, что с сыном — в жизни он один, а на новых карточках совсем другой. На старых, охранкою сделанных — действительно Сосо, сын, только молодой. А на этих, современных, уже как бы и не он. Не ее сын и даже вообще не смертной женщиной рожденный. Наверное, нынешние его фотографы искуснее тех, из охранки. И этот англичанин тоже как бы еще начинающий, охранный. Но ей нравится, что она на этой фотокарточке — сама. Что это карточка, а не икона. До иконы, видать, и англичанин мастерством пока не дорос, да и она — перестарела...

— А кто не понравился? — довольно жестко вывел ее из оцепенения сын.

Неужели подумал, что она такая дура и ляпнет что-либо о его жене? Не-е-ет...

— Вот эти, — вымолвила и неуверенно показала рукой куда-то в сторону обеденного зала.

— Ну, ты не увлекайся, — остановил ее сын. — Какие есть, такие и есть.

«Есть» и «съесть» — какие похожие русские слова! — подумала старуха.

Сын вынул из кармана еще не надорванную, как новая карточная колода, пачку денег. Такого их количества она никогда не видела и даже деньгами их не восприняла. Бумажки. Когда их мало, они — деньги, когда вот так безмерно много — бумага. Карты.

— Возьми, — протянул ей.

— Зачем они мне?

— Пригодятся, — и пододвинул пачку к ее ладони.

Медленно-медленно выпил бокал до дна. Мать обрадовалась: понравилось!

И стал подниматься:

— Тебя завтра проводят.

У нее сжалось сердце: неужели уйдет? И она, быть может, уже никогда его не увидит?

— Подожди...

— Что? — не понял сын.

— Ты в бога еще веришь? — робко спросила она.

Тот молча и длительно, как на полоумную, поглядывал на нее.

— Я все-таки жалею, что ты так и не стал священником...

Он пожал плечами.

— Наклонись, — тихо попросила она.

Он недоуменно склонил голову — наметившаяся лунка грустно просквозила перед ее глазами.

Мать также приподнялась, даже на цыпочки встала в своих самовязанных шерстяных носках, вынула из кармашка свой нательный медный крестик на шелковом очкуре и надела на шею сына, тоже в нескольких местах, как и щеки, побитую старой, детской еще оспой.

Он не противился и даже обнял ее — на прощание:

— Спасибо. До встречи.

Она, всплакнув — окончательно поняла, что на вокзал отправится без него, — перекрестила:

— Храни тебя Господь...

Он, мягко, по-кошачьи ступая опорками, ушел. Чай она допивала уже с давешней дамой. Матери хотелось поговорить о сыне, но та была неразговорчива. Также непроста, — заключила старуха про себя.

Деньги еще раньше, сразу же после ухода сына, спрятала под подушку — там они и остались. В самом деле — в могиле, даже беломраморной, деньги ни к чему.

Все тот же, тоже неразговорчивый, офицер проводил ее утром на Курский вокзал. Москва шумела вокруг них — где-то в этом многоголосье слышался ей и глухой, с невытравимым кавказским акцентом, голос сына. Она не могла понять, враждебно ли это чуждое столичное многоголосье

сье ему или нет? Кто он тут, в этом гудящем раю-аду, свой или чужак?

И вообще, где он по-настоящему свой? В Гори, в крохотной церковке, рыжим батюшкой в опрятном, хотя и стареньком, подряснике, как то ей втайне хотелось бы?

И она бы тоже приходила к нему на исповедь?

Старуха грустно покачала монашескою своей головой. Вряд ли.

На сей раз в вагоне никого, кроме obsługi. Знакомые официантки обрадовались встрече — им неплохо ехалось давеча со старухой. Расположив ее в просторном купе, устроенном под гостиную, офицер, уже перед уходом, вынул из внутреннего кармана своей шинели крохотный сверток в папиросной бумаге и положил на откидной стол:

— Забыли. Велено вам передать...

Она не стала раскрывать пакетик при офицере.

Проводила. Вернулась. Раскрыла.

В пакетике лежал ее собственный нательный медный крестик на шелковой заношенной бечевочке.

Она заплакала.

О СЧАСТЬЕ И О СТЫДЕ

Это ощущение мои ступни и щиколотки счастливо помнят до сих пор. Если Христос и впрямь ходил по воде — даже просто по цепочке, по ожерелью камней, только ему ведомых или для него неожиданно и выросших, — то его ощущения должны быть примерно такими же.

Разница только в возрасте — я был еще моложе, намного моложе — и в составе воды: брел я, загребая ступнями, не по Мертвому морю.

А по Живому.

По живой воде.

Но начать надо по порядку.

Моя мама боялась грозы. Наверное, и потому, что грозы у нас были очень редкими, к ним невозможно привыкнуть. И потому, что они, возможно, уже в меру этой их эксклюзивной редкости, были очень сильными. И еще потому, наверное, что сама жизнь приучила маму, которая, подобно большинству птиц, сама, в одиночестве, сторожила свое многогортное гнездо, к непреложной истине: страх есть пусть самая тоненькая, но и самая надежная паутина бытия.

Грозы у нас, в полупустыне, собирались долго, нотно, заканчиваясь чаще ничем, отдаленным пшиком. Но если уж наваливались, то насильовали степь с остервенением. Невесть откуда, с каких

таких морей съехавшиеся, сокрушая друг дружку, тучи даже не черные, а с каким-то змеиным подбрюшьем. И молнии били как при казни: совершенно вертикально, не оставляя никаких надежд обреченному. И озаряли враз потемневший, свернувшийся, как сворачивается, скисает в ту же грозу коровье молоко, день, как неподсудные и всеистребительные росчерки вершителя Страшного суда. Последней инстанции.

Мать задергивала и без того враз почерневшие окна, панически закладывала на крючок двери и, схватив в охапку нас, малых своих, стремглав пряталась под кровать. Почему-то наша единственная в доме железная кровать, на которой мы с нею помещались все четвером — что касалось самого младшего брата, то там и помещаться было нечему, он сразу же и целиком оказывался у матери за пазухой, — казалась ей самой верной твердынею.

Мы, заключенные ее судорожными объятиями, просто испуганно льнули к матери, напуганной еще больше нашего, — чем больше знаешь, тем больше страх. Мы, кажется, растворялись в ней, вновь проникая в ее реденькую, от недоедания, первородную плаценту.

Помню, как в хату проникла, проделав черную, обугленную дырочку в оконной раме, которую мать потом долго боялась замазать, затереть замазкою, шаровая молния. Она тихо, ощупью, зловеще и слепо плавала по комнате, отыскивая нас, но мы, включая матушку, даже дышать перестали. И молния, так и не нащупав нас, нехотя, сублимированной ведьмою, вкатилась в печь и вознеслась в трубу.

Я тоже до сих пор побаиваюсь грозы — значит, опыта прибавилось.

Казнит и не милует.

Но гроза же приносила и самое настоящее счастье. Дело не только в том, что после нее ожидали степь, поля, огороды. Разом спадала жара, оседало доселе затягивавшее горизонт пыльное марево, и горизонт резко раздвигался. В воздухе как будто арбуз раскололи. Оживали, веселели и сами люди.

Но гроза же оставляла на земле и слюдяные холодные лужицы. Вот это и было счастьем: сразу после грозы, под ее удаляющееся ворчание, под еще срывающимися с обносков туч, в промоинах которых уже сильно и нежно вспыхивало небо, остаточными, шрапнельными каплями степного ливня пробежаться босиком по этой холодной небесной воде.

До ближайшей от нас соседней хаты метров триста. Не скажу, что мы были очень уж дружны с



соседями. И все же между нашими хатами пролегла едва заметная тропинка. Арабеск тропинки. Чуть намеченная ложбинка. Именно в ней и собиралась после грозы дождевая вода. И как только во дворе чуть-чуть стихало, я тотчас, несмотря на материнские окрики, выскакивал из дома и что есть мочи припускал по этой стежке. Брызги летели выше моей головы, и я был весь оливаем этими льдистыми — посередине лета и зноя — счастливыми слезами. Но главную память сохранили мои ступни и щиколотки. Живая вода чудесно обжигала их даже не холодом, а уже — самой чистотой. В самом деле, она родниково чиста. Тропинкою так редко пользовались, что вся она, особенно в углублениях, затравенела. Причем травкою, сподом тропочки, как ее исподним пухом, была трава-мурава. Мелко-курчавая и нежная-нежная, особенно после долгожданного ливня, она прямо ластилась к твоим босым ногам.

Стежка и вправду выстлана ею, как птичье гнездо — пухом.

Мои старые щиколотки благодарно помнят этот обжигающий целительный холод, саму границу этой слезной чистоты, как, наверное, вибрирующие деревянные лыжи старенького биплана помнят возносящую, льдистую склень водной его глассады.

Когда не могу заснуть, выпрастываю голые ступни из-под одеяла и пытаюсь воскресить в себе — и в

них — то свое детское, счастливое осязание восхитительной, наэлектризованной грозой стыни, холода от которой добирается до самого сердца.

Странно, сразу после грозы в селе нашем начинался обычно вечер. Независимо от времени суток. Коровы и овцы досрочно неслись в суматохе и панике, с мычаньем и блеянием, домой, к дворам. Женщины, хозяйки перекликались с ними. Куры набивались в курятники на насесты. Зато утки и гуси тяжело и вальяжно вываливались на улицу, длинно вытягивали шеи, восторженно гоготали и кричали, подымались на цыпочки и, вылавливая из воздуха последние капли, яростно, хотя и вхолостую, полоскали, рокотали крыльями вослед уходящей грозе.

Иногда, правда, грозы сопровождалась градом. Это удручало всех, кроме нас, мальчишек. Потому что нестись по тропинке тогда было еще чудеснее, взлетнее: под твоими ногами христовой галечкой покальвали взаправдашние летние льдинки.

* * *

Мне стыдно за две драки.

В общем-то, я не рос драчливым — может, потому и помню их все довольно отчетливо. По большому счету всерьез меня никто и не лупил. Да я и не нарывался. Одно время, совсем еще маленький, прыгал перед зеркалом — оно, единственное

из всего то г д а ш н е г о, окружавшего в детстве, и сохранилось в доме до сих пор, — воображая из себя Валерия Попенченко. А потом вспомнил это свое детское увлечение уже в армии. Правда, вспоминал ровно до тех пор, пока меня не обработал, ловко, играючи — надо бы сказать не п е р е и г р а л, если бы я на тот момент в состоянии был играть, — один малый, тощий, долговязый, возивший коменданта гарнизона и потому не считавший нужным не только подшивать воротнички, но и пришивать погоны. У него был обеденный перерыв — комендант время от времени навещал в подсобке завмагшу нашего гарнизонного магазина — и мы сговорились скоротать время, в отличие от коменданта, на свежем воздухе, на спортплощадке.

Я был несомненно сильнее него физически, но малый так оскорбительно ловко навтыкал мне с разных сторон, именно навтыкал, коротко, четко и неторопливо — по времени это вместились даже не в обед, а в полдник, — что я вскорости и позабыл свою дурь. И напрочь забросил дутые рукавицы, называемые почему-то перчатками.

На гражданке парень, оказывается, ходил в спортшколу, а не прыгал перед домашним зеркалом. Я же, если меня всерьез разъярить, начисто теряю даже остатки наличествующего у меня соображения.

А в драке соображение куда необходимее силы.

Впрочем, иногда именно потеря соображения и вывозит меня наверх.

Я был, наверное, в пятом классе. У меня имелся приятель Ваня Мазняк. Живой, смешливый мальчишка, может быть, чересчур вострый на язык. Он пришел ко мне в гости — я сам, наверное, и звал его. Но когда провожал, мы почему-то прямо на улице, на дороге, подрались. Совершенно не припоминаю, из-за чего. Но твердо помню, что первым начал я. И удары помню: как часто-часто, словно заяц по барабану, молотил он по мне и как хватал его за горло я. За горло — вернее. Помню, как понуро полпелся он по грязной, раскисшей от весенней распутицы дороге восвояси — а ведь пришел ко мне, по моему приглашению, аж за полсела!

И как меня охватила тоска — оттого, что он, несолоно хлебавши, уходит. Это был еще не стыд, но уже — предчувствие стыда.

Господи, кто б еще пришел ко мне на наш с матерью забытый Богом и людьми пустырь?

Окончательное чувство стыда оформилось много-много лет спустя.

Когда я узнал, что Ваня Мазняк погиб. Что его придавило его же грузовиком к стене. И расплющило ему грудную клетку...

И еще одна детская драка вспоминается. Преследует меня, как морок. Это было, наверное, уже в шестом — похоже, я чаще дрался именно в том возрасте, когда обычно еще не дерутся. Зима. Мы шли небольшой ватагой из школы домой. Три-четыре мальчика. Я, мой дружок Володя Бакуменко, кто-то уже давно забытый и — мальчик по фамилии Княгинин. Его и вспоминаю всю жизнь. Он как раз и жил дальше всех из нас. Плелись мы по южному, вечно незрелому снегу. Мне было не привыкать. Когда мать дежурила на птичнике, мне приходилось брести и за пределы села, в степь, на птицеферму. Не помню, во что обуты мои спутники, но я-то точно был в стертых и стоптанных материнских кирзовых сапогах. Чёботах. Из-за чего мы задрались с Княгининым, тоже не вспомню. Я и мальчика этого внешне, конкретные черты его не припоминаю. Кажется, был он чернявым и симпатичным. У него имелся отец — вот это помню точно, еще и потому, что у меня-то отца не имелось. Возможно, и стычки случались как раз по этой причине: у Вани Мазняка отец тоже наличествовал.

Отец у Княгинина был тракторист, даже орденосец, причем непьющий, что для нашего ссыльного села еще редкостнее, чем орденошество. И вряд ли Княгинин ходил в сапогах — этого мальчика в семье любили и холили. Это я тоже почему-то до сих пор помню, и это, наверное, также сыграло свою роковую роль в нашей зрящей ссоре.

Но драка была почему-то очень угрюмой и тяжелой. Возможно, и по причине моей обуви. Мальчик годом старше меня, но возились, елозили мы в снегу и грязи долго, угрюмо и молча. Нашим спутникам уже надоело наблюдать за нами: сперва они нас стравили, а потом из-за того, что развязка затягивалась, потеряли к нам всякий интерес. Пока мы не захрипели — оказывается, мальчик Княгинин, уже в силу своей женственно-благородной фамилии, тоже предпочитал хватать противника своими худенькими длинными пальцами за горло. Тогда наши приятели всерьез перетрусил и разняли нас. Мы с ним стояли, шатаясь и задыхаясь, друг против друга, совершенно обессиленные и только плакали злыми молчаливыми слезами и соплями оттого, что недодушили друг друга.

Каждый считал, что был во мгновении от победы.

Или — от гибели.

Кажется, той же весною княгининский трезвый и положительный отец отдал мальчику обе ноги своим гусеничным трактором. Неудачно сдавал задним ходом, и сын оказался на пути.

Мальчика спасли — на том же тракторе, ревевшем, как танк Т-34, охваченном собственным дымом и воплями княгининской мамы, деревенской княжны, бежавшей, спотыкаясь, следом, обезумевший от горя отец и доставил сына в амбулаторию. Откуда, уже на «козле» с крестом, обслуживающем в селе и ветеринара, и фельдшера, малыша отправили в район.

На протезах я его никогда не видел. Он долго скитался по больницам, а потом они вообще уехали из села. Но в школе, классом ниже меня, какое-то время еще училась его младшая сестра.

Вряд ли знала она о нашей драке. Но я старался никогда не попадаться ей на глаза — пока они не покинули наше село.

Не то что стыдно — невыносимо тяжело было у меня на душе. Даже сейчас — поднывает.

Красивой была не только их фамилия. Мне кажется нынче, что очень красивыми, не деревенскими, были и они сами — и мальчик, и, особенно, девочка.

И семья была трудовая, но странно спокойная, сдержанная — такие не приживаются в наших жестких местах.

САПОГИ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ И ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВНЕЗЕМЛЯНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ

Мужчин в сапогах я в своем детстве видел вокруг себя гораздо больше, чем мужчин в туфлях. В туфлях, наверное, могли бы ходить мужчины-учителя, но в начальной школе их вообще не было, а в средней таковой был один, муж директрисы Клавдии Константиновны, но и тот почти одноногий — одна нога у него крепко повреждена с войны. Сапог на нее не натянуть. Последние в своей жизни сапоги учитель и сносил на войне.

Мало того — я и сам долгое время ходил в сапогах. Первые свои туфли получил лет в двенадцать. Парусиновые, на картонной подошве, кожаные у них только союзки и задники. Ходить в них можно лишь посуху или в помещении. Это как бальные туфельки — в них либо скользят по паркету, либо любуются ими, повешенными на шнурочке на стенку. Так и я — больше любовался своими парусиновыми корочками, без конца поплеывая им то на союзки, то на подборы и

прямо ладошкой натирая им два этих места до блеска.

Время было такое — сапожное. И потому что раннее, послевоенное — сапоги, помимо всего прочего, еще являлись постаментом доблести и геройства, не зря все памятники того времени стояли в сапогах. И потому, что такое дальнейшее: мы к революции семнадцатого года, к царскому, прошлому капитализму стояли тогда ближе, чем к нынешнему, бандитскому.

В сапогах я толк понимал сызмальства: отчим у меня был сапожником. Кирзовые, юфтевые, хромовые — различал их безошибочно. Отчим начал еще до революции, мальчиком, подмастерьем у мастера. И к тому моменту, когда он на какое-то время оказался в нашей семье, это был уже мастер экстра-класса. Просто легендарный мастер. В жизни у него имелись две профессии: бронебойщик, и тоже классный, о чем свидетельствовали принесенные, вынесенные, как спасают из пожара какую-нибудь первую попавшуюся под руку мелочь, орден Красной Звезды и несколько медалей, включая «За взятие Кенигсберга», и — сапожник. Ничего другого он в жизни не умел. Если иной раз и брался за вилы, матушка моя посмолит, посмолит, да и переймет их у него, неуклюжего, легкая, ловкая — вот у нее-то в руках горела любая работа.

Впрочем, еще одно дело, судя по всему, получалось у него неплохо: отчим несколько раз сидел в тюрьме и всякий раз — за неуплату алиментов. С матерью он не был расписан, зато с другими, видимо, расписывался регулярно — они его и сажали.

Когда ему приносили обувь в починку, он брал ее хмуро и брезгливо, двумя пальцами, приподымал на свет и, кривя тонкие губы, рассматривал с явным пренебрежением. Отдавал ее совсем другою — не только подшитой — подремонтанной, но еще и отменно начищенной. Я навсегда усвоил: настоящий сапожник, пока трезв, чистоплотен, как белошвейка, хотя и служат они разным частям нашего брэнного тела.

Рассчитывались с ним как с деревенским священником: щаче яйцами, придушенной курицей, чем деньгами.

Как же преображался он, когда к нему приходили с заказом на новые сапоги! Это был уже совсем другой человек. Усаживал клиента, как гостя, на самое почетное место. Самолично, привстав на колено, разувал его, обмерял клещевым сантиметром его ступни и голени, как бережно обмеряют перси какой-нибудь короле-

вы красоты. Вдохновенно выбирал, расписывал перед ним достоинства той или иной кожи, подошвы или стелек. И недели две трудился потом над заказом, оставаясь удивительно трезвым. Тачал или распяливал на деревянных, липовых клиньях голенища, вколачивал в подошвы, надев зачаток сапога на железную лапку или на деревянную колодку мелкие гвоздочки и березовые саморезные шпильки. Азартно, по-скворчиному распевал, сидя на своем низеньком стульчике с ременной сидушкой, что стоял перед нашим окошком. Пел в окно, а настоящий скворец подпевал, вторил ему, с карагача, в это же самое окошко.

И с каким благоговением вручал затем новенькую, обворожительную пару очумелому от такой милости клиенту. Тот, по-моему, все же сам не до конца понимал всей драгоценности дара, ибо мастер, совершенно очевидно, радовался даже больше самого новоявленного обладателя сокровища.

Даже к оплате в данном случае отчим относился весьма индифферентно — хоть яйцами, хоть курицей, — потому что в этом разе наградой ему являлась сама работа, само наличие заказа.

Полсела ходило в его сапогах, и отчим, человек новый, пришлый в наших местах, всегда знакомился с людьми снизу вверх.

Какие мы, такие и костюмы. А тут наоборот: какие сапоги на нас, такова и цена нам.

«Свои» сапоги угадывал с полувзгляда.

Любил, когда к нему заходил дед Тимофей Рудаков. Это был старорежимный, с седой, кругло остриженной бородой старик. В нем проглядывало что-то и от кулака-мироеда, какими их изображали в тогдашних книжках, и от старовера. Невысокий, но еще крепенький, по-церковному опрятный, очень себе на уме, с большим недоверием и пренебрежением относившийся к окружавшему его современному миру. Но главное — эти сногшибательные сапоги бутылками!

Дед, покряхтывая, взбирался на покрытый рядом сундук супротив мерно труждающегося отчима. Умачивал между коленями свой отполированный годами дубовый посох, расчесав пятернями совершенно серебряную, не мироеда даже, а святителя Николая, бороду, укладывал их, две подсыхающие стариковские пятерни на гнутую кренделем ручку посоха.

И они с отчимом часами вели мерные, нескончаемые свои беседы.

Причем даже отчим, обычно, как все сапожники, вполне говорливый, становился сдержанно

немногословен, попадая в такт длительным дедовым паузам.

Но сам то и дело косил глазом на его сапоги.

О, какие то были сапоги! Вакулины черевички, чувяки, добытые для возлюбленной от самой царицы Екатерины и доставленные в Диканьку посредством самого черта, меркнули перед ними.

Даже я их помню до сих пор.

Как, пожалуй, и державную посадку самого деда.

Так, наверное, Саваоф сидит на своем облаке, свесивши к нам умопомрачительные свои козловые, стариковские полсапожки.

Насколько я помню, разговор они вели в основном о днях давно минувших. Дед вспоминал свою жизнь до раскулачивания — она была настолько «мироедской», что тогдашние мозоли не сносились и до сих пор. Больше всего жалел о саде и винограднике, которыми владел, проживая до высылки в другом, пойменном, благодатном селении вдоль реки Кумы. Он и здесь, в нашей безводной, богарной Ногайской степи, к которой у деда ну никогда не лежало сердце, пытался завести хотя бы некое подобие сада. Но сад не принимался, не навязывался: еще безжалостнее, чем здешние суховеи, губили его послевоенные налоги на каждое плодородное дерево. Отчим, что был, конечно, значительно моложе деда, вспоминал свою дореволюционную жизнь «в мальчиках». Странно, но и эта жизнь ну никак не совпадала с той, которую описывали в книгах, к каковым я уже помаленьку подтягивался. Даже у классиков — те же Чехов и Горький описывали ее совсем иначе.

Да что там классики — мне самому мое собственное детство кажется сейчас вполне лучезарным. У одного американского писателя прочитал: «Где-то там, за кустами, чернела открытая могила реки...» В детстве же не то что река, а любая лужа, даже в самой черной ночи, сияет звездным небом.

К слову: писатель этот болел туберкулезом и умер, не дожив и до тридцати, в том же немецком курортном городке, в котором четыре года спустя умрет и Антон Чехов.

Отчим косился на дедовы сапоги не только потому, что они были превосходны. Но еще и по той причине, что они были — не его работы. Да и дед, Тимофей Яковлевич, видимо, выставлял их так нарочито с учетом этого обстоятельства. Дразнил мастера.

Но отчим был, как все истинные мастера, терпелив. И дождался. Дед, за несколько лет насмотревшись и удостоверившись в его искусности,

сделал отчиму заказ — на новые хромовые сапоги. То ли эти, едва ли не дореволюционные, поизносились, то ли с деньжатами подсобрался, то ли просто блажь нашла.

Отчим, и без того имевший на лице, особенно в области носа, по известной сапожной причине отчетливый малиновый отлив, аж вспыхнул весь. Ему предстояло соревноваться с неведомым ему Паганини крючка и шила!

Теперь дед приходил каждый день. И у них теперь даже беседы пресеклись — настолько поглощен каждый своим делом. Сапожник — в зубах у него то березовые шпильки, то медные гвоздочки — даже очки нацепил, которых я на нем еще никогда не видывал, чтоб еще больше походить на дантиста неожиданной национальности, а когда поднимался, то, несмотря на ременную сидушку, мокрое пятно у него виднелось не только на покрасневшей, несмотря на отчаянную трезвость, лысине, но и на штанах тоже: стало быть, голова потеет от умственного, а задница — от интеллектуального.

Дед же привередливейшим образом следил за каждым движением мастера. Малейшую оплошность, промашку выцеливал.

А выцелить — не мог.

Передача же сапог, с невероятным тщанием обсмотренных и даже обсмоктанных, поскольку подборы даже на зуб пробовали, прошла на уровне Ялтинской м и р н о й конференции, где ни одного побежденного не было. Потому и м и р н а я, что — одни победители.

Дед пришел не только с деньгами, которые последовательно вынимал из заглазника для карманных часов и отсчитывал со скрупулезной отчетливостью ленинградского метронома. Но еще и с четвертью первача. Она, четверть, и довела совершенно выдохшегося было мастера до такого состояния экстаза, что мы с матерью вынуждены были в эту ночь спастись от него бегством и ночевать у моей крестной.

Слава — она даже бронебойщикам, особенно контуженным, голову, контуженную, кружит.

Сапоги вышли на загляденье.

Дед прошелся в них по нашей хате, как маршал Жуков.

Мастер, задрал очки на лоб, чтоб виднее было, принимал парад, поворачиваясь на своем сапожном стульчаке с почти отсутствующим сиденьем, как генералиссимус Сталин.

Наверное, все-таки Брежнев: Сталину на Мавзоле ступляк еще не подпихивали.

Дед Рудаков вскоре умер. Отчим, человек, вторяю, пришлый в нашем селе и частенько отлу-

чавшийся из него, на похороны никогда не ходил. Но тут пошел — возможно, чтобы в последний раз ненароком полюбоваться на свой хромовый шедевр.

* * *

В нашей хате ни электричества, ни радио. Мы почему-то больше переживали из-за радио. И не потому, что жаждали новостей. Нет. По ночам к нам часто стучались всякого рода странники. Калики перехожие, среди которых часто попадались лихие мужички холодного лета пятьдесят третьего. Время шло такое, и этих требовательных стуков, нередко в сопровождении мата, мать боялась пуще шаровой молнии: отчима в доме то еще не было, то уже не было. Он и появился у нас довольно поздно, и задерживался лишь от случая к случаю.

И мать очень хотела, чтобы стучавшиеся слышали в хате мужские голоса. Мой писк в расчет не брался — кто же его испугается? А вот как вывернуть бы приемник до отказа да как грохнуть бы басом Левитана — вот это бы впечатлило ожидающих.

В общем, мы жаждали Левитана или на худой конец нашего ставропольского диктора Кандыбку, который в чужих домах рассказывал иногда про погоду в Ставропольском крае, каковая ну никогда не совпадала с тем, что творилось у местных радиослушателей за окном, и эти самые радиослушатели с удовольствием вступали с Кандыбкой в препирательства. И всегда выигрывали, поскольку Кандыбке позволялось вещать всего пятнадцать минут в сутки, а неугомонные правдолюбцы-радиослушатели могли горланить сколько угодно.

Но радио нам не проводили по той же причине, что и электричество. Слишком далеко от линий цивилизации, на пустыре и отшибе стояла наша хата. Проволоки не хватало, жалко на нас тратить. Дядька Иван, материн двоюродный брат, привез как-то к нам несуразную машину с прямоугольными кислотными батареями, но как ни бился над нею, она не то что Левитаном, не то что Кандыбкой, она вообще никем не заговорила. А только шипела да еще и подозрительно дымилась при этом. Кого она могла напугать? — только саму матушку. Та и выкинула ее в первый же вечер, как только дядька Иван, матюгнувшись для порядка, ушел от нас.

Патефон — вот единственное из цивилизации, что было у нас, кроме примуса и керогаза. Русланова изредка, на Седьмое ноября, когда у ма-

тери собирались еще две-три подруги, пела у нас. «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки...» — почти как и наши с матерью, на двоих, кирзачи. Но разве ж и ею кого отпугнешь? — скорее привадишь.

А в селе уже появлялись не просто радио, а р а д и о л ы, в красном полированном дереве, размером почти что с пианино, с загадочно мерцающей «приборной доской», с блуждающей индикаторной стрелкой на ней и с еще более загадочными, неисповедимо манящими наименованиями городов на ней: «Париж», «Амстердам», «Рио-де-Жанейро»... Поглазеть на них, а не только послушать, по вечерам набивались в зажиточные сельские хаты в пятидесятых так же, как где-нибудь в городе набивались в «хорошие» квартиры в те пятидесятые «на телевизор».

Который я впервые увидел только в шестьдесят втором, уже в буденновском интернате. Интернатское отхожее место у нас располагалось на открытом воздухе, во дворе, по-солдатски, без индивидуальных перегородок, вернее, перегородка была только одна: правая половина для девочек, левая для мальчиков. Клозетов, черт подери, не было, а вот телевизор, тоже общий, и для девочек, и для мальчиков, в общей «комнате отдыха» уже имелся.

Красотку Анну Шилову помню с тех еще пор.

Вместо керосиновых ламп в селе, в чужих, не на отшибе, домах появлялись уже лампочки, и моя первая встреча с волшебством электричества запомнилась на всю жизнь.

Состоялась она в комнатухе у бабушки Анисьи. Строго говоря, бабушкой она мне и не была — это ее муж, отец моих двоюродных дядьев, приходился мне двоюродным дедом. Но он сгинул на войне, которая зацепила и его старшего сына, Ивана. Однако бабка не забывала нас с ма-

терью. Родилась с нами. Приходила и к нам, на другую, совсем уже бесплодную сторону балки с гостинцами, и сама привечала нас в своем доме — может, и потому еще, что когда-то этот домик принадлежал семье моей матери. Мать потеряла его, тоже более плодovitое «место», оставшись сиротой.

Бабушке «провели свет», и я в тот же день оказался в ее землянке, где вместе с нею проживал с семьей ее средний, еще «неотделенный» сын и младший, Вася. Вася уже парень, но его еще в детстве накрыла «младенческая», он хромал и тянул, как взнузданный, голову. Голова у него красивая, с огромными старорусскими глазами, но — неблагополучная. Если и не совсем «младенческая», то — недалеко ушедшая от меня, тогдашнего.

Проведенное электричество добавило ему помешательства. Обуянный восторгом, он фавном прыгал под лампочкой в комнате, которую делил вместе с матерью. И нечаянно разбил ее. Умом мы одинаковые. Но ростом Вася значительно выше меня. Я встал на табуретку и ухватился за огрызок лампы — мне ведь тоже хотелось потрогать ее.

Ну и потрогал. Прилип к ней так, что убери из-под меня табуретку, я бы, сотрясаемый электричеством, как и Василий «младенческой», так и остался бы висеть в воздухе. Но Вася дурак-дурак, а все же, перепугавшись пуще меня, все-таки догадался щелкнуть выключателем на стенке.

Как будто петлю мне, еще покамест живому, перерезал.

И я плюхнулся — даже не на пол, а напрямиком — в жизнь.

Спасибо Васе. Его уже нету на белом свете, а я, такой же дурак, только постаревший, благодаря ему пока еще, кажется, живой.

Продолжение следует.



Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА

От редакции

Ксения Емельянова дебютировала в «Юности» год назад. С того момента Ксения обрела новых читателей, стала призером международного поэтического конкурса переводчиков, выступила со стихами на разных площадках. Но главное, что она стала лауреатом премии имени Анны Ахматовой.

О себе

Родилась в Москве в 1988 году. В 2012 году окончила Литературный институт имени Горького. Печаталась в журналах «Арион», «Юность» и др. Занимаюсь и поэтическим переводом. Воспитаваю сына Илью (3 года).

* * *

1.

Поздняя осень. Женщина в двадцать восемь.
Судьба на ладони, но надо ее прожить.
Первое дело, когда становишься взрослым, —
детские игры свои оплатить.
Память закидывает вопросами.
Как бы душою не покривить.
Судьба формируется, как рельеф, как речное русло,
в землетрясениях юности,
вторит пейзажам родной земли.
Где родился, там пригодился.
С кем водился, чему учился.
От кого отвернулся.
Кому слова и дела твои не помогли.
С этих высот жизнь кажется обозримой
Солнце сияет на всем, и белым-бела
тропка до самой смерти. Давай, родимая.
Ребёночка на руки — и пошла.

2.

Поздняя осень — женщина в двадцать восемь.
На солнышке молодо выглядит, улыбается.
Излучает ответное гаснущее свечение.
Жизнь, как битая октябрьская антоновка, душиста и неказиста,
как лес в ноябре, безлистый,
в нежданно погожий день забывает, что плохо одет,
вытягивает гибкие ветви, греется,
думать не думает о скорой зиме.
Земля подставляет бока
в желтых клочьях травы на буром подшерстке,
как дворняга вылинявшую шкуру
солнцу, ослепительному белому солнцу,
которое, как любящий взгляд Бога,
все преображает в чистую
пронзительную
красоту.

* * *

Нагруженная до отказа лада
тряпьем и скарбом, бедными людьми.
К стеклу прижалась листьями рассада,
зелеными ладонями. Костями

на грядках лягут, но посадят к сроку,
по лунному календарю, на первомай,
картошки сотки три, хотя оброку
и не платить, им нужен урожай

не от крестьянской тяги к земледелью,
им без него не выжить, не прожить,
и выходную майскую неделю
не разгибаются. Да Бога б не гневить.

На Пасху грех работать — даже птичка
гнезда не вьет. Нельзя не навестить
родных покойников. Свяченное яичко
на кладбище заехать положить

и рюмку выпить за Христос воскресе.
Прости нас, деда, глина, чернозем.
Мы все же верим, что они воскреснут,
мы ждем.

И пережевывая хлеб за мертвых,
мы слушаем кладбищенский, лесной
лазурно-звонкий щебет перелетных,
вернувшихся в отчизну
весной.

* * *

Здравствуй, моя любовь, благоденствуй.
Как ты здесь оказался спустя семь лет с половиной?
У того же балкона стоишь, будто в окно вошел.
Мне в тебя не поверить.
Видишь, и правда, жизнь оказалась длинной.
Кто из нас в следующий раз придет к другому с повинной?
Я уже не знаю, грешно это или смешно.
Я забыла, что ты есть на свете, но
в разговорах невольно и невзначай
я, случалось, копировала твою мимику и интонации.
Странная жизнь. В ней есть перегоны и станции.
В ней забудешь начало, не дочитав до конца.
Но сквозь черты и резы на всех страницах
проступают черты твоего лица.
Здравствуй, моя любовь, благоденствуй.
Жизнь оказалась длинной. Спустя семь лет
ты стоишь, источая прозрачный свет,
смотришь на синюю ночь, на лицо вселенной.
Ты живыми глазами впускаешь ее в себя
и становишься в ней нетленным.
Я люблю тебя.
Небо светает,
И не ты ли из головы моей вышедший
сон, который к утру забыть?
Эта ночь через минуту растает.
Ты рассеешься, может быть.

РОВЕСНИК «ЮНОСТИ»

Александр Блок — актер театра и кино, заслуженный артист РФ. После окончания в 1979 году ЛГИТМиКа работал в Ленинградском ТЮЗе, а с 1985 года — в Театре имени Ленсовета.

13 июня Александру Ивановичу исполнилось бы шестьдесят лет.

О нем вспоминают...

...дочь Светлана Блок:

— Каким папа был человеком? Очень веселым, жизнерадостным, оптимистичным, я редко видела его опечаленным. Я всегда могла на него положиться. Могла позвонить в три часа ночи, и он мне отвечал. Помогал, поддерживал. О чем мы любили разговаривать? Да обо всем! Обо мне, о нем, о религии, о политике, об искусстве. Я потеряла самого бесценного, незаменимого человека. Мне до сих пор не верится, что его нет. Его нет, а жизнь продолжается. Без него...

...учитель Зиновий Яковлевич Корогодский (руководитель курса, на котором учился Блок, народный артист РСФСР, лауреат премии Станиславского):

— «Ты из людей с особой статью. Настойчивый в своем взгляде на людей, на вещи, на дело. Сказать, какой ты актер, можно одним словом: хороший. Ты умеешь быть серьезным и в жизни, и на сцене, но можешь быть неукротимым, забавным, почти клоуном. Дай бог, чтоб твоя жизнь складывалась так же, как и до получения звания...» (Из письма А. Блоку, только что получившему звание заслуженного артиста.)

...однокурсник Игорь Агеев (актер, кинодраматург):

— Мы с Сашей вместе учились, потом вместе работали в ТЮЗе. Внешне — герой, красавец двухметрового роста, на характерных ролях он просто летал. О нем можно сказать, что это человек-делатель. Он всегда что-то придумывал и был во всем впереди. Если надо было за короткий срок научиться играть на контрабасе, он мог не спать всю ночь и выучивался. Если надо было помочь друзьям, никогда не задавал вопросов — просто молча помогал. Саша был безотказным, мог работать за идею, всегда был отзывчив и добродушен. Жизнь для него была игрой, а в душе никогда не угасал юношеский задор.



Александр Блок в роли капитана Берда в спектакле Ленинградского ТЮЗа «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе». Фото Константина Кунтышева

...режиссер Владимир Богатырев (постановщик спектакля «Самая-самая», последней работы Саши на Малой сцене ТЮЗа):

— Прекрасно, когда опытный артист, успешно сыгравший много серьезных ролей, продолжает дурачиться, шутить и вести себя, как ребенок. Саша проявлял на репетициях удивительную способность *быть юным*. Хотя его юность уже уступила место зрелости, взрослый «дядя» творил как молодой человек, азартно осваивал и предлагал новое и непривычное.

...друг и старший коллега Игорь Овадис (актер, режиссер, профессор Монреальской консерватории):

— Александр Иваныч поступил учиться к ЗЯ (так мы звали Зиновия Яковлевича) летом 1975 года. Осенью того же года я демобилизовался, вернулся в ТЮЗ и оказался (по настоятельной просьбе



Александр Блок, З. Я. Корогодский и Игорь Агеев на творческом вечере Ленинградского ТЮЗа

Мастера) педагогом на курсе Блока. Мне было двадцать три, ему двадцать. Дисциплина в студии предписывала общаться на «вы» и по имени-отчеству. Поначалу это было как-то неорганично, но постепенно мы вошли во вкус и сохранили этот стиль общения и тогда, когда Александр Иванович был принят в труппу ЛенТЮЗа. Формальная дистанция придавала дружбе особый шарм, и, сочиня что-то вместе, мы никогда не нарушали этот негласный сговор.

Александр Иванович был клинически здоровым человеком и заражал этим своим здоровьем нас, самоедов и пессимистов. Он звонил мне в Монреаль и убеждал, что пора возвращаться, ибо сейчас в России нет никаких препятствий для того, чтобы играть и ставить что и где хочешь. Он жил с ка-

ким-то шальным удовольствием, он любил жизнь, и она его, казалось, любила...

Пока так жестоко не предала...

Сегодня, когда дистанция, разделяющая нас, приобрела внезапно космический масштаб, я бы хотел нарушить многолетнюю привычку и перейти на «ты». Но слова, что подступают к горлу, бесят меня своей неадекватностью... Я сглатываю их, чтобы не плюхнулись на бумагу пошлыми кляксами... Маяковский утверждал: если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно... Но кому, кому было нужно, Саша, чтобы ты уга?!

Остаться бы еще, продолжить бы немного...
И все же это все. Финал. Пора в дорогу.

(Из курсовой песни выпуска 1979 года)



Материал подготовила
Кристина Финогенова

Кристина Финогенова
родилась в 1983 году.
По образованию архитектор.
Работает в студии «Восход»
журналистом.

ОТ РЕДАКЦИИ

Существует давняя, можно сказать, катаевская традиция — публиковать в «Юности» студентов и недавних выпускников Литературного института. В этом юбилейном номере они тут как тут — надежда нашей словесности! Их немало. Они разные! Они по-разному пишут и о себе: кто-то одной строкой, кто-то целым эссе. Одни из них учатся на отделении прозы, а публи-

куют стихи, а кто-то уже свел со стихами счеты и перешел на прозу. Есть и такие, которые пишут по заказу, пишут много. А есть которые и не пишут вовсе, просто, как подсказал Вознесенский, стихи у них случаются. И рассказы случаются. Они такие разные. Но все они наша молодая литература, поэтому и у «Юности» все впереди!



ТАМАРА АЛЛИЛУЕВА

*Родом из Ленинграда. Служу в театре.
Оканчиваю Литературный институт.*



Литературный институт. Студенты

* * *

Она лежала под кроватью.
С кровати бахрома свисала
До пола.
Ситцевое платье
Пылилось, превращалось в тряпку.
Она лежала три недели,
Нетленная и небольшая.
Ее нашли перед ремонтом,
Когда квартиру расчищали.

САШКА-ЦАРИЦА

Мужики смотрели!
 Мужики смеялись!
 Мужики хотели!
 Мужики боялись!
 Вдруг один загавкал,
 А другой захрюкал,
 А другой запрыгал,
 А другой запукал.
 И, себя не помня,
 Кто-то закричал:
 Выходи-ка, девка,
 Утром на причал!
 Тут весь хор поднялся
 Теноров и басов,
 А один из них был
 Вылитый Некрасов!
 И заголосили!
 Ай заголосили!
 Их былину ветры
 По земле носили!
 И запели Сосны!
 Подхватили Ивы,
 И не удержались
 Яблони и Сливы.
 А Дубы кудрявы
 Головы лишились,
 По полям их буйны
 Головы катились.
 А она сидела, щелкала орешки,
 Отдыхала после
 Утренней пробежки...

Дон

Дон Рауль был очень тихий,
 Очень теплый и широкий,
 Пах страдой и летним зноем,
 Был глубок и одинокий.

Добрый Дон приял в объятья
 Всех несчастных, глупых женщин,
 Старых идолов никчемных
 Поселил в себе навеки...

Кровью пачкались эпохи
 Динь-динь-дон смешался с кровью,
 Но как был, так и остался
 Очень тихим этот Дон...



СВЕТЛАНА БАЗАНОВА (ТАТУОЛА)

Я родилась и выросла в Москве, хотя сменила много адресов: от Водного стадиона и Сходненской до Парка Победы и Фрунзенской. Жила и на Соколе, и на Динамо. Проучившись в трех разных школах, одна из которых была с литературным уклоном, поступила в Самарский государственный университет на факультет истории. Спустя год перевелась в Московский гуманитарный институт, но, не проникнувшись историей, ушла в Православный институт Иоанна Богослова на журналистику. Но и на сей стезе не нашла удовлетворения и, проучившись меньше учебного года, поступила в Государственный литературный институт имени Горького. Здесь я нахожусь и в данный момент. Писала и читала я много и с детства. Но с разным успехом, особенно писала. Сперва пробовала себя в поэзии, ныне пишу исключительно прозу, используя малую форму. Останавливаться пока не собираюсь — надеюсь, не зря.

Болото

«Я уж и забыла, какие у нас леса красивые! А за этой полянкой болото вроде начинается?»

«Да, болото. Ты, поди, и не выучилась по то-пям ходить, хоть я тебя всегда с собой брал».

«Не выучилась. Я не этому выучиться хо-тела».

«А чему? Чему ты в своем городе выучи-лась?»

«Пап, не начинай, вчера все обговорили. Что ж мне, как мать — на птицефабрике всю жизнь про-сидеть?»

«А поди плохо? И дом два раза отстроили, и тебя вырастили».

«И все? Да ни мать, ни ты ничего кроме своей деревни и не видели!»

«Ты на мать не наговаривай! Земля ей пухом. Она таких грехов за собой не водила!»

«Каких грехов? Это сейчас нормально. Все так делают».

«Ему хоть не больно было?»

«Пап, ну как? Пять недель — его и целиком-то не вытащишь».

От этих слов старик дернулся, на секунду замер и перекрестился. Капельки на его дождевике за-дрожали.

«Ну ладно, ладно... Грибов нынче мало совсем. Лето сухое. Да и болота, гляжу, обмельчали».

Отец и дочь остановились у кустиков, отде-ляющих болото от суши. Старик привычно сунул руку под один из них и достал длинную шпалеру, наполовину почерневшую от болотной жижи.

«Все правила помнишь?»

«Помню, папуль. Помню. След в след, медлен-но-медленно, всей ступней».

«Молодчинка. Я тебя сейчас в такой ягожник отведу! Ты такой клюквы отродясь не видела!»

«Да, варенье мама что надо варила. Когда вме-сто баночек письмо пришло, я так и поняла сразу. Жаль, у меня очередные пробы были, ну ничего — завтра хоть на могилку схожу».

«Сходи, дочка. Только что ты там попробовала-то? Вчера ж сказала, что продавщицей работаешь».

«Ага, продавщицей. У меня всего третий год портфолио лежит в фирме. Некоторые и по пять лет сериала ждут. Так что я еще неплохо устроилась».

«Это хорошо, хорошо...»

Редкие красные ягодки, желтые листочки и зеленый мох были серы. Семенил дождь, и день был вечером.

«Говорят, когда грибов мало, они червем шибко источены. Не врут, поди. Я отойду, а то скрути-

ло. Ты, дочка, с места только не сходи. Топи. Я быстро».

Старик, не спеша меряя трясины длинной палкой, пошел к берегу другим путем. Добравшись до заросшей кустами кромки берега, он остановился. Не оборачиваясь закурил. Перекрестился и побрел в глубь леса.

«Пап, ты что, пап! Не надо! Слышишь, не надо! Я же дочка твоя!»

«А малыш? Кем он тебе был? Если у Бога на тебя план еще есть — выберешься. У меня на тебя больше ничего нет».



Лекции



Лекции опять и опять



Лекции опять



МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Мария Васильева — актриса, певица, режиссер, автор стихотворений для детей и взрослых. Училась в театральном институте, играла в театре «Школа драматического искусства». Оканчивает Литературный институт имени Горького (семинар поэзии И. Л. Волгина) и учится на втором курсе РГК имени Рахманинова (факультет сольного пения), работает над авторским проектом «Всюду театр». Публиковалась в журналах «Арион», «Студенческий меридиан», «День и ночь» и др.

* * *

Жил был кот.
Он был жмот.
День за днем он круглый год
Набивал себе живот.
И однажды как-то вдруг
Превратился в полукруг.

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

И все-таки «поэзия должна быть глуповата»,
И в этой глупости она глубоковата.
И как «герои маленького роста»,
Я выражаюсь для кого-то слишком просто.

Меняются века, прогресс глядит сурово:
Какая скукота «ахматовское» слово.
На что тебя хранить? «Культурные» магнаты
Готовы хоронить и жечь твои пенаты.

Стихи особо умных — лишь голые идеи,
А с «оченьмодным ритмом» пишут прохиндеи —
Ведь многие подростки спешат в литературу,
Чтобы пополнить нашу великую культуру.

Есть поколения два и две больших ошибки:
Старанье и игра у всех уж больно шибки.
А что хотят сказать и так ли это нужно?
Успели позабыть, задумавшись натужно.

«Святая простота» — так говорят с укором.
Но этой простоты захочется всем в скором.

* * *

На Азовском море, как в Библии.
Посреди воды — караван людей.
Хотят ли они дойти до берегов Эдема
Или просто идут купаться?

На белом песке хорошо.
И я вдруг представила,
Что тот очкастый Сашка из детства
Вернулся, и мы играем в белые снежки.
Мы не в Москве, и не здесь,
Не в Америке, а на тех берегах Эдема,
Куда всю жизнь стремятся люди;
И которые при жизни находят немногие,
Но мне смутно кажется, что я нашла.
И вокруг все такое белое!



Коридоры Литы



Коридоры Литы



СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ

Сергей Гончаров родился в 1987 году в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский электротехнический колледж. Студент Литературного института имени Горького. Публиковался в ряде газет Ростовской и Тверской областей и альманахе «Полдень XXI век». Живет в Москве. Занимается ремонтом теплосчетчиков.

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ

Я припарковал серебристый «ниссан» на вертикальной парковке возле здания, куда недавно устроился работать мой друг. Утром здесь припарковаться невозможно. Днем это сделать тяжелее, чем прогнать по Красной площади стадо коров. Вечером же каждое первое машино-место свободно.

Название известной международной корпорации, под окнами которой я остановился, упоминать не стоит. Все в нашей стране, от Калининграда до Сахалина, хоть раз, но пользовались ее продуктами.

Выбрался из машины размяться, заодно и позвонить, сообщить, что приехал. На улице середина мая, легкий ветерок приятно и тепло подул в лицо. Нашел в телефонной книге имя Давид. Нажал вызов.

— Привет. Приехал? — В голосе друга чувствовалась странная, неестественная для него настоятельность. — Тогда подожди пару минут, я за тобой спущусь. Покажу кое-чего.

— В смысле «спущусь, кое-чего покажу»?! Нам еще ехать через половину Москвы!

С этим человеком знаком с детства. В отношении него лучше сразу поднимать панику, даже если он ничего не натворил. Потом может быть поздно.

— Успеем, — слишком спокойно ответил Давид и положил трубку.

Я почесал голову и задумчиво поглядел на аппарат, будто он мог рассказать о странном поведении друга. Теряясь в догадках, направился к проходной. Внутри заходить не стал, да меня бы и не пропустили. Седовласый старик в зарешеченной стеклянной будке вяло на меня посмотрел и вновь вернулся к разгадыванию сканворда. Я остановился у выхода — свежим воздухом подышать, о вечном подумать, как некоторые называют безделье.

Моя машина на парковке смотрелась покинутой и одинокой, словно игрушка, брошенная повзрослевшими детьми. Закатное солнце отражалось от стекол соседних домов, от проезжавших автомобилей. Слепило. Посмотрел на чистое, редкое для Москвы голубое небо. Если бы люди умели летать, то махнул бы крыльями и унесся в эту манящую высь! Летел бы над Москвой, смотрел на суетившихся в пятничный вечер людей...

— Ау! — потряс друг за плечо. — Замечтался?

Посмотрел на Давида. Взлохмаченный, с вечно красным, как у последнего пьяницы, носом. Каждые три секунды поправляет очки в тонкой оправе. На распахнутом белом халате нет двух пуговиц. Под правой мышкой дырка. Беджик «Лаборант» из горизонтального положения умудрился переместиться в вертикальное.

— Что случилось? — присмотрелся к другу.

Блестевшие глаза и слегка подергивавшийся уголок рта выдавали его, как хвост из-за дивана — кошку.

— Пойдем. — Он взял меня под руку и потащил ко входу в здание.

— Да подожди ты, — попытался высвободиться, но Давид держал крепко.

— С тобой? — Седовласый охранник поднял взгляд от сканворда.

— Со мной. — Друг приложил к желтому кружочку пластиковую карту, стрелка турникета замигала зеленым. По его пропуску прошел и я.

Миновали светлый и просторный холл, где стояло с десяток диванчиков.

— Что произошло?

Мы вошли в серебристый лифт с зеркалом на задней стене.

— По-моему, тебе лучше посмотреть. — Он нажал кнопку третьего этажа.

Двери мягко и бесшумно закрылись. Кабина беззвучно и едва ощутимо тронулась вверх.

— Не боишься, что опоздаем?

— Не боюсь, — отмахнулся Давид. — Мы мигом.

— Как знаешь, — пожал я плечами. — Только странно ты себя как-то ведешь. Думаешь, меня здесь всерьез что-то заинтересует?

Друг не ответил. Несколько секунд мы проехали в тишине. Серебристые двери тихо раскрылись. Нас встретил мрачный, полутемный коридор с крашенными в салатовый цвет стенами.

— Сюда, — направился влево от лифта Давид.

Попалось несколько деревянных дверей, от одной из них слабо пахло краской. Лифт за спиной бесшумно закрылся, стало еще темней.

— Невеселое какое-то место, — честно признался я.

Вдали виднелось еще несколько дверей, затем коридор поворачивал. Тишина стояла оглушающая, будто вокруг могила, а не Москва.

— А здесь ничего веселого и не должно быть, — бросил Давид через плечо. — Здесь долгосрочные эксперименты проводят, помнишь, рассказывал?

— Помню, — соврал я.

Мы дошли до следующей двери. Друг нажал на золотистую ручку и зашарил по стене в поисках выключателя. Я остановился у него за спиной и терпеливо дождался. Наконец под потолком мигнула люминесцентная лампа, а уже через секунду она осветила неживым, голубым светом квадратную комнату без окон. Центральным предметом была огромная кастрюля диаметром около двух метров и высотой полтора. Из нее слышался многоголосый писк. Лишь подойдя ближе, увидел, что это огромный миксер, накры-

тый стеклянной крышкой. В нем находилось несколько сотен крыс. Некоторые дрались, другие спали на огромных, блестящих в голубом свете ножах. Большинство же попросту носились от стенки к стенке, сталкивались и кусались. Заметил несколько истерзанных и разорванных трупиков. Две белые крысы дрались за кусок мяса, судя по всему, лапку сородича. В центре, на высоте метра от пола, подвешена небольшая деревянная площадка, по размеру как раз для одной крысы. На ней лежали три кусочка копченой колбасы.

— И в чем... прикол? — посмотрел я на друга.

— Прикол... — как эхо повторил Давид. Он нагнулся над огромным миксером и с интересом посмотрел внутрь. — Прикол в том, что я об этом эксперименте узнал несколько дней назад. Естественно, подумал, что это полнейший... — на секунду глянул на меня, — ...идиотизм, в общем. Понял, в чем он состоит?

— Нет.

Я еще раз заглянул в огромный миксер. Две белые крысы уже не дрались. Одна из них конвульсивно дергалась, а вторая вгрызлась ей в живот.

— Значит, — Давид подошел к небольшому пластиковому щитку с динамиком на стене и постучал по нему костяшками пальцев, — через каждые двадцать минут отсюда на русском, а затем на английском раздается: «Запрыгни наверх, убей остальных». Та крыса, которая сумеет забраться на площадку, включает миксер. Естественно, в живых остается лишь она.

— И? — Я еще не понимал, к чему он клонит.

— Это лишь первая стадия эксперимента, — удрученно вздохнул и добавил: — К остальным у меня нет допуска.

— И зачем ты мне это показал?

Начало раздражать, что из-за чьего-то странного и непонятного опыта мы можем опоздать.

— А вот теперь включи воображение. — Давид подошел к двери и взялся за ручку. — Не могли ли и над людьми когда-то поставить такой эксперимент? Например, высокоразвитая раса сделала нас по своему подобию, отобрала подобным образом самых... живучих и отправила на Землю! — Он посмотрел мне в глаза, видимо, рассчитывал увидеть в них понимание. — Ладно, пойдём. Вижу по недовольной физиономии, что тебе все равно.

— Да мне не все равно. — Я вышел в коридор. — Просто ты вечно витаешь в облаках, а того, что под носом, как всегда, не видишь.

Давид молча выключил свет и закрыл дверь. Приглушенный мужской голос произнес: «Запрыгни наверх, убей остальных. Jump up, kill others».



ОКСАНА ГРЕБЦОВА

О себе

Родилась в небольшом городке Великий Устюг. С 2004 года живу в Москве.

Моя творческая жизнь началась довольно рано. Я была разносторонним ребенком и интересовалась поэзией, музыкой, рисованием. Окончила с отличием художественную школу. В школе писала стихи, всегда придавая этому серьезное значение. В юности пела в церковном хоре, затем выступала с коллективом русской песни, была солисткой музыкальной группы. Но в большей степени я осознаю себя поэтом. В 2008 году стала лауреатом двух конкурсов — «Всенародная поэзия России» и «Галерея избранного произведения».

До поступления в институт посещала литературную студию под началом Сергея Арутюнова. Именно это и стало толчком для дальнейшего творческого развития.

* * *

Проезжаю станцию, где мы жили с тобой.
Смешивались, как сахар и соль, оставаясь разными.
Совмещали ежедневно радость с болью,
Собирали картинку с красивыми пазлами.

Две щетки зубные, два велосипеда,
Машина, кровать — все было общее.
Мой ключ в прихожей — твоя победа.
Свобода, ничейность — так будет проще и...

Сложней одновременно, потому что
Время предъявит тебе обвинение
В растраченности... ну кому что...
У меня на этот счет особое мнение.

Как же отделить теперь сахар от соли?
Как ни старайся — пустая забота...
В нашу — твою дверь — постучат Юли, Оли...
Да и я найду себе кого-то...

ПИСЬМА

Я ежедневно от кого-то жду письма.
Нет-нет, не электронного — простого,
Где штамп и марка, индекса кайма
Напомнят запах почерка живого.

Но ящик пуст, застыл в полузевке
И ждет столь редкой радостной подачи.
Ключ мается в гарцующей руке
И подтвердит несмелые догадки —

Никто не пишет. Лестницы штрихи
Перечеркну неровными шагами.
В квартире — сына звонкое «хи-хи»
Порхает над притихшими часами.

В шкафу пороюсь, тут коробок тьма.
В них письма с нежной верностью хранятся.
И воскресают, будто бы из сна,
Все, кто умел мне сердцем улыбаться.

АННА

Я зимою пропитана...
Полотенце смочено спиртом, обнимает мои колени.
Ломит суставы. Я чувствую каждый.
Боль играет на них смычком, как на скрипке.
Однажды Анна глянет в окно на объедки лучей,
Миллионы непрожитых дней впереди оставляя.
Недовязанный свитер моих не согреет плечей...
Я седой рассвет десять лет без тебя встречаю.
Ты раскачиваешь звезды-маятники над моей головой,
А я маюсь — по-прежнему сводит ноги.
Полотенце, спирт обещают ночной покой.
Ты молилась тогда — за меня, за детей, за многих.
Знаешь, зимою так хочется в вечность верить,
Разглядывать ангелов в снежинках крылатых.
Не пытаться даже разумом мерить
Бесконечность просторов, снегом объятых.
Чай заправить лимоном и кислую корку грызть.
Чайники-зрочки растерянно замирают.
Так и мы оседаем на дне, когда выпита жизнь,
И, подобно чайникам, ложимся и засыхаем.
Моя Анна, привычка проходит. Верно!
Остается любовь — эфемерная штука,
Крепко связующая поколения. Колено!
Имена, фамилии и повторение звука

В каждой букве незаменимой —
А-н-н-а. Вопреки приметам и прочему
Я назову свою доченьку
Твоим милосердным и солнечным именем.

Спичечка

Спичечка-девушка с тающим взглядом
Робко теснится в центре вагона.
Люди, как звенья, вшиты — зигзагом,
Давят ее — лилипутика, гнома.
Цвет ее глаз — «бабаевский горький».
Зрачки, расплываясь, добавляют горечи.
Баланс сохраняют тонкие ножки
При нервных тиках метропоезда.
Кто ты такая? Я в душу не лезу.
Просто девчонка без возраста, имени —
Антистолничная, метр отрезу —
Ткани в горошек. Ты уж прости меня.
Запылившись среди грудастых красавиц —
Ты привлекаешь немодную серостью,
Пропустив дефиле загорелых задниц —
Вся ты сияешь нетронутой бледностью.
Стрижка короткая — точно мальчонка,
Срезала с корнем жиденький хвостик.
Ярчей сарафанов — души распашонка.
По-птичьему опущенный в прошлое носик...
Нет ни друзей, ни подружек «ВКонтакте»,
Массовость дружбы — слепой показатель.
Есть Одиночество-город на карте,
В нем пропадаешь ты, милый мечтатель...



Вдохновение



В ожидании лекции



ДАРЬЯ ИВАНОВА

Дарья Иванова родилась в 1991 году в Чебоксарах. В настоящее время живет в Москве. Учится на шестом курсе заочного отделения Литературного института имени Горького (творческий семинар И. Л. Волгина).

ПИСЬМА ДЛИНОЮ В ЗИМУ

Снег летел на пустынные улицы Хиросимы.
Снег летел — хлопья падали в старый почтовый ящик.
Он писал ей веселые письма длиною в зиму.
Он писал в город прошлого письма о настоящем.

Настоящее было безоблачно и нелепо,
Виртуозной насмешкой жгло солнечное сплетенье:
Он писал ей о солнце, но пепел срывался с неба,
Он писал ей о людях, но те превращались в тени,

Он писал ей о многом, и многое было лишним,
Рисовал ей лиловым рассвет и закат бордовым.
У него за окном осыпались снегами вишни.
Хиросима теряла его с каждым новым словом.

Ей казалось, что он замолчит, если снег растает,
Что она, как и прежде, отдаст все свое без боя.
Приближалась весна, настоящая и простая,
И смеялась весна, что его заберет с собою...

Он однажды застыл над письмом своей Хиросиме
В летаргическом сне, в риторическом ли вопросе.
Он писал ей веселые письма длиною в зиму.
Писал и бросил.

АНДРЕЙ

Нет, жизнь не кончена в 31 год...

Л. Н. Толстой

Шелестели страницы, и дом оживал в ночи.
На пороге стоял мной утраченный человек.
Он вернулся домой.
Словно просто забыл ключи.
Словно вот он возьмет их и снова уйдет навек.

Тишина дребезжала натянутой тетивой.
И трещали в камине дрова, и сверчки — в траве.
Он не помнил меня.
Только небо над головой.
Только старое дерево в сочной густой листве.

Он еще не познал ни измены, ни жажды мстить,
И не знал, что судьба быстротечна его, как ртуть.
Он вернулся домой.
Точно вынужден погостить,
Точно день отлежится и снова сорвется в путь.

Но недели летели, дождями в стекло звеня.
И мерцали глаза в полумраке горящих свеч.
Я шептала ему неустанно:
«Прости меня.
Я не знаю зачем, но мне нужно тебя сберечь».

И когда вновь невыносимый страх охватил мой дом,
Ночь сулила беду и была холодна, длинна,
Он опять угасал,
я сжигала четвертый том.
Ибо что ему мир, если в мире идет война?

Здесь деревья усыпаны зелени бахромой.
Здесь такое же небо — высокое, в облаках.
Он останется здесь.
Он вернулся к себе домой.
И уже никогда не умрет на моих руках.

КРАКОВСКИЙ ТРУБАЧ

I

Шло огромное войско на город его войной.
Шло бесшумно. Безбожно. В ночи тугой, как в парче.
Город спал. И звучала труба в тишине ночной.
И слагалась легенда о Краковском трубаче.

Он тревогу трубил четырем сторонам земли
Под монгольской бранью и ливнем летящих стрел,
Чтобы люди проснулись и город спасти смогли.
Он трубил и трубил, и вдали горизонт пестрел.

А когда же погибель прильнула к его ногам
И стрелою насквозь кто-то горло его пробил,
Он смеялся в лицо надвигающимся врагам:
Отрубите мне голову — я свое отрубил!

II

Как бы вечер во мрак твое сердце ни пеленал,
И какая беда ни спала б на твоём плече,
В каждом новом рассвете победно звучит Хейнал,
Если верить легенде о Краковском трубаче.

Как бы ни был надежен твой тыл или крепок дом,
И какая бы мощь ни таилась в твоём мече,
Обрываются жизни внезапно на верхнем «до»,
Если верить легенде о Краковском трубаче.

Как бы ни был твой горестен путь или мрачен век,
Как бы скоро твоей ни пришлось догореть свече,
Сможет смерть переплавить в бессмертие человек,
Если верить легенде о Краковском трубаче.



Куняев



На семинаре Куняева



КАТЕРИНА КОМИССАРОВА

Катерина Комиссарова родилась и живет в Подольске Московской области. Студентка Литературного института имени Горького (семинар А. Ю. Сегеня).

Писать начала в детстве, первая публикация (2004 год) — в городской общественно-политической газете «Подольский рабочий». До окончания школы состояла в литературном кружке «ЛИРА». С 2006 года ежегодно публикуется в «Подольском альманахе». Печаталась также в нескольких выпусках «Литературной газеты».

Город, закованный в синий просоленный лед

Серее

где-то город, закованный в синий просоленный лед,
где-то судна, стремящие ввысь деревянные шпильи,

где-то улицы ветром исхожены на год вперед —
километры брусчатки, и ярды, и версты, и мили —
все равно, лишь бы двигаться, лишь бы куда-то шагать;
направление спорно, маршрут до конца не указан:

по мосту, что протянут меж двух берегов, как шпагат,
и узлами фонарными — вехами в памяти — связан.
мимо набережных, мимо броско кричащих витрин,
за беседой, улыбкой, молчанием о высоком.

сколько слов недосказанных, сколько вопросов внутри,
сколько общего между и даже несхожего сколько.

Невский иллюминаций, как елка в конце декабря,
на Дворцовой следы, у Казанского тень полукругом,
синий ангел над городом, боже, хранивший царя,
двое в теплых пальто, потерявшие разом друг друга,

мы знакомцы, влюбленные в образ, но мы не друзья:
я и город, мы искоса смотрим на руки и лица.

ты хороший, закутанный в морок, туманы, озяб,
ты за верстами, милями, шпалами, крыльями птицы.

где-то руки, пропахшие масляной краской, — вода,
тонкий лед-скорлупа, голубые гранитные плиты,
где-то есть и другие — с просоленным льдом — города,
только я помолчала и все-таки выбрала Питер.

По краю

когда ты уже будешь счастлив, мой человек?
вчера же весна, а сегодня заиндевело
стекло над парадной и выпала на траве
роса, и газон показался колюче-белым.
а время идет, но ни слухов, ни новостей.
обрывками фраз несвязанных сыт не будешь —
известно, что дом распилен на сто частей,
туда, где жила я, вселились другие люди.
пусть счастье твое прорастает хотя бы в них.
день мается, ночью холод хватает цепко,
лекарства идут с рецептом и без рецепта,
неделя забита рефлексией, как дневник.
чего же тебе не хватает, мой человек?
чего же ты скачешь и ластишься к той и к этой?
проблема живет тараканами в голове,
они там кишат и мешают пробиться к свету.
всего-то — живи...
ожидание портит кровь.
а дальше — страшнее, снега заметут дорогу.
ты ходишь по краю наполненной стопки к богу,
ни разу не принимая его даров.

Марина и Анна

Весна пришла под тихим мелким снегом,
Бросала вызов логике и числам.
И каждый новый шаг сродни побегу,
Как исповеди — откровенным письмам.

Боярышник до крови колет пальцы,
И рвется все, особенно где тонко.
Над люлькою висят то конь, то пальцы —
Ты ждешь ребенка.

И на подходе к Пятницким воротам,
Как та, другая, я вжимаю плечи.
И я ее узнаю по породе
И по природе, слишком человеческой.

Весна пришла на улицы и в стены
Дворянских гнезд, терзая одиноких.
И я дышу, поток стихотворений
Разбив на слоги.

Мой мир никем, ничем не обеспечен,
Весна пришла в него, в стихах и лицах.
В нем я похожа на влюбленных женщин,
Смотрящих вдаль сквозь узкие бойницы,

Немые пленницы родов старинных.
И из меня, моих мечтаний рваных,
Глядит тебе в глаза любовь: Марина
И Анна.



ВЛАДИМИР КОРКУНОВ

Владимир Коркунов родился в 1984 году в городе Кимры Тверской области. Окончил МГУПИ. Публиковался в журналах «Знамя», «Вопросы литературы», «Юность» и других. В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Студент шестого курса Литературного института имени Горького (семинар критики В. И. Гусева).

* * *

Пальцо-ноты, длинно-аккордные,
разве спрячешь за робкой улыбкой?
полунимбы ладоней гордые —
замерев, растеряли гибкость.
Ты и губы сжимала — жженные,
нервно-ночные, отрешенные.
Эти пальцы о ком изломаны,
с полуночным свиваясь шепотом?

* * *

В столичной мороси протяжной,
в незавершенности всего, —
ты уезжала вглубь пейзажа —
с обломком сердца моего.

...Там, где гроза штурмует крыши,
там, где окаменевший снег...
Там, где мы были, память дышит —
как двуединый человек.



Дружба на фоне Горького



Экзамен какой-то



Думы



Иванова



ЕКАТЕРИНА КОРНЕЕНКОВА

Екатерина Корнеенкова — поэт, журналист. Родилась в 1984 году в городе Гродно Республики Беларусь. Стихи публиковались в литературных журналах «Наш Современник» и «Юность». Студентка Литературного института имени Горького (семинар поэзии Станислава Куняева).

СЛЕД САМОЛЕТА

Зачеркнутое следом самолета,
Казалось небо невозможно синим.
По делу ли, на встречу счастьем кто-то
Летел, но только я была не с ними.

А воздух плыл, дурманящий и едкий,
Весна уже кружилась над дворами.
Махали улетающим людям ветки:
Куда вы?! Оставайтесь лучше с нами!

А я без лишних просьб и оговорок
Бродила вдоль по улицам квартала,
Не потому, что этот город дорог,
А потому, что от других устала.

НЕБО

Я знаю: именно сегодня
Ты по-мальчишески нелепо
Над миром голову приподнял
И, как и я, глядишь на небо.

Оно сегодня цвета стали
И цвета глаз твоих бездонных.
Я чувствую, как мы устали
От серых будней монотонных.

Посередине тротуара
Среди бегущего потока
Стоим, не чувствуя ударов,
Нам нанесенных ненароком.

А небосвод тихонько плачет
Дождем у нас над головами,
И одиночество тем паче
Сегодня чувствуется нами...

Так близок ты еще мне не был,
Как в этот полдень непогожий.
Отныне нас связало небо,
И по-другому быть не может.

Что теперь у меня остается?
Эта глупая слабая связь?
Та, что сотовой связью зовется,
Ведь другая нам не удалась?

Что осталось на память от чувства:
Пара точек, крючки запятых?
Да, признаюсь вам честно, не густо...
Но раз способов нету иных...

Пусть улыбка, что счастье дарила,
Станет скобкой холодной и злой,
Только знай: я вживую любила
И желаю остаться живой.

«Все пройдет, пройдет и это», —
Утверждает Соломон.
Только вертится планета
С незапамятных времен.

За весной приходит лето,
И встречаются сердца...
Все пройдет, пройдет и это...
Так и будет без конца...

МАЙСКИЙ ВЕТЕР

Прохладным ветерком по вечерам
Пьянящий май окутывает плечи,
И будто бы живительный бальзам,
Пылающую рану ветер лечит.

Природа полноправно расцвела,
И в зареве весеннего заката

Сгорят обрывки прошлого дотла,
Как строки, сочиненные когда-то.

Тобой дышала каждая строка,
Тобою билось сердце неустанно,
Но нынче дуновенье ветерка
Остудит незатянутую рану.



ОЛЬГА КОЧНОВА

Ольга Кочнова родилась в 1979 году, живет в Твери. Окончила Тверской медицинский колледж, в настоящий момент оканчивает Литературный институт имени Горького.

Автор двух поэтических сборников. Стихи печатались в журналах «Наш современник», «Юность», «Студенческий меридиан» и др.

В половодье

Мы встретимся у моря. А пока
нас настигает рокот половодья.
И, кажется, должны пройти века,
и льдины, превращаясь в облака,
в небесном отразятся своде.

Мы встретимся. Ну а пока вода
стоит в лугах, нахлынула на город.
В прибрежных ивах, словно в неводах,
она ревет, запутавшись, и... сходит.

Спадает. Постепенно, день за днем.
И вот уж ни следа от водополья.
А мы все так же обреченно льнем
к задымленным громадам метрополий.

И лишь в прозрачных сумерках весны
мы понимаем — потеряли в главном.
А море, в наши проникая сны,
баюкает так бережно и плавно.

* * *

Я помню: лодки на приколе,
И деревенская тоска,
За речкой дремлющее поле,
Над ним — стога и облака.

И чей-то голосок высокий
С дороги еле различим...
В прибрежных зарослях осоки
Мы смотрим в небо и молчим.

И слушаем, как лодки мерно
Бортами бьются над волной.
Со стороны нелеп, наверно,
Наш тихий благостный покой.

А нам ни до кого нет дела —
Соседки проглядят глаза.
К тебе на руку робко села
Сверкающая стрекоза.

И хочется коснуться чуда,
Но не спугнуть бы мне его.
— Ты будешь помнить это?
— Буду...
Покой и больше ничего.

И вот когда над тем же полем
Грозой вспыхнет полдень весь,
Я вспомню лодки на приколе
И вдруг поверю — счастье есть.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОЧКИ

Слышишь: месяц, что над домом,
уронил колечко в Млечный Путь.
Притворяясь странным незнакомым,
дуб пришел под окна к нам вздремнуть.

И вздыхает, как медведь в берлоге,
ветерок загривок причесал.
Август на полночные дороги
звезды, как монетки, разбросал.

Спи. Пускай медведь огромный
за колечком в Млечный Путь нырнет
и монетки на дороге темной
лапою косматой соберет.

Пусть под утро спрячет он колечко
под подушку в детскую кровать,
где летают сны легки, беспечны.
Спи. Младенцам надо спать.

* * *

Обнажается дно, как порой обнажаются души.
Отступает вода от зеленых еще берегов.
Незначай колоском подавилась на поле кукушка,
отсчитав половину жарких июльских деньков.

Обступает гроза, но спасенья от зноя не сыщешь.
Отступает вода — не удержишь, как сквозь решето.
Из домов на поля уходят голодные мыши.
Только слышен под вечер недобрый в углу шепоток.

И в неверном свете на стене отражаются тени,
и одна норовит юркнуть в угол, что прочим темней,
то как дед от досады вдруг хлопнет себя по коленям,
то как бабка вздохнет, будто внуков коря в слабине.

И тревожно в дому, красный угол давно в запустенье,
воют ветры навзрыд, сквозь чердачное рвутся окно.
Лишь один домовой будто верит и впрямь во спасенье,
из забытой хозяйном кружки пьет чай травяной.

Сквозь оконный проем

Провалившись по пояс, в снегах
сквозь деревья темнеет строенье.
По сугробам почти что впотьмах
добредем уже в изнеможенье:

занесенное снегом крыльцо,
с облупившейся краскою портик...
Наливаются тучи свинцом,
вечер сер, как на старом офорте.

Ветер влажен, по-мартовски свеж,
до жилья километры и годы.
Сквозь оконный проем, будто в брешь,
не узришь ни любви, ни свободы.

Долог путь, только в здешних краях —
всё кресты, воронье да метели.
И у дальней родни при свечах
плохо спится на новой постели.

В этой белой слепой тишине
человек так ничтожен и жалок.
...Ты найдешь мою руку во сне
и сожмешь ее под одеялом.



МАРИНА КУЛАКОВА

Марина Кулакова окончила Российский государственный социальный университет, в 2009 году поступила в Литературный институт имени Горького. Работала копирайтером, внештатным корреспондентом районных газет. Печаталась в «Литературной газете», «Студенческом меридиане», History, «Справочнике классного руководителя» и др. Работает в Литературном институте имени Горького.

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЕ ВШИ

— Доброе утро, это Павел? — ответил я на неуверенное «алло».

— Да. А кто это?

— Паш, это же я, Иван. Иван Пленкин! Узнаешь?

— А, Ваня... Да, конечно.

— Как твои дела? Как насчет встречи? — бодрым голосом откликнулся я.

Мой знакомый отличается очень шатким здоровьем. Всякий раз, когда предлагаю ему встречу, он сказывается больным. А я — добрая душа. Даже волноваться за него начал.

— Старик, никак не могу, болею, — отозвался приятель и несколько раз кашлянул в трубку.

Я даже слегка отодвинул свою от уха. Неприятно все-таки.

— Ну и чем же ты болеешь на этот раз, простыл?

— Да... Кажется. Возможно, грипп. Точно что-то очень заразное. — Голос Павла внезапно стал каким-то сиплым.

Я встревожился.

— Павлик, давай я к тебе приеду, помогу?

— Нет, нет... Что ты! Все в порядке! Я справляюсь! Только не надо приезжать, а то еще заразишься от меня! — спешно затараторил он.

Болезнь, разумеется, не хотелось. Однако я человек благородный и решил, чего бы это ни стоило

ло, помочь другу. И вот так постоянно! Многие пользуются моей добротой и открытостью. Потому что я талантливый, щедрый и общительный. Конечно, помогать каждому не стоит, но Павел — случай особый.

Он же обещал одиннадцать месяцев и десять дней назад пристроить мою рукопись в издательство!

— Ты не беспокойся! Я не заражусь. Сегодня же к тебе приеду, поддержу, — сказал я, любуясь своей самоотверженностью.

— Нет, что ты! Зачем себя утруждать! Тем более, ты же знаешь, я живу за городом. Электричка, и пешком еще идти, — вскричал друг, у которого почему-то тут же прорезался голос.

— Ну и что! Для тебя мне ничего не жалко! Я звоню почти каждую неделю в течение года, и ты постоянно болеешь. Возможно, у тебя что-то серьезное! Я приеду, куплю лекарств...

— Нет, спасибо! У меня все есть! И к тому же мне уже явно лучше, — каким-то испуганным тоном отозвался Паша.

«Бедняга! Наверное, все у него очень плохо. Но он стесняется меня утруждать», — подумал я и еще больше уверился в решении его навестить.

— Нет, даже и не уговаривай! Все равно приеду. Адрес твой у меня остался в записной книжке, не потеряюсь. Сейчас посмотрю расписание электричек и приеду! — твердо отчеканил я.

— Не надо! Не...

Но я уже положил трубку. Что ни говори, но моя основная черта — самопожертвование. Павлу явно нужна помощь. Все-таки постоянно болеть — это не дело. И даже если его болезнь заразна, все равно приеду и поддержу его. Я чуть не заплакал от своего благородного решения и тут же полез искать записную книжку с адресом Павла.

С приятелем мы познакомились в буфете ЦДЛ. Я пришел туда (не в буфет, а в ЦДЛ) со своей рукописью в надежде вручить ее одному известному писателю. Но тот после моей просьбы сказал, что у него разболелся живот, и исчез. Я искал его повсюду. Первым делом караулил там, где он мог бы быть согласно своей жалобе. Однако его и след простыл. Отчаявшись, забрел в буфет. Там и встретил подвыпившего Павла. Он сказал, что он тоже хочет стать известным писателем, что у него есть связи и он может помочь пристроить мою рукопись, дал свой адрес и телефон. С тех пор мы с ним не виделись, но созванивались регулярно. Точнее, я ему звонил, напоминал про его обещание. Но он оказался очень болезненным человеком. И вот теперь настало время прийти ему на помощь. А заодно и принести свою рукопись!

Итак, я посмотрел расписание, захватил почти целый блистер аспирина, который, между прочим, очень подорожал в последнее время, и двинулся в путь. Пришлось также совершить вынужденную покупку в виде марлевой маски. А то мало ли!

Ехать надо было с Ярославского вокзала до остановки Софрино. Поскольку трястись в электричке предстояло не менее часа, захватил с собой в дорогу хорошую литературу — свою рукопись. А я читаю только самое лучшее!

В вагоне народу набилось битком. В ясное субботнее утро, конечно же, люди ехали на дачу. Хотя не понимаю, чего такого замечательного в этом времяпрепровождении? У меня пока нет дачи. Но, когда вступлю в Союз писателей, она сразу появится. Ведь известным литераторам полагается дача. И уж явно буду ездить туда не на общественном транспорте. И ни в коем случае не буду таскать с собой рассаду и прочую гадость. Буду отдыхать, а не вкалывать, как эти бедолаги! Сидеть в шезлонге, загорать и сочинять новое произведение... С этими мыслями я опустил на свободное место с краю. Компанию составляли тетка с огромными сумками, молодая пара и мерзкий потрепанный мужик, не иначе как бомж. Он сел почти одновременно со мной, и так получилось, что как раз напротив. Тетка, удачно примостившаяся у окна, брезгливо подвинула свои баулы.

Мне было все равно, в чьей компании сидеть. Достал свою рукопись и погрузился в мир настоящей литературы.

Одной из причин, почему я не люблю ездить в общественном транспорте, является шум. Вся электричка бубнит и не дает сосредоточиться. А уж эти торговцы...

Только я отвлекся от посторонней суеты и приблизился к самому удачному моменту в романе, как послышалось противное:

— Вашему вниманию предлагается...

Я поднял голову и прислушался. Не иначе как очередная атака спекулянтов и вымогателей. Купи то, купи это... И зачем мне, спрашивается, все это барахло?

И тут осенило — в гости же еду! Нужно привезти что-нибудь больному человеку. Не очень дорогое, конечно. Хотя и везу ему аспирин: почти целый блистер, без трех таблеток.

Торговец, немолодой человек с усами, предлагал столько всего, что я половину не запомнил. Подождал, когда он подойдет поближе, и вежливо сказал:

— Доброе утро. Не могли бы вы повторить, что у вас в ассортименте? Я запомнил только про растворитель бактерий для биотуалета.

Усатый с радостью опустил на пол здоровую сумку и заученно произнес:

— Здравствуйте. В продаже имеются лейкопластыри, пластины от комаров, средство от моли, резиновые перчатки, веера, фонарики, а также растворитель....

— Да, да... Последнее я помню, — перебил я и не на шутку задумался.

Что же из перечисленного могло подойти Павлу? Пока размышлял, нетерпеливый торговец переминался с ноги на ногу.

— Вы что-нибудь выбрали?

— Подождите минуту! Думаю! — с достоинством произнес я. — Вот скажите, сколько стоит фонарик?

— Фонарик стоит сто рублей, — оживился тот. — Посмотрите, в комплект входят батарейки. Светит ярко...

— Нет, не надо, — ответил я. Не то чтобы мне было жалко ста рублей... Просто ну зачем больному Павлу фонарик? Больные люди вообще не любят яркий свет. — Скажите, а сколько стоит лейкопластырь?

— Тридцать рублей упаковка, — с готовностью ответил собеседник и продемонстрировал мне товар.

— Не... Не то, — поморщился я.

Все-таки тридцать рублей — это очень мало для подарка другу. Тем более он же болеет простудой, а царапины тут ни при чем.

— Ну раз вам ничего не надо... — начал было торговец.

— Как это не надо?! Очень даже надо! Покажите мне веер!

Я, правда, сомневался, что приятелю может понадобиться подобная женская штука, но, с другой стороны, когда жара и когда никто не видит...

— Смотрите. — Усатый раскрыл цветастый веер.

— Сколько стоит?

— Сто пятьдесят.

Нет уж! Не то чтобы мне было жалко ста пятидесяти рублей для друга... Просто для такой вещи, тем более явно не мужской, было дороговато.

— Что за расцветка?! Бешеные деньги для такой безвкусицы! — твердо, чуть пренебрежительно сказал я. — Покажите, что у вас там еще есть.

— Средство от моли.

— Во-во! Покажите! — оживился я.

Может, у Паши как раз водится моль.

— Пятьдесят рублей одна пластинка.

— Так, пятьдесят рублей... Подождите, я сейчас позвоню, уточню.

Мне не то чтобы было жалко пятидесяти рублей, просто вдруг у Павла нет моли, и тогда эта по-

купка окажется пустой тратой денег. Пока набирал номер, соседи поглядывали на меня с явным неудовольствием. Даже бомж, и тот проснулся. Продавец не скрывал нетерпения. Все это раздражало, но я держал себя в руках. Номер товарища оказался недоступным. Я вздохнул. Что ж, ладно, не буду покупать средство от моли...

— Так, что у вас там еще есть, я забыл...

— Средство от комаров! — резко и быстро сказал усатый.

— Во! Хорошая вещь! Сколько стоит?

— Вряд ли вам подойдет, знаете ли! Двести рублей! — ехидно произнес он.

— Почему это вряд ли? Может, это именно то, что мне надо! — возмутился я.

— Ну тогда берите!

— Покажите мне. Это известная фирма?

— Это одна из самых известных фирм. Видите, это спрей. Удобно пользоваться, надолго хватает.

Я задумался. Вот если бы крем... Кремом я и сам пользовался. Намажешься на ночь, открываешь форточку и ни одного комара... Красота! А спрей никогда не покупал. А потом, кто знает, вдруг у товарища аллергия на эти штуки? Не то чтобы жалко двухсот рублей, но все-таки...

— А срок годности у него какой? — осведомился я.

В таких вещах это очень важно.

— На ваш век хватит! — грубо отрезал он.

— Кошельки, портмоне, визитницы, обложки на паспорт... Дайте же мне пройти! — послышался визгливый женский голос позади усатого.

— Не могу! Видите, у меня клиент тут выбирает! — обернулся тот. — Вот уже минут пятнадцать выбирает! Может, вам больше повезет! — И то верно! — обрадовался я подсказке. — Видимо, у вас нет того, что нужно мне.

— Да уж, очевидно, — быстро согласился мужик и, подхватив свою сумку, ринулся вперед.

Как же тяжело иметь дело с непрофессионалами! Даже пластырь продать не может.

— Вас что-нибудь заинтересовало? — тут же любезно обратилась ко мне торговка, заняв освободившееся место.

— Его интересует все, но он ничего не покупает! — внезапно подала голос женщина с тюками.

— А вас, женщина, никто не спрашивает! — парировал я эту наглость. — Вот покажите мне обложку для паспорта! — это сказал уже продавщице.

Та достала несколько вариантов. Прозрачную, коричневую, черную... Я задумался. Наверняка у Павла уже есть обложка. Может, и не одна. А может, он вообще не любит обложки. Тогда ему не понравится мой подарок. А вот если портмоне....

— Мне не нравится. Хочу посмотреть портмоне.
— Пожалуйста. Выбирайте. По пятьсот рублей. Берете два — по четыреста пятьдесят. Натуральная кожа!

У меня аж глаза на лоб вылезли. Ничего себе! У меня таких денег с собой даже не было. Не буду же я брать такие суммы, тем более за город! На вокзале полно цыган и мошенников. Да если бы и были деньги! Не то чтобы жалко... Хотя нет. Именно жалко. Уж не такой он мне и друг, чтобы так разориться. Однако не хотелось, чтобы меня посчитали жадным или нищим.

— Знаете ли, дешево как-то стоит, да и смотритесь не ахти, — с видом знатока произнес я, критически осматривая товар.

Молодая пара, сидящая рядом со мной, отчего-то принялась хохотать. Хотел сделать им замечание, но сдержался. Не было желания отвлекаться на подобные пустяки.

— Покажите мне тогда... Что у вас там еще было... А, визитницу!

Теперь это было вопросом принципа — все-таки что-то купить. Визитница — вещь неплохая. У меня тоже такая есть. Правда, пока она пустая, но, тем не менее, ношу ее с собой. Мой звездный час может наступить со дня на день, и надо быть к этому готовым.

Продавщица молча показала мне товар. Я задумался. Однако если Павел постоянно болеет, то никуда не ходит. А если никуда не ходит, то какого лешего ему нужна визитница? Она наверняка же недешевая.

— Так как? Вы решайте быстрее, а то сзади мороженое с водой на пятки наступает! — пожаловалась женщина, прервав мои раздумья.

— Знаете, так быстро не могу решить! Если вы торопитесь, то идите, не держу, — отреагировал я.

— Правильно! Спасайтесь! — опять протрндела женщина с тюками, а молодые соседи вновь звонко рассмеялись.

Один бомж сидел невозмутимо. И я даже чуть-чуть проникся к нему симпатией. Вот человек. Сидит себе, никого не трогает, думает о своем, и ладно.

«Мороженое и воду» решил не трогать, а вот «носовые платки» задержал. Подумал, что будет как раз в тему. Товарищ болеет, и носовой платок — именно то, что может пригодиться.

— Покажите мне все расцветки! — сказал я молодому парнишке-продавцу.

Соседи, вместо того чтобы заниматься своими делами, все это время ехидно пялились на меня. Я не реагировал. Нужно быть выше всякого плембса!

Парнишка вытащил несколько мужских платков. Я задумался. Сколько уже знаю Павла, ни разу не спрашивал, какой он предпочитает цвет. Лично я очень восприимчив к цвету. Мне не нравится серый и синий. Зато обожаю белый. У меня и носки, и платки исключительно белого цвета. А кто ж знает, что предпочитает Павел? Вдруг только усугублю его болезнь, если преподнесу платок не того цвета. Он же вынужден будет в него сморкаться, видеть его всякий раз...

— Ну? — поинтересовался парнишка.

— Что ну? Не видишь, думаю!

— Ну и думай. Я пошел дальше, — дерзко ответил он и засеменял к противоположному концу вагона.

Я аж задохнулся от такой наглости. Мне? Мне! Будущему известному писателю Ивану Пленкину дерзит какой-то недоучка!

— Правильно сделал, — довольно подлила масла в огонь тетка-соседка.

Я вспылал:

— Знаете что! Вы тут своими делами занимайтесь, а в мои не лезьте!

И много чего еще мог сказать, если бы не музыканты. Послышалась красивая классическая мелодия. Было невероятно приятно слушать ее. И все бы ничего, если бы они, музыканты эти, не стали совать под нос сидящим с краю какой-то пакетик. Я даже не понял сначала и хотел забрать его, думая, что это какой-то подарок. Но быстро сообразил: вовсе не отдадут, а хотят получить! Ну уж нет. Музыка я люблю, но не настолько.

— Газеты, кроссворды, журналы! — зазвенел голос нового продавца, стремительно приближающегося к моему месту.

Вот, точно! Можно купить другу журнал, чтобы ему не так скучно было валяться в постели.

— Э, любезный! Какие у вас журналы есть?

— У нас есть «Лиза», «Вог», «Женские секреты», «Даша» и другие. Что вас заинтересовало?

Я задумался. «Лиза», «Даша», «Женские секреты» — это явно бабское чтиво, а вот «Вог»... Признаюсь, не знал.

— Скажите, «Вог» — это журнал для мужчин? — поинтересовался я.

— Смотря для каких, — отозвался с иронией продавец.

Тут начался дикий хохот. Смеялась тетка, смеялись молодые люди, смеялся кто-то на другом сиденье... Не реагировал только бомж, который, казалось, спал.

Я вновь рассердился. Ничего смешного в вопросе не было. Видимо, в электричках ездят ис-

ключительно эмоционально неуравновешенные люди.

— Что значит «для каких»? Вам что, сложно сказать? — Я полностью переключился на продавца. — Русским языком спрашиваю! Сам подобной гадости не читаю! Я ведь писатель, знаете ли!

Торговец ничего не ответил. Он молча пошел дальше.

— Эй! Эй! Стой! Стой! Как ты смеешь игнорировать покупателя?

Пришлось вскочить и замахать руками. Впрочем, безрезультатно.

— Нет, ну не наглость ли, а? Что делается-то?

Я обвел взглядом весь вагон. Десятки глаз смотрели на меня. Некоторые были зажмурены, так как их обладатели тряслись от совершенно необоснованного хохота.

Внезапно сидевший напротив бомж открыл глаза и сказал нечто такое гадкое, что я вмиг потерял к нему всякую симпатию.

Я больше не мог находиться в этом хаосе. Уже и ехать к другу расхотелось. Подождет. Не умрет он, в конце концов. Уж год уже болеет, и ничего, держится. Будоражила мысль как можно скорей отомстить всем нахам сразу. Но не драться же сразу со всем вагоном! Однако номер поезда я записал еще перед тем, как в него сел. На всякий случай. Делаю так всегда, когда пользуюсь транспортом. Я с достоинством вышел на следующей станции и сразу принялся за поиски полицейского. Он нашелся далеко не сразу к тому же и слушать меня не захотел! Страж порядка, называется!

— Гражданин писатель, — сказал он, перебив где-то на середине. — Вы занимайтесь своими делами. Вижу, целый талмуд с собой возите. И возите дальше. А про подобную чепуху даже слышать не хочу! Да и читать тоже.

— Ах вот как! Я напишу жалобу! — Моему возмущению не было предела.

— Да хоть самому президенту... — равнодушно отозвался тот и повернулся спиной.

«А это идея!» — подумалось мне. Что ж, он сам наприсился...

Я пересел на другую электричку и вернулся домой. В запале подскочил к компьютеру, который, как назло, долго не хотел включаться, и принялся писать письмо президенту. «Как можно допустить, — писал я, — что общественным транспортом пользуются бомжи, лица, имеющие огромный и занимающий много места багаж, а также несанкционированные торговцы... Мало того, что у них купить нечего, они еще грубят и дерзят покупателям! Нормальному человеку обязательно расшатывают все нервы! А уж нам, писателям, людям с тонкой душевной организацией, и подавно! Из-за подобных возмутительных вещей я так и не приехал к своему тяжелобольному другу! Разберитесь, пожалуйста, с этим! Как всегда, Ваш Пленкин».

Потом перечитал еще раз и заменил «вшей» на «вещей». Письмо, оно, конечно, хорошо. Но для верности неплохо было бы ему позвонить, хотя бы подтвердить получение им жалобы. Не под скажете телефон президента?



Лекции, лекции



И снова лекции



АННА ЛАПИКОВА

*Анна Лапикова родилась в 1986 году в Северодвинске.
Работает в издательском доме Axel Springer Russia.
Живет в Москве.*

БЕЗ НАЗВАНИЯ

— Долго весны ждать.

— Прежде никто не жаловался. То есть жаловались, конечно. Но ждали терпеливо и дожидались всенепрерывно. Считали дни, потом теряли их счет, сутки за сутками проводили в предвкушении, а по утрам светлело все раньше, и все позже темнело по вечерам. Утешались этим маленечко. Радовались. Пели песни.

— Сейчас все по-другому.

— Да, — вздыхает. — Все по-другому. И не поют. Ждут ее и никак не дождутся.

— Последний раз весна приходила за год до моего рождения.

— Сколько тебе минуло?

— Двадцать.

— Двадцать лет, как стоит волчий холод, — вздыхает, — как на закате мы слышим один и тот же дикий, леденящий кровь хохот. Поговаривают, что это смеется сама весна, что она обезумела, потешается над нами болезными. Двадцать лет, как по вечерам на улицах вспыхивают костры, и люди выходят к ним из промерзших домов, чтобы чуток согреться, и засыпают там же, подле огня.

— Не понимаю, каким образом костры разгораются сами по себе.

— Это мудрено понять, — вздыхает. — Потому побаиваются их, конечно. Тягостно рядом обраться, неприятно, но еще меньше хочется, отойди на десяток шагов, покрыться за ночь ледяной

коркой. Сколько случаев было, не сосчитать. Да и нынче что ни день, находят сердечных.

— Дед, почему мертвых всегда двое?

— Лучше не знать, — вздыхает. — Лучше найти другой выход. Я не хочу умирать.

Еще один день миновал. Я рассматриваю лужу внизу, под ногами. Лужа затянута тончайшим стеклом наледи. В ней отражается небо. Я наступаю на стекло, оно лопается, как мои губы на морозе, и желтоватая водянистая сукровица вытекает из трещинок. Небо шелушится и сходит вниз серыми чешуйками снега. Воздух стынет на ресницах. Кто-то нелепый стоит на карнизе. Это дед. Он ищет другой выход. Он не станет прыгать. Повздыхает от безысходности и спустится, когда взвывают костры.

Я придвигаюсь к огню, тянусь озябшими синими пальцами к страстно волнующимся языкам красноватого пламени. Кто-то справа подвигается ко мне и спрашивает:

— Что если костры когда-нибудь потухнут?

Я не отвечаю, перехожу к соседнему костру. Чувствую, что он смотрит мне вслед. От его взгляда по спине пробегают мурашки. Необыкновенные, теплые мурашки. Я возвращаюсь.

— Ты скажи мне.

— Мы все умрем, — говорит мягко и боязливо оглядывается.

— Я не хочу умирать. Лучше найти другой выход.

Он несколько секунд переваривает мои слова. Слова кажутся ему вкусными. Он проглатывает слюну, кадык двигается.

— Ты нравишься мне, — решается.

Я убегаю, прячусь у дальних костров, укладываюсь, закрываю глаза и слушаю. Ворочаются, сопят, возятся, негромко разговаривают, похрапывают, причмокивают. Слышу, что пружинит, пульсирует в висках кровь, постукивает в груди. Открываю глаза и вижу, что волосы дыбом на руках, руки дрожат. Но мне тепло, откуда-то из живота катят и катят нагретые волны. Хочется петь песни, но я не знаю слов.

Минуло несколько дней. Я нахожу его под мостом через иссякшую реку, он сидит, прислонившись к заиндевевшей бетонной стене, слушает деда и кивает головой.

Дед твердит:

— Нужно найти другой выход.

— Скажи еще раз эти слова, — говорю. — Я хочу почувствовать тепло.

— Нет, — отказывает. — Нет у меня слов.

Он поднимается и уходит, я иду следом и выдавливаю из простуженного горла застрявшее там комом признание:

— Ты тоже... нравишься мне.

Дед качает головой, а он замирает, поворачивается вполборота, смотрит на меня исподлобья. Дед бубнит, что лучше найти другой выход, еще

раз, еще и еще раз. Он повинует его голосу и скрывается за углом.

Миновал еще месяц, а он метался, то исчезал, то появлялся и садился рядом у огня, то избегал меня, то искал нарочно. Возвратился сегодня утром и ходил за мною весь день. Холодает, и мы ждем, когда запыхают костры. Воздух стянут молчалием. Жеванные мысли, не выраженные словами, имеют вязущий вкус. Я не хочу их глотать, выплевываю, как прогорклый рыбий жир.

— Я хочу сделать это, — роняю в ноги ему, потому что он давно не смотрит в глаза.

Мы приходим в его дом. Лунный свет заглядывает в окно спальни комнаты. Стекла разбиты ветром. Слышно, как поскрипывают половицы. На облупившейся побелке потолка, на стенах и дверях мирно спят тени. Он берет меня за руки. Я чувствую покалывание в обычно деревянных пальцах, следом чувствую жаркий оттиск на своих ледяных губах. Я открываю глаза и вижу счастливую улыбку, закрываю глаза и обнимаю памятью то, что было до моего рождения, то время, когда весна приходила из года в год неминуемо и неизменно. Мне так тепло. Тепло окутывает нас. С каждой секундой становится жарче. Все тело горит. Что-то вспыхивает внутри. С улицы через разбитое окно в комнату проникает мрачный, грозный, зловещий хохот. Наши искры, наши жизни вырывает ветер и забрасывает их в костры.

У нас был только один выход.



ДМИТРИЙ ЛЕНСКИЙ

Дмитрий Ленский учится на шестом курсе Литературного института имени Горького.

Родился и вырос на Украине, в Донецке, сейчас живет в Москве.

Работает радиоведущим на «Нашем радио».

* * *

Пони бегают по кругу.

Ю. Мориц

Всю жизнь идет охота на любовь,
сезон открыт, сердца — незащищенны,
и каждый третий — лишний, но влюбленный,
традиционно сброшен со счетов.

Амур стреляет метко и легко,
а выстрел мимо — это тоже выстрел,
стрела летит пронзительно и быстро
и попадает прямо в молоко.

И что с того, что счастье не с тобой
ручной зверушкой ест морковь с ладони,
сезон открыт, а мы — немного пони,
не все, конечно, но немного пони,
а жизнь — как цирк с ареной круговой.

И ты стоишь, мотая головой,
и ждешь любовь, как нищий подаянья,
Амур смеется зло и плотоядно,
И вновь считает: «Первый и второй...»

* * *

Пришла пора смотреть на вещи прямо
(не ждать звонков, не править СМС),
любовь была огромной Фудзиямой,
с ее уходом начался абсцесс,
как пес иду (опять меня забыли:
сезон окончен, дачники ушли),
смотря, как грязь рождается из пыли,
как к югу снова мчатся журавли,
как треплет ветер на седом заборе
седое расписание поездов,
еще бы сторож там на семафоре
меня к себе пустил до холодов.
Пришла пора смотреть себе под ноги:
как пол красив, янтарен и дошат,
вести с собой ночами диалоги
и больше не любить и не прощать.

* * *

Жить параллельной жизнью в одном доме,
верить в тебя, как верят в людей собаки,
знать, что когда ты ночью идешь во тьму,
это за тем, чтоб вынуть меня из драки.

Если б не ты, я спился б давным-давно,
 если бы выжил — спал под забором в сквере,
 часто бывает, один твой простой звонок
 мне возвращает силы, как грешным вера.
 Был бы счастливым тот, кто тебя нашел,
 знаешь, прости, что я отыскал быстрее,
 вот, я могу писать, у меня есть стол,
 и, к сожалению, большего не умею,
 но так любить, как я, может только враг,
 враг, от своей судьбы ворогом спасенный,
 перед тобой, как после рожденья, — наг
 только к тебе и буду я пригвожденным.



МАРИЯ НАПРИЕНКО

Мария Наприенко родилась в 1985 году в Новосибирске. Поэт, артистка. Выпускница Литературного института имени Горького (семинар поэзии С. Ю. Куняева).

* * *

Распятых сосен за окном
 бег, ретроградное скольжение.
 Прочь от Москвы, гребя дождем,
 плыть, уличая в преступленье,
 молчать, терпеть, переступать
 через себя и улыбаться.
 Березам душу оголять
 стволами, с липами мешаться.
 На час от света удален
 осенний день. Забитым в холод,
 деревьям слушать в унисон
 все уменьшающийся город.
 Он так открыться норовит,
 но помнит, подливая музе:
 октябрь — не время для любви,
 и жизнь — не место для иллюзий.

* * *

Эта улица — в сердце ее католический храм —
так и просится вырваться в прошлое, чтобы не помнить
в ней меня, чтобы новые лица придать именам
и не слышать шагов, доносящихся плачем из комнат.

Эта улица к нотам привыкла, как к фазам луны,
и вернет сюда каждого, здесь говорившего с Богом.
Эта музыка выше предательства, слаще, чем сны.
Всепрощения свет благодать разольет по дорогам.

Эта улица ждет тебя несколько весен спустя,
сколько б поисков жадно душа твоя ни проходила.
Эта улица знает, что ты перед Богом дитя,
что просить может лишь об одном Его: «Боже, помилуй!»

ПЕСНЯ УКРАИНЕ

В слезах Украина, и плачет Россия.
Приходят к тебе на коленях просить.
Спаси, Богородица, Дева Мария!
Спаси нашу веру и души спаси!

Пророчат отцы, мироточат иконы,
Взывают народы и земли Руси.
Не дай нам забыть, ни откуда, ни кто мы!
За нас умоли и от смерти спаси!

Дай выстоять сил! Отведи от разлуки!
Дай Духу Святому изгнать этот страх!
Ведь самое время нам взяться за руки
И скорби и боль успокоить в сердцах.

В посте и молитве друзья и родные.
Бог слышит и может грехи отпустить.
Владычица наша, Святая Мария,
Не дай небесам ни сгореть, ни остыть!



ВАЛЕРИЯ ОБОДЗИНСКАЯ

Валерия Ободзинская родилась в 1978 году. После школы пробовала себя в актерском мастерстве. Отучилась год во МХАТе и поняла, что это не то, чем хотелось бы заниматься. Окончила звукорежиссерское отделение ТХТК с красным дипломом. Сразу после учебы устроилась на фирму «Мелодия», всесоюзную студию грамзаписи, где работает по настоящее время ведущим звукорежиссером.

Писать начала с третьего класса. На протяжении двадцати лет писала роман. Считала это своим хобби, потому никогда не планировала издаваться. В 2009 году поступила в Литературный институт им Горького на прозу. Первый рассказ «Не тигр» был опубликован в журнале «Современник».

Задумчивый Закат

Задумчивый закат укрыв планету
Рубиновую тканью перламутра.
Он, тяжело дыша, спускался в реку,
Хотел дожидаться солнечного утра.

Взглянуть хоть раз воочию на зори,
Умыть росой свои полузакрыты веки,
Взамен того прижался грудью к морю,
Словно на дно влекли тяжелые доспехи.

Ах, если бы хоть раз услышать трели,
Что жаворонок запекает утром!
Меня бы теплые тона его согрели,
Я б ласково глядел на незабудки...

Запрыгнув весело на детские качели,
Исполнил свой пассаж на контрабасе,
Качался бы беспечно в карусели,
Воображая, что на золотом Пегасе.

Но рокот грома оглушил окрестность,
Настал черед сомкнуть усталы очи,
Грядущее лишь прочит неизвестность
И требует: дорогу юной ночи!

Все говорят, она прекрасна, как Диана,
Торжественно легка ее мистичность.
Из окон слышится игра на фортепиано,
Морфей распространяет поэтичность.

И черны кони скачут с грацией по звездам,
Под их копытами мерцают огонечки,
Богиня тьмы, благоухая райским медом,
Колышет изумрудные листочки.

Во сне

Листья осени давно уже остыли.
Окровавленный закат исчез во мгле.
А вчера во сне меня любила ты ли?
Ты ли танцевала при луне?

В дрему прокралась походкой легкой,
Нежной поступью кружила на ветвях.
Где теперь ты? За какой березкой
Мне увидеть крыльев этих взмах?

Я глядел, замороженный пленник,
На изящный танец озорной
И молил, чтоб краткий сон-изменник
Не будил меня нечаянной стрелой!..



Лит



Теория стихосложения



ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ

Дарья Пиотровская родилась в 1989 году в Москве, последние три года живет в г. Щелково. Студентка Литературного института имени Горького (семинар И. Л. Волгина). Стихи публиковались в журнале «Паровозъ», «Меценат и мир», «Лампа и Дымоход», студенческом сборнике МПГУ, сборнике стихов, посвященных А. Башлачеву («Ставшему ветром»), и др. В 2013 году стала дипломантом международного литературного Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник». В 2014-м стихи вошли в шорт-лист премии «Северная земля», в этом же году вышла первая книга стихов — «Падающий лифт». В 2015-м — участник лонг-листа Всероссийской премии имени Леонида Филатова.

* * *

Батареи не греют. Не топят в оставленном гетто.
И из крана вода, как заржавленный уксус, течет.
Мы погибли давно. Аналитики знают про это,
Но в условиях гетто не ставят людей на учет.

Батареи не греют. Правителей вздернуть на рею!
Сжечь бумаги вранья и наладить подачу тепла.
Батареи не греют. Я тоже тебя не согрею.
В этом черном огне я смеюсь и сгораю дотла...

Батареи не греют. Чернеют дома-ледуницы.
Раскрывайся, земля, до последнего медного дна!
Где ядро, там огонь... в белом бешенстве мечутся птицы,
И ныряют в вулкан, и со мной остается одна.

Батареи, огонь! Этот город лиховый спалю я!
Не достанься французу, пустая, седая Москва!
Нам приснится с тобой раскаленная крыша июля,
Птичий гомон и свист, и шумящая в свете листва.

* * *

- Здравствуй.
- Здравствуй...
- Ты все еще та?
- Я другая стала.
- Я по небу ходил, я по свету летал...
- Я тебя искала...
- Я себя не нашел на чужой войне...
- Мне и это снилось...
- Неужели плакала ты по мне?
- О тебе молилась...

* * *

Склониться к воде бы израненной ветвью,
Напиться любви и чудовищной власти
И в недра стиха, перемененно со смертью,
Согнувшись, ползти под решетками свастик.

Украдкой взглянуть в неподвижное эхо,
Услышать, прочувствовать чудную бездну —
Чтоб только не петь, задыхаясь от смеха,
Разбитую душу вбивая в порезы.

Чтоб не было холодно мертвой дороге,
Отдать бы ей волю свою неземную...
Но если я все еще помню о боге,
Пусть Чаша Сия и меня не минует.

* * *

От всего, до чего дотянуться нельзя,
Что, кружась, от меня забирает Земля,
От мерцающей пыли в скафандре луча —
Восстановят какую-то малую часть.
Только эта крупичка — не ген ДНК,
Не поможет снежинка поймать облака,
И давайте не будем в такое играть...
Память, жги нас, как солнце, не смей умирать!
Я не знаю, как буду, слепой и седой,
К обмелевшему морю ходить за водой.
Приближения старости я не стерплю.
Я хочу, чтоб песок набивался в туфлю,
По июльскому берегу долго бежать...
Я вагоны бессмертья хочу разгружать!
Может, прыгнуть в пучину гигантской волны,
Может быть, стать причиной Троянской войны?

Может, смерти в лицо мне такое сказать,
 Чтоб Земля повернула вращение вспять?
 Распускается узел. Сильнее вяжи...
 Почему ты мне, память, не принадлежишь...



НАТАЛЬЯ ПЛАТОНОВА

Наталья Платонова родилась в 1974 году в Москве. Окончила Московский автомобильно-дорожный институт, факультет журналистики в Институте бизнеса и политики. Публиковалась в журналах «Москва», «Литературная газета», «Химия и жизнь».

ПЕТРОВИЧ

Восторженные птички трели разбудили Валентина Петровича в начале шестого. Остервенелые пернатые жизнерадостно галдели в кустах, скакали по крыше и раскачивались на проводах.

Он с силой захлопнул форточку и вернулся в теплую приятную постель. Укутавшись в одеяло и чуть согреваясь, Валентин Петрович понял, что волнующее весеннее утро уже ворвалось не только в его комнату, но и в его мысли. Какой уж теперь сон.

Обычно Маша вставала первой. Грела чайник, варила кашу и ругалась, что он до сих пор лодырничает. Он же поднимался к накрытому столу, с улыбкой выслушивал упреки жены и, довольный размеренным укладом, начинал очередной незатейливый дачный день. Так было заведено.

Но сегодня поднимать его было некому. Маша уехала в город почти на два дня. И это было необычно. Валентин Петрович уже позабыл, когда в последний раз оказывался предоставлен самому себе на столь солидный срок.

Сразу после ее отъезда он был полон детской решимости сделать что-то смелое, запретное, свободное.

Сначала торжественно возлег на непокрытом диване, закинув обутые в садовые калоши ноги на подлокотник, и терпеливо пялился в телевизор. Затем достал из сарая тяжелую деревянную лестницу, кое-как дотащил до дома и, затащив ее на второй этаж, собрался было вскарабкаться на чердак, чтобы разобрать свои старые вещи. Однако понял, что ужасно устал и забраться на чердак уже вряд ли сможет. Тогда он поужинал холодными котлетами прямо со сковородки и запил ледяным кефиром из холодильника. Вот только исполнить самую злостную задумку ему не удалось. Сосед Никифор к тому времени оказался уже невыносимо пьян, а пить водку в одиночестве Валентин Петрович не умел. Ничего другого столь же рискованного в голову не приходило, поэтому пришлось просто лечь спать.

И вот, пробудившись ни свет ни заря, он, прислушиваясь к ликованию оживающей природы,

почувствовал себя никчемным мыслящим бамбуком. Пустым и твердым. Будто нет у него теперь ни желаний, ни интересов, ничего, что принадлежало бы только ему одному. Точно за все эти годы он стал неотъемлемой частью Маши, ее правил и ее тщательно оберегаемого покоя. Словно больше уже ничего не будет и все, что могло в его жизни случиться, уже произошло. А ему всего лишь шестьдесят три! Как и не жил вовсе.

Валентин Петрович поднялся с постели, дошел босиком до кухни, включил электрический чайник и вернулся в комнату, чтобы одеться. Однако внезапно насторожился. Обернулся. Показалось, будто звал кто-то. Но нет. Напротив. Стало слишком тихо.

Неугомонные птицы отчего-то смолкли, а нежный перламутр утра угас. Выглянул в окно и обнаружил, что небо затянулось серой дымкой, и сад окутала плотная пелена тумана. Лишь только

где-то между ветвями вишни и ирги блестело и переливалось нечто очень светлое, серебристое, необычайно странное. Чуть больше крупного арбуза, оно казалось плотным и мягким одновременно, чудесным и пугающим.

В другой раз Валентин Петрович испытал бы естественный приступ паники, вернулся бы в кровать, зажмурился и ждал, когда аномальное явление уйдет туда, откуда пришло. Но сейчас все обстояло иначе. К вечеру должна вернуться Маша, а он так и не сделал ничего по-настоящему безрассудного.

Торопливо, точно страхась упустить свою последнюю возможность, Валентин Петрович отпер дверь и решительно в одних трусах вышел в сад. Шагнул навстречу опасному и неизведанному, и сердце его зашлось ликованием. Впервые со времен самого глубокого детства он ни на что не надеялся и ничего не боялся. Он был свободен.



НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВ

Николай Прокофьев родился в 1967 году в г. Владимире. С 2002 года живет и работает в Москве. Выпускник Литературного института имени Горького. Автор двух поэтических сборников, рассказов, пьес и киносценариев.

* * *

То ли горькая обида,
то ли злая ворожба —
обеспеченная с виду
жизнь столичного раба.

Не свистит тугая плетка,
нет гремящих кандалов,
но душа, как та сиротка,
воет, рвется из оков,

хочет вырваться из плена,
возвратиться на простор —
ведь не кукла ж из полена,
не изношенный убор!

Просит брошенное чадо
каплю малую любви,
но сегодня в моде Prada,
это значит — не реви.

Слышишь: мечется в округе
в ожиданье главных слов
то ли стон холодной вьюги,
то ли звон колоколов.

Фонарный столб и береза

(Басня)

Случилось раз в одном дворе московском,
по улице с названием неброским
заспорил Столб о важности своей
с Березой стародавешних кровей:

— Послушай-ка, любезная соседка,
опять твоя раскидистая ветка
мой закрывает благородный вид
и на меня прохожий не глядит.

— На что ж глядеть, — ответила Береза, —
ты гол и скользок, будто бы с мороза,
ни кроны, ни укромного дупла,
одна примета — шапка из стекла.

— Что понимаешь ты! По современной моде
я генерала некоего вроде:
и статен, и гламурен, и высок!
а от тебя что проку — только сок...
Ну да, конечно, ты — поклон природе,
тебя веками чествуют в народе,
хотя, по-моему, черед пустых похвал —
лишь дань былому, жалкий ритуал.
Я свет даю, к тому же я моложе,
а ты, прости, на пугало похожа:
кривые ветки и в морщинах ствол.
Проси у дворника, чтоб он с пилой пришел...
Я в одиночку в поднебесье ринусь...

Тот день столкнул циклоны — плюс и минус, —
и ураган без всякой похвальбы
свалил в округе новые столбы.

Не важно, как стоишь и сколько знаешь,
беда, коль без корней произрастаешь.



ПАВЕЛ ПУШКАРЁВ

Павел Пушкарёв родился в 1981 году в Петропавловске-Камчатском. Пишет стихи, пробует писать рассказы и эссе. Публиковался в интернет-журнале «Пролог», «Журнале ПОэтов», камчатских литературных сборниках. Учится в Литературном институте имени Горького (семинар поэзии И. Л. Волгина).

* * *

Воздух пасмурный влажен и гулок...

О. Мандельштам

Воздух утренний влажен и гулок,
Потому что вчера был туман.
Я в безлюдный зайду переулоч,
Что на четверть ушел в океан.
Это город под воду уходит,
И его нам, увы, не спасти.
Человек в переулоч заходит,
Говорит переулочу: «Прости».
Нету дома у Саши и Тани.
Плавал он далеко в океане,
Как гарпуном подстреленный кит —
У которого рана болит.

Воздух уличный гулок и влажен.
Я свой взор устремляю туда,
Где на отмель корабль посажен,
А команду постигла беда.

Нету папы у Саши и Тани,
Он пропал далеко в океане.
Таня плакала, Саша кричал.
Только я все молчал и молчал...

После зимы

Вот висят облака над моей головой.
Я стою и смотрю на весеннюю лужу —
вспоминаю, как мерз этой долгой зимой
в непрерывную стужу,

как носил шерстяные носки, грипповал,
как с друзьями вином согревался в подъезде,
как нагрянул патруль и как мент заорал:
«Остаться на месте!»

В этой жизни лихой, от пустой болтовни —
оттого что февраль, что зима не кончалась —
наблюдать, как за днями проносятся дни,
как немного осталось...

Только время теперь не веротишь назад.
Я стоял и смотрел, делал вывод, итожил —
что зимы больше нет. Но я все-таки рад,
что еще одну прожил.

* * *

Я восемь месяцев был болен
и на завод пришел больной.
А мне сказали: «Ты уволен»
и лист вручили обходной.
Я был ужасно недоволен —
своей поломанной судьбой.

А президент не знал об этом,
он крепко спал, не видя снов.
И тусклым, сумеречным светом
был освещен его покров.
Он был укрыт махровым пледом,
был сыт, опрятен и здоров.



Пушкарёв сдает экзамен Джимбинову



ЮЛИЯ САРЫЧЕВА

Юлия Сарычева родилась в Москве в 1982 году. Училась в колледже (реклама), МГУКИ (режиссура кино и ТВ). В Литературном институте училась на детской литературе, сейчас на драме. Работает оператором на телевидении.

СКАЗОЧНЫЙ ДЕНЬ

РАССКАЗ

Сказочный день: сегодня, первый раз в эту осень, пошел снег, такой мелкий... Он летит по ветру, сворачивая то туда, то сюда, будто щедрый сеятель рассыпает его в разные стороны. То он падает ровно вниз, то вдруг, подхваченный потоком, уносится стремглав в другую совершенно сторону — не туда, куда сам ожидал. А происходит это так внезапно, что, кажется, сами снежинки не успевают опомниться и понять, куда же они летят. Именно так, наверное, одна снежинка угодила прямо в рот, на открытый язык незадачливому мальчишке — ловцу снежинок, который, вполне довольный, съел ее и, накинув ранец на плечи, побежал дальше — к школе...

В школу он идти, конечно, не хотел, хотя сегодня там и были его любимые предметы: алгебра и география, но все равно — настроение было какое-то особое и в школу совсем не хотелось. «А что там делать? — рассуждал про себя Коля, с удовольствием приминая маленькие снежинки на еще зеленой траве, которые сразу же таяли. — Сидеть и смотреть в окно только, а за окном... такая чудесная погода — погодища просто...» И ему казалось, что такой мелкий снег и такая корочка льда-инея на темно-зеленой траве бывает вовсе не каждый год в эту пору, а, скажем, раз в сто или двести лет... Но делать было нечего и приходилось все же идти в школу.

В школе, разумеется, было интересно в своем роде, но... не то. Хотелось просто походить, попинать снежные корочки и подавить их, потом подойти к узкому заливу реки, вокруг которого рос березовый лесочек... От этой своей изолированности он казался вовсе не заливом реки, а лесным озером. Так мальчик шел в школу, а ноги сами привели его... к реке.

«Красотища-то какая!» — подумал Колька и от неожиданности впечатления почесал в затылке — шапка слетела с его головы и бухнулась прямехонько на край берега, где уже начинался тоненький бугроватый ледок мутного молочного оттенка. Колька поднял шапку, которая была скорее кепкой, хоть и теплой — из грубой шерстяной ткани с бобровой оторочкой, — отряхнул ее и отправил обратно на голову, потому что морозом прохватило сразу. Он пошел дальше вдоль обрывистого, но невысокого берега, имеющего пятнистый коричнево-белый окрас, все равно как корова. Шел он, стараясь идти по самому краешку промерзшей земли, и хоть берег вовсе не был покрыт коровьими шкурами, а состоял из коричневой земли и белого снега, закрывающего ее лишь местами, там, где была ледяная корочка, и у снега не получалось растаять сразу, Кольке казалось, что это именно шкуры. Он не мог отделаться от странного ощущения, что земля вовсе не замерзла,

а наоборот — сказочно мягка, как бока его любимой коровы Нюрки, и от этого было очень страшно ступать.

Так шел бы он и шел, с шорами своих ощущений «мягкой земли» на глазах, но тут на него с громким лаем выскочила пятнистая — точно та самая корова-земля, — бурая с ярко-белым охотничья собака среднего роста с висячими ушами и короткой гладкой шестью, такой гладкой — шерстинка к шерстинке!

— А, вот ты где, проказник — сейчас я тебе уши надеру! — веселым басом произнес дядя Коля, появившийся вслед за ней.

Это был мамин брат — тот самый дядя Коля, в честь которого и назвали Кольку.

— Ты опять не в школе... Ай, ай, ай!.. Ладно, — произнес он, взглянув мельком на часы. — Теперь

уж все равно не успеть — пойдешь со мной на охоту! — Ура!!! — радостно завопил Колька. — Спасибо, дядя Коля!

И звонкий его мальчишеский голос разошелся далеко по лесу.

Пятнистая собака Бимка бежала далеко впереди, радостно помахивая хвостом, который у нее всегда торчал, — она предвкушала охоту. Колька тоже предвкушал: ему опять казалось, что земля — это огромная корова, и его мысль даже приходила в затруднение — как же получается: они с дядей идут охотиться на куропаток по корове?! Дядя Коля, конечно, не думал такой ерунды, он иногда строго поглядывал на Кольку, а сам думал: вот повезло мне — хоть не один пойду в лес, все веселее!



Лит, Лит, Лит



Жизнь в общежитии Литы



В поисках своего творчества



ТАТЬЯНА СКРУНДЗЬ

Татьяна Скрудзь родилась в 1982 году в Липецке. Оканчивает Литературный институт имени Горького, публиковалась в «Юности», в журналах «Урал», «Сибирские огни», «Журнал ПОэтов», «Новая реальность», «Кольцо А» и др.

Любовь женщины с глазами собаки (сны по Фрейд)

Женщина с глазами собаки
Рожает ребенка-девочку
Раньше времени, слишком хрупкую.
Вся — ахиллесова пяточка.
Горе, горе!
Верные братья забирают у женщины девочку,
Кладут в люлечку, спящую,
Холодные трубки к ней подключают,
Хотят вырастить ее большой и могучей
Венерой в мехах.
Чтобы ногу свою нежную
На хребет мира поставила.

Свидание заканчивается.
Смирно, как в миг воскрешения,
Женщина ладонями всю ее укрывает:
Так мала она, любовь недоношенная, спит,
Прижимаясь к сердцу матери,
Одним существом с нею, теплая, дышит ровно.
Но уносят девочку, вырывают из рук, прячут в люлечку.
Истончается перинатальная память,
Братья отныне кормят любовь женщины
С глазами собаки.
Горе, горе!
Изливается из груди остывающей кровь и вода.

* * *

Когда-нибудь меня положат в гроб,
Украсят речи небылью и былью.
Но речи смолкнут, прах развеет Бог.
И сделается прах обычной пылью.

Пройдут дожди, осыпятся снега
 С размашистых кладбищенских растений.
 Меня забудут. Вспомнят лишь тогда,
 Когда отступят тени сожалений.
 И так светло, как будто я — дитя,
 Однажды упорхнувшее на волю
 Из вечного трагизма бытия,
 Где смерть переплелась с любовью.

ЭМИГРАЦИЯ

А. С.

...how long I've lived, how little I lived...

Российское небо меняет оттенок
 в тысячу первый раз.
 Свежие новости за бесценок
 лежат на прилавках касс.
 Желтые, глянцевого, интеллигентные,
 целые этажи:
 рассказывают обыкновенные
 человеческие миражи.

Он собирался покинуть город,
 в котором прожил сто лет,
 в котором не слышен ни шепот, ни ропот
 и невозможен ответ.
 Но если вопрос больше шара земного,
 куда продолжать свой путь?
 Года тринадцатого, рокового
 ему не догнать, не вернуть.

— Скажите, билеты на въезд или выезд?

— Не задерживайте поток, —
 и билетерша в окошечке выдаст
 кем-то назначенный срок.
 Прощай, горе-матушка, стылые хляби
 суровой, как был, земли.
 За горизонт улетают печальные
 авиакорабли.

Что-то мелькнуло хлебом насущным
 в толпе незнакомых лиц...
 Пророчества классиков вездесущи,
 вываливаются из страниц.
 Это обрывки воспоминаний,
 занесенные пылью тома.
 Оборачиваются журавлями
 Вспорхнувшие с рук слова.



АЛЕКСАНДРА СТРИЖЕВСКАЯ

Александра Стрижевская родилась в 1989 году в Москве в семье писателя А. Н. Стрижева. Студентка шестого курса Литературного института имени Горького (семинар драматургии В. Ю. Малягина), по первому образованию — педагог начальных классов. Мать двоих детей.

С тринадцати лет публиковалась в газетах, журналах и других изданиях. Пьеса для кукольного театра «Сказка о белом мышонке» была поставлена на сцене Театра на Воробьевых горах в 2004 году. За эту же пьесу в 2005 году получила президентский грант в рамках проекта «Интеллектуальный и творческий потенциал России».

В 2014 году написала сценарий для короткометражного фильма «Сон грядущий» (режиссер А. Варлей). Фильм получил специальный приз «За образ войны глазами женщины» на международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж». Сейчас участвует во всероссийских показах, посвященных 70-летию Победы.

НЕВЕСТА ДЛЯ ВЕЛИКАНА

Рисунок Оксаны Цукановой

Далеко-далеко в горах, там, где свистит холодный снежный ветер, где даже горные козлы не рискуют взбираться по тропам, жил огромный безобразный великан. Пещера его была такая холодная и мрачная, что от одного взгляда на нее любому сделалось бы тоскливо. Вот и великан, сидя в ней, тосковал.

«Вот бы мне, — мечтал он, — найти себе жену. Не такую, как я! А хорошенькую, маленькую, веселую. Какой прекрасной сделалась бы моя жизнь!»

Как-то раз, привалившись к скале у входа в пещеру, он заснул. Видимо, проспал он долго, неделю, а может, и месяц, потому как, открыв глаза, почувствовал, что на его голове орлы уже свили гнездо.

Орлица как раз заканчивала последние приготовления, когда прилетел орел. Недолго думая, он уселся прямо на нос великана и радостно закричал: «Птичка моя, я только что был в деревне! В той, что на юге, возле старой мельницы. В доме на краю, том, что с красной крышей, живет женщина. У нее есть дочка. И хоть она уже взрослая девушка, ростом она не больше, чем будут наши птенчики, когда только вылупятся из яиц! Тебе непременно

нужно послушать, как она поет! Поверь, птичка моя, такого дивного голоса я сроду не слыживал! Думаю, тебе это будет весьма полезно, ведь со дня на день тебе нужно отложить яйца. Кроме того, сама она тоже удивительно хороша!»

Орлица отчего-то не на шутку рассердилась. Даже перья у нее распушились от негодования: «Старый дуралей! Петух деревенский! Вот чем ты, оказывается, был занят! А чем мой голос хуже? Нет, вы подумайте! И это в те дни, когда я в любой момент жду появления наших крошек!»

Великан не стал слушать ее крики дальше. Он вскочил на свои гигантские ноги и пошагал в деревню. Что при этом стало с орлиным гнездом и где орлице пришлось откладывать яйца, мало его заботило.



«Вот какая жена мне нужна!» — обрадованно решил он. И, занятый такими мыслями, очень скоро великан пришел в деревню.

Разыскав дом с красной крышей, он опустился возле него на колени и пригнулся к самой земле. Так он смог одним глазом заглянуть в окно.

Увидев огромное, заслонившее свет лицо, сидевшая в кресле женщина вскрикнула и выронила вязание, а ее крохотная дочка, прибиравшаяся на столе, спряталась за сахарницей. Великан тихо-тихо прошептал: «Я пришел, чтобы жениться на твоей дочке».

Но от его шепота стекла в окнах дома задребезжали. Женщина, оправившись от испуга, высунулась из окна и закричала так громко, как только могла: «Что ты! Она ведь совсем маленькая! Ты раздавишь ее одним пальцем!»

Великан плохо расслышал крик женщины и удивленно прошептал в ответ: «Раздам ее непальцам? Нет! Я буду кормить ее виноградом, а она станет петь мне песенки. Вот так: ла-ла-ла! Тра-ла-ла!»

И великан тихонечко запел, так что известка посыпалась с потолка в комнате женщины. Она поспешила крикнуть, чтобы только великан не принялся плясать: «Я не отдам тебе дочку!»

«Давай!» — обрадовался наш тугоухий великан.

«Нет!» — решительно крикнула женщина.

«Нет? Тогда я раздавлю твой дом ногами!» — подумав, сказал он.

Услышав это, женщина решила на хитрость. Она крикнула что было сил: «Моя дочка сейчас

собирает цветы на лугу за рекой. Иди туда и забери ее себе! Но уж если не найдешь — не приходи сюда. Значит, ты не годишься!»

«Чем гордишься?»

«На лугу она!»

Догадавшись, что хочет сказать ему женщина, великан на цыпочках, чтобы не раздавить деревенские дома, отправился на луг. Будь он нормального роста, его удивило бы, что такая крохотная девушка собирает цветы в двадцати милях от дома. Но он преодолел это расстояние за пару минут и потому ничего необычного не заметил. Оказавшись на лугу, великан принялся искать девушку в траве, осторожно разгребая ее руками. Потом он позвал свою невесту таким тихим и нежным голосом, что пасшийся на соседнем поле табун лошадей с диким ржанием в испуге унесся прочь.

Но как ни старался великан, найти красавицу малышку он не мог. Еще бы! Ведь она в это время была дома со своей мамой. Шила себе платьица, собирала цветы и ягоды, пела песенки своим хрустальным голоском.

Три дня провел великан на лугу в поисках девочки. Он заглядывал под каждую травинку, под каждый цветок, но безуспешно. «Видимо, она такая маленькая, что я даже не могу разглядеть ее. Но зачем же мне, в самом деле, нужна такая жена, которую я не смогу ни увидеть, ни услышать? Нет, пожалуй, это слишком большая морока! Чего доброго, раздавлю ее и не замечу».

Расстроенный, вернулся великан в свою мрачную горную пещеру. И так затосковал, что принялся рыдать. Его слезы превратились в ручейки, которые, стекая с горы, образовали у ее подножья соленое озеро. Люди принимали его всхлипывания за дальние раскаты грома.

Привлеченная этим шумом, с соседних гор пришла великаниха. Она была такая же огромная и безобразная. Она протянула великану чистый носовой платок, из которого, пожалуй, можно было бы пошить дюжину рубашек и дюжину платьев для ребяткишек, и великан внезапно утешился.

«Эта пещера никуда не годится, — сказала она. — Теперь понятно, отчего ты плачешь. Не беспокойся, я наведу тут порядок». И сказала она это так громко, что великан наконец-то все хорошо расслышал. Не прошло и недели, как он женился на этой хозяйственной женщине и, по слухам, стал очень счастлив.

А что же девочка? Она и теперь живет со своей мамой в домике с красной черепичной крышей. Прислушайтесь, и, быть может, вы услышите, как она поет своим чудесным голоском.



АЛЕНА СВЕТОНОСОВА

Алена Светоносова живет в Москве, учится на заочном отделении Литературного института имени Горького. Работает в компании, сфера деятельности которой связана с организацией праздников для детей и взрослых. Пишет стихи для детей и волшебные сказки в прозе.



Злая собака!

У доброй собачки огромное горе.
Она прочитала сейчас на заборе
Табличку: Внимание! Злая собака!..

— Пропущено ровно три буквенных знака!..
Пошла, дописала. Решилась задачка.
Ах, как гениальна НЕзлая собаЧка!

Молоко

Вот... Простуда...
Но откуда?
Как попал в ее капкан?!
И таблетки я не буду!
Молока несут стакан...
Что за гадость это ваше,
Это ваше молоко!
Лучше мне сварите кашу!
Кашу! Кашу есть легко!
Эх...
Вот если б шоколадом
Полечили так, слегка.
Я бы выпил три стакана,
Три стакана молока!



Рисунки автора

СМЕТАНАТАМ

Ходит-бродит по пятам
 Кошка? Нет! Сметанатам!
 И облизывает лапы?
 Тоже нет, Сметанотапы!
 Я все вывернул карманы,
 Видишь?! Нету в них сметаны!
 Что ты ходишь по пятам?
 Говорю — Сметана там!



ШАРФ ДЛЯ ЖИРАФА

Жираф немножечко простыл
 И перерыл весь шкаф,
 Хотел одеться потеплей,
 Нашел свой детский шарф.
 Жираф совсем не ожидал,
 Что шарфик слишком мал.
 — Таких шарфов мне нужно сто... —
 С досадой он сказал.
 И вот ему со всех сторон
 Собрали сто шарфов!
 Пока на шею надевал,
 Глядят, а он здоров!
 — Какая длинная длина! —
 Сказал всем попугай. —
 Ты перед тем, как заболеть,
 Их за день надевай!



Детская литература, экзамен



МАРИНА СМАГЛЮК

Марина Смаглюк родилась в г. Николаеве (Украина).

С 1993 года живет в России.

Состоит в литературном объединении «Жемчуга» г. Оленегорска Мурманской области. В 2008 году в издательстве «Скандинавия» (г. Петрозаводск) вышел первый сборник стихов «Нежности забытой лепестки».

* * *

Ветка голая, как строчка
В разлинованной тетрадке.
Запятые, скобки, точки...
Все как надо. Все в порядке.

Байки. Сплетни. Небылицы...
Только не хватает смысла.
На исписанной странице
Недосказанность повисла.

* * *

Давно опередила уставший календарь.
Душой живу я в мае, а за окном январь.

Дням страстной бурной жизни пора вести отчет.
Пора остепениться... Но я хочу еще!

Пора остановиться на виражах крутых
И тишины напиток... А жизнь меня — под дых!

Я на бегу пытаюсь поймать мгновений нить,
И календарь не сможет меня остановить.

Пусть и часы отстанут, замедлят вечный ход.
И пусть Земля пропустит обычный оборот.

Пусть все замрет, застынет. Январь, январь, январь...
Но я душой мятежник, повстанец и бунтарь.

* * *

Я форточку закрыть забыла ночью.
Проснулась — и глазам своим не верю.
Впервые я увидела воочию
Таинственную, сказочную фею.

Улыбка. Величавый жест рукою.
— Ты рада мне? — Конечно, фея! Очень.
— Повелевать сегодня хочешь мною?
Желанья загадай! — Спасибо! Впрочем,

Ты опоздала, сказочная фея.
Не искушай обманутую душу.
Все дело в том, что я тебе не верю.
Прости, пойми и до конца дослушай:

Я в детстве так ждала тебя ночами,
Надеялась, что ты окажешь милость,
Просила я: «Верни улыбку маме».
Ты в отпуске, должно быть, находилась...

Я так просила подарить мне папу.
Веселого, как у соседа Вовки.
И сильного (как папа у Потапа).
Быть может, ты была в командировке?

Зачем теперь так поздно прилетела?
Не подсластить прогорклую конфету.
Я в школе на доске писала мелом,
Что ложка дорога всегда к обеду.

РАЗГОВОР С БОГОМ

Никому своих чувств не хочу выставлять напоказ.
Но Тебе я откроюсь. Прости, не умею красиво.
В наши мирные дни был Афган. А теперь вот Кавказ...
Муж сейчас далеко, и держаться я больше не в силах.

Ты напомни ему: есть семья у него — крепкий тыл.
Приумножится пусть его выдержка, вера и сила.
Говоришь, обижал? Говоришь, что до слез доводил?
Я не помню уже. Я об этом забыла. Забыла!

Пусть он знает, что нужен, что дорог и очень любим.
Пусть шадит его дождь, обойдут снегопады и ветер.
Говоришь, что я часто была недовольная им?
Ошибалась я, Бог. Теперь знаю — он лучший на свете.

Ты его сохрани! Сбереги от ножа и огня.
Пусть его все снаряды и пули обходят, минуют!
Пусть вернется живым! Ты его сохрани для меня!
Пусть он в дверь позвонит, вновь обнимет меня, поцелует...

Я так скучно, так мало ему отдавала тепла.
Все ворчала, пилила: «Ах, вазу разбил! Неуклюжий!»
Хоть банально звучит, но полжизни бы я отдала,
Чтоб услышать сейчас: «А что будет сегодня на ужин?»



ВАЛЕРИЯ ХАДДАДИН

Всю жизнь живу в Москве. Литературный институт имени Горького — любимое, третье образование (до этого было системное программирование и востоковедение (арабское отделение). Замужем, трое детей. В этом году оканчиваю шестой курс в мастерской профессора Игоря Волгина.

Причитание

Заплутаешь так, будто сам себе как Сусанин,
тут деревья выше, голосов уж давно не слышно.
Выпростать бы крылья, да стволы стоят тесно,
а корабль построить — так беда в лесу с парусами.

Тяжелеет шаг — значит, много знаешь. И куда торопиться?
Опозданий нет наверх, там равны всем почести.
Говорят, на небе бродят все счастливые очень,
и в руках в журавлей превращаются птицы-синицы.

Голубок-то впорхнет — люди слюбятся, после плачутся,
побегут деточки по полям в рубашонках холщовых.

Ой, не ходите в лес да не спешите стать взрослыми —
ничего нет радостнее детства здесь, ну а там-то жизнь
что-то значит ли?

* * *

Моему сыну Адаму

Неловко топаешь по гладкому паркету,
вразвалочку, как пьяный морячок.
Прекрасный принц — беззубый смех и лепет,
и в пол-ладони детский башмачок.

Я на коленях, в длинном коридоре,
ловлю смешного иноходца бег
в открытые распятия-ладони.
Мой божий человечек. Человек.

А завтра гость столичного вертепа,
уверенный от галстука до пят,
надкусишь жизнь, как яблоко Эдема,
без страха в то, что можешь быть распят.

И добрый сказ: «На золотом сидели...»
Вот мой Адам и девочка в венце.
А я опять в каком-то коридоре.
Лови *меня!* И яркий свет в конце...

Мой Нильс

Влажным пледом колышется осень над городом N,
остужает побеги, растущие в небо домов.
Лагерлефские гуси га-га-га-горланят-прощай...
Этот фильм об уходе — привычный осенний рефрен.
Жадно тянешь из воздуха запахи поутру,
как толстяк-сладкоежка украдкой с тарелки эклер.
Прицепиться б за хвост ускользящей круглой Земли
и лететь вместе с ней сквозь осеннюю мишуру.
Штрих-пунктир по стеклу, и тревожно-отчаянно-жаль —
не успел, не сказал, пробежал, прозевал, упустил...
До того, как созревший, холодный, осенний настил
окончательно скроет надежду на лета Грааль.
Где за белой кормой километры из синих полос
и пустот километры воздушные, стук-перестук
пассажирских. И нежный поток между крыл —
твоих-пальцев-ласкающих арфу пшеничных волос.



ЕВГЕНИЯ ХРАМОВА

Евгения Храмова родилась в 1989 году. Окончила Московский педагогический государственный университет. Магистр естественно-научного образования. Преподаватель высшей школы. Была студентом Литературного института имени Горького, слушателем Высших литературных курсов.

Работает в эколого-просветительском центре «Воробьевы горы». Пишет сказки с 2005 года на радость себе и окружающим.

О МИРАХ, АВТОРАХ И ИХ КНИГАХ

1.

Наверное, Миры просто очень хотят быть созданными...

Еще невоплощенные, сидят они по углам в большом и черном несбывшемся. И хотят. Очень. По отдельности, но общего. Конечно, Внешняя Реальность пообещала, что когда-нибудь они обязательно сбудутся. Но «когда-нибудь» — это очень долго! «Когда-нибудь» им неинтересно. Им хочется «вот прямо сейчас» или «очень скоро»!

И вот какой-то из этих Миров решает захотеть вслух. И делает это громко и отчетливо. Да так, что все-все Миры даже в самых дальних углах его слышат. Тогда они приходят на зов и втайне от Внешней Реальности придумывают Автора. Одного на всех, потому что придумать много авторов за раз у них не получается. И просят какой-нибудь уже случившийся Мир: «Слышишь, брат, возьми к себе нашего Автора! Он вырастет у Тебя и Нас воплотит!» Брат вздыхает, но соглашается. «Давайте, — говорит, — его сюда, так и быть!» Ну а что? Семья все-таки.

И Автор рождается в воплощенном Мире. Немного подрастает, обучается. Пора, казалось бы, и за создание породивших его Миров взяться. А вот тут начинаются трудности...

Во-первых, Автор может запросто забыть о своей миссии. Уверится, скажем, с детства, под громкие возгласы окружающих, что он великий экономист или физик, и будет всю свою короткую жизнь это упорно доказывать.

Во-вторых, он может не успеть воплотить Миры. Сами посудите — карьера, дети. Мелкие бытовые проблемы, крошечные рабочие неурядицы, создающие впечатление непролазного низового болота, треплют нервы почище одной большой катастрофы. Какие уж тут свои Миры? Тут бы в чулом не сдохнуть! И даже неотвратимый зуд творчества, до озверения царапающий душу, не поможет.

Так и ходит несбывшийся, по сути, Автор всю жизнь, повторяя, как мантру: «Когда-нибудь! Когда-нибудь!»

Когда-нибудь... Когда?!

Ну и в-третьих, Автор может вообще не захотеть ничего для своих Миров делать. Усвоить нормы, устои и правила чужого, воплощенного Мира и решить: «Да Он и так хорош! Зачем еще какие-то?» А Миры-то надеются, там, в своем пока несбывшемся, ждут...

Таким образом, почти случайно, теряется большая часть возможных Авторов-Творцов! Да и

живется им в том неродном Мире, прямо скажем, не очень хорошо. Все им дается дольше и труднее, нежели прирожденным обитателям Мира. Они там чужие и остро чувствуют это!

И вот если однажды у одного такого Автора тоска по далекому, несуществующему дому становится совсем уж невыносимой, он начинает творить. Рисует ли, пишет ли он или сочиняет музыку — он все равно творит! Творит свой дом и свой Мир (один из тех многих, создавших его) в этой, воплощенной уже Действительности. Постепенно. Строка за строкой, мазок за мазком, нота за нотой. И вокруг него начинает проявляться самый что ни на есть настоящий и живой Мир. Пока один. Наверное, тот, который больше всего хотел, а значит, и отдал себя больше, чем другие Миры...

Он растет и плотнится, приобретает и краски, и объем, и звук. Он хохочет и поет от радости. И, звуча, отделяется от Автора, становясь совершенно отдельным, гармоничным и жизнеспособным Миром, сохраняя при этом, однако, серебристую нить связи с Автором. А может, и вовсе забирает Автора к себе. Тут уж как они договорятся!..

Но очень скоро Автору снова становится тоскливо, и он снова принимается творить...

Так постепенно, будто бы в обход Внешней Реальности, вытаскивает Автор из несбывшегося все создавшие его Миры. И уже, наконец успокоившись, как почетный гость продолжает жить в этих Мирах вечно. Ну и к приютившему его когда-то Миру иногда заглядывает. Интересно же, как Он там, без него.

Вот так и получается, что Миры от большого желания, собравшись вместе, творят Автора, который потом от большой тоски творит создавшие его Миры.

Замкнутый круг! Но все же, все же...

Правда, в таком случае нужно признать за несбывшимися пока Мирами и зрелость, и самостоятельность, а Внешняя Реальность этого никогда не признает. Она хоть и заботливая, но все-таки мама.

2.

Когда человек уже изучил многое в этом Мире и твердо уверен, что знает о Нем практически все, ему становится в Мире скучно. По-настоящему скучно со всеми вытекающими. И жить ему в тягость, и умирать лениво. Он же понимает: умрет, начнет опять сначала, а собирать многочисленные знания о Мире по новой ох как непросто!

Тогда человек устало потягивается и начинает придумывать Мир свой!

Как кирпичики, использует он свои знания для устройства нового куска Реальности. Он уже называет будущий Мир своим и заранее гордится, что окажется причастен к великому акту творения уникального, ни на что не похожего Мира!

Но вот что плохо: будучи отпрыском Мира этого, впитав его память, усвоив обычаи и привычки своего человеческого народа, новоявленный творец зачастую создает не новый Мир, а лишь отражение того, в котором родился. Очень часто пародию на Него, и нередко весьма грубую.

Редкий Творец умудряется так прочувствовать и понять Действительность и Реальность Мира, так переработать и переплавить это в себе, чтобы получился если не совершенно уникальный, то хотя бы гармоничный, сносный для жизни и самосуществования Мир. Такие люди рождаются нечасто и, как правило, так и не доживают до полного расцвета творческих сил.

А иной раз попадают такие, что и вовсе ничего не знают об окружающем их Мире, но твердо намерены воплотить в реальность свои собственные, какими бы хромыми и убогими Они ни оказались. Толком не зная законов даже одного породившего их Мира, такие творцы с завидным и часто бессмысленным упорством принимаются за работу, воплощая нежизнеспособных уродцев, вынужденных существовать только с помощью автора, да и попросту опасных монстров.

Но только среди таких странных типов, не сумевших стать частью этого Мира, и может объявиться истинный Творец. Человек, способный создать совершенно уникальный, живой и при этом абсолютно здоровый Мир, который будет долгое время успешно существовать без создателя и не действовать при этом на нервы Внешней Реальности. Такие люди, как правило, честно старались усвоить знания, традиции и память окружающего их Мира, но мало в этом преуспели. Родивший их Мир им действительно очень нравится, зачастую они даже искренне любят Его, но необходимость освоиться здесь оказывается для несчастных практически непосильной задачей. Многие из них мечтают об ином...

Такой Творец обязательно сотворит Чудо и обязательно случайно. Спьяну ли, со скуки или сдуру, по большой любви, но сделает обязательно! Случайно. Однажды.

Потом посмотрит вокруг. Ухнет, присвистнет, скажет удивленно: «Ух ты! Как хорошо-то получилось!» И отправится жить в свой собственный Мир. Потому что этому, нашему, Миру он давно не принадлежит. А может, и не принадлежал никогда.



ЗАРЕМА ЦЫГАНОВА

Зарема Цыганова родилась в 1991 году, выросла в Республике Башкортостан. Учится заочно в Литературном институте имени Горького на семинаре прозы. Параллельно училась очно на физико-математическом факультете БашГУ, который окончила в прошлом году с красным дипломом. Знает пять языков: английский, арабский, турецкий, татарский, башкирский.

А СЛОНА-ТО И НЕ ПРИМЕТИЛА

Сегодня меня положили в больницу. Войдя в палату, мой лечащий врач с порога поинтересовался:

— Ну что, новенькая, Кириллова Мария Владимировна, где работаете?

— Я аспирантка, — ответила я и назвала свой вуз.

— Н-да... — с разочарованием в голосе ответил человек, давший клятву Гиппократу, и убрался из палаты восвояси.

Я растерялась: доктор даже не потрудился меня осмотреть. Увидев выражение моего лица, соседка по палате хмыкнула:

— А что ты удивляешься? Нечего ему с тебя, простой аспирантки, взять, вот и ушел. Когда в следующий раз зайдет, скажи, что ты его хорошо отблагодаришь, живо свое отношение изменит!

Я внимательно посмотрела на свою соседку, столь хорошо разбирающуюся в вопросах «бесплатной» медицины. Темная, короткостриженная, с цепким взглядом контролера метро. Знаю я такую породу женщин, которые за пару секунд просканируют взглядом все на свете. У них глаз-алмаз, часто слышу, как они возмущаются в магазине:

— Девушка, я просила взвесить триста граммов колбасы, а вы триста тридцать отрезаете!

Тем временем соседка продолжила:

— Меня Роза Михайловна зовут. Я, кстати, в твоем вузе комендантом общежития матфака ра-

ботаю. Студенты меня обожают. Я для них — мать родная!

Я подавила ухмылку. Я сама окончила матфак, правда, будучи городской, в общежитии не бывала. Но однокурсники часто жаловались на цербера в юбке, который лает, кусает, оскорбляет и в общежитие никого не пускает. Особенно доставалось городским студентам, которые, даже оставив в залог все документы, вплоть до справки из вендиспансера, не могли пройти к общежитским друзьям.

Комендант меж тем начала рассказывать, какой она незаменимый кадр и как ее безмерно уважают все, включая декана. Эту женщину послушать — так на ней одной вуз и держится.

— Кстати, ты на каком факультете аспирантишь? — осеклась она.

— На биофаке! — ответила я, решив не огорчать ее.

Комендант успокоилась и продолжила брехню. В самый разгар повествования к ней пришел приятный мужчина в светлом костюме. Я, решив не мешать уединению, выползла в коридор.

Мужик ушел на удивление быстро.

— Видела его? — кивнула мне комендант. — Это декан матфака Лавочкин. Как он меня ценит, лично сюда пришел!

Мне стало весело. Неужели я не знаю своего научного руководителя? Этот мужчина похож на

Лавочкина, как муха на козла. Тем более я видела, как мужик в коридоре потискал комендантшу, поцеловал в ушко и назвал кошечкой.

— У вас с ним такие теплые отношения, — заметила я. — Он как-то не по-братски обнял вас на прощание...

Тетка была вынуждена сказать:

— Только между нами, этот мужчина — мой любовник.

— Лавочкин — ваш любовник? — невинно переспросила я.

— Ну да, — помявшись, ответила она.

Отступать некуда, позади — Москва...

Смешно. Чтобы заработать дешевый авторитет в моих глазах, женщина готова выдать за декана хахала. Интересные у нее, однако, представления. Оказавшись между Сциллой и Харибдой, тетка из двух зол предпочла спасение мнимого авторитета, а не нравственности. Чтобы не признать того, что ее влияние на декана стремится к нулю, она готова пожертвовать своей репутацией. И ведь не боится, что я все могу рассказать ее мужу.

Комендантша, чтобы уйти от скользкой темы, перевела разговор:

— А тебя с чем привезли?

— Да вот, подозрение на аппендицит.

— А у меня воспаление по женской части, — доверительно сообщила она. — Но я своему мужику ничего не сказала, иначе бросит. Для мужчин ведь главное, чтобы у женщин с этим делом все было ого-го!

Я безмерно удивилась. Во всех печатных изданиях, которые я видела, в рейтингах женской привлекательности рекорды били необъятный бюст и метровые ноги. Иногда пятая точка, но никак не внутренние ого-го, которые лоббирует комендантша. Видимо, ее сознание шагнуло далеко вперед примитивных стандартов женской красоты...

И тут в палату ворвался любовник.

— Котик, — начал он с порога, нисколько не смущаясь моего присутствия, — вот сок и фрукты: персики, манго, киви. Я купил хурму, такую же сладкую, как и ты.

С этими словами он обнял тетку и стал гладить ее, сидя прямо напротив меня.

«Похабник», — подумала я.

Меня не вдохновляла идея стать зрителем этого шоу, и я решила купить себе какую-нибудь минералку в больничном киоске. Но не успела я выйти, как постовая медсестра поприветствовала кого-то в коридоре:

— Мужчина, вы куда без халата и бахил? Это больница, а не сарай!

— Сейчас, сейчас надену, они у меня в пакетишке, — заискивающе ответил мужской голос.

Судя по тому, как дернулась в бесстыжих руках любовника комендантша, я поняла, что этот голос принадлежит ее горячо любимому мужу, который вот-вот войдет в палату... У тетки, надо сказать, реакция была как у Рината Дасаева, она моментально заявила любовнику:

— Милый, сходи вниз, купи мне сок.

— Я же принес.

— Нет, на апельсиновый у меня аллергия, купи яблочный.

На лице мужчины промелькнуло легкое раздражение. Оно и понятно, любовница — затратное удовольствие. В Финляндии, между прочим, если мужчина завел подружку на стороне, налоговые проверки ему гарантированы. На какие денюжки он содержит девушку?

Любовник вышел из палаты, в дверях столкнувшись с мужем.

— Кто это? — спросил супруг.

— Декан нашего факультета Лавочкин, — невозмутимо ответила любящая жена.

Правильно, врать — так уж врать до конца. Стоять на брехне насмерть.

— Понятно, — сказал роконосец и начал выкладывать на тумбочку фрукты и соки. — Вот яблоки тебе — антоновка, груши, бананы. Сок купил. Я помню, что у тебя аллергия на апельсин, поэтому взял яблочный. Пойдет?

— Пойдет, пойдет, спасибо, — нервно ответила женоушка.

Еще бы, с минуты на минуту сюда должен вернуться любовник «Лавочкин».

— Вот что, ты иди давай домой, а то на футбол опоздаешь.

— А сегодня нет футбола, — удивился муж. — Я могу с тобой подольше посидеть.

— Нет уж, иди быстрее, у меня нехорошее предчувствие, что ты или газ не выключил, или воду. Ты же знаешь, я такие вещи чую.

— Да, — заулыбался глупец. — Ты у меня прямо пророк. Вон как в прошлый раз угадала, что наши футболисты португальцам продуют.

«Хм, тут, прямо скажем, Вангой быть не надо...»

— Вот-вот, двигай домой! — И жена чуть ли не пинком выставила мужа в коридор.

И очень вовремя. Не успел он завернуть за угол, как вернулся любовник.

— Что это за хмырь? — жизнерадостно спросил он.

Женщина смешалась, покосившись в мою сторону. Я решила облегчить ей судьбу и вышла в коридор. В конце концов, я так и так собиралась

за минералкой. Закрывая дверь, я услышала, как женщина ответила любовнику:

— Это декан нашего матфака Лавочкин.

«Да... Говорят, серийные преступники на этом и прокалываются — каждый раз пользуются одним и тем же сценарием преступления...»

Не успела я спуститься вниз, как любовник пронесся мимо меня по лестнице.

«Наверное, поспешил уйти, побоявшись, как бы она еще чего-нибудь не попросила».

У больничного киоска змеилась длинная очередь. Встав в хвост, я увидела в двух шагах от себя восхитительную картину. Любовник нагнал не успевшего уйти мужа и заявил:

— Спасибо за вашу чуткость, посторонний человек, а пришли!

— Я не посторонний, — удивился муж, — как-никак одна семья.

— Ну да, коллектив — как одна семья, вы создали хорошую атмосферу!

Любовник балагурил, явно стараясь поддерживать смущенного «декана Лавочкина» — начальника своей Джульетты.

— Я знаю, вы занимаетесь очень сложными вещами. Я ведь по молодости проучился два курса в авиационном. До сих пор, как страшный сон, вспоминаю теорию математического поля. А вы ведь, наверное, в теории поля-то профи? — подмигнул мужу любовник.

Тот еще больше растерялся. Это был человек «из народа», который из цветистой речи любовника вычленил только знакомое слово «поле» и воспринял его по-своему:

— У нас не поле, а огород. Так уж, по мелочи разную зелень собираем...

— Однако вы откровенный человек, — восхитился любовник. — Хотя чего стесняться, все свои... — Он захохотал и прибавил: — И я в молодости в зачетку «инвестиции» вкладывал. Помню, однажды история получилась. Вложил я в зачетку пятьсот рублей и записку «по сотке за каждый балл». Получаю зачетку обратно, а там три сотни

и приписка «сдача». Принципиальный препод попался. Так и не смог ему сопромат сдать...

— За деньги, значит, сдавали? — расстроился муж. — Я, конечно, не в вузе учился, а в аграрном техникуме, но сам занимался, все честно сдавал. Знания-то не купишь...

— Ишь чего, — рассердился любовник, — сам лопатой взятки гребет, а меня поучает! И вообще, как ты после сельхознавоза на такую должность пролез? Небось имеешь мохнатую лапу в Министрстве образования?

И, напевая под нос «Куда деться мне теперь от жуликов и мафии? Я поеду жить в тупик к Лыковой Агафье!», он ушел.

Муж совсем расстроился:

— И чего он привязался? А ведь высшее образование получал, культурным должен быть...

И шаркающей походкой поплелся к выходу.

Я купила минералку и вернулась в палату.

— Уф, еле пронесло! — сказала соседка.

— А что, любовник не знает, что вы замужем?

— Нет, он боязливый до жути... Кавалер мой при должности, боится, что его муж застукает и он авторитет уронит. Поэтому я сказала, что муж у меня военный и сейчас в командировке на Сахалине.

И женщина расслабленно откинулась на подушку.

Тут в палату собственной персоной вошел Сергей Петрович Лавочкин — доктор физико-математических наук, профессор, декан матфака и человек, которого комендантша позиционировала как своего любовника...

— Маша, защита на носу, а ты заболела! — сказал он.

— Не волнуйтесь, Сергей Петрович, я уже дописала заключение, — ответила я.

Комендантша съежилась и испуганно посмотрела на нас. До сих пор женщине не приходило в голову, что бояться-то ей нужно не мужа и не любовника, а меня...



ДИАНА ЧУЯШЕВА

Диана Чуяшева — студентка шестого курса Литературного института имени Горького. Юрист. Мать пятерых детей. Живет в Москве.

Вкусно

Взяли щепотку наглости,
Влили пол-литра пошлости,
Юмора ложку кинули,
Горсточку красоты.
Силу смешали с храбростью,
Бросили бешеной скорости,
Ум положили, но вынули.
И получился ты!

* * *

К сентябрю в цветочном магазине
Цены резко выросли некстати.
Мама первоклассницы Ирины
Знает о задержке по зарплате,

Голову ломает над задачей,
Как бы протянуть еще неделю...
По ночам под одеялом плачет
В несогретой и большой постели.

Но букет готов. И пять ромашек
Приняты из рук счастливой мамы.
Кажется малышке-первоклашке
Что ее букет красивый самый...

Что цветы, как будто дети солнца,
Так же восхитительно лучисты.
В маленьком и круглом желтом донце
Отблески рассветов золотистых.

Чуть поодаль плакала девчонка,
Что не так ей сделали укладку.
И со взглядом злющего волчонка
Каждого «кусала» по порядку.

Предкам, поведя плечом картинно,
Бросила охапку роз с бантами.
На фига купили ей корзину
С этими ужасными цветами!



КЛЕМЕНТИНА ШИРШОВА

Клементина Ширшова родилась в 1993 году в Москве, учится в Литературном институте имени Горького (семинар Сергея Арутюнова). Публиковалась в таких изданиях, как «Юность», «Дети Ра», «Литературная газета» и др. В 2014 году вошла в лонг-лист независимой литературной премии «Дебют».

Второй пилот

рассветает во мне, я серые скалы помню.
что такое там возникает, когда теряешь,
родниковой водой утекает сквозь пальцы словно.
пролетаем над полем тающим, мимо кладбищ,
на такой высоте чего бы еще хотелось.
— *я пришел, открывай, Андреас.*
пролетаем опушки, зеленые ветви вижу,
отчего-то совсем не хочется верить смерти.
говорят, сюда приезжают, красиво летом.
а завтра люди прочтут про меня в газетах.
— *Андреас, открой кабину, мы все уьемся.*
резкий свет, это мы пролетели напротив солнца.
среди леса домишко почти что и незаметен,
а про нас прочитают во многих таких газетах.
он стоит, деревья домик заморозили,
— *прекрати, здесь женщины, дети, мы все погибнем.*

дом как раз такой, в котором когда-то жили,
 ты носила яркие платья из легкой ткани.
 но теперь пролетаем мимо, здесь только скалы.
 что такое там возникает, когда теряешь.
 направляемся вниз метеором, звездой, кометой,
 представители стран, они ничего не знали.
 — *прекращай сейчас же, люди не виноваты.*
 а когда решил стать пилотом, не зная словно,
 родниковой водой утекало сквозь пальцы что-то,
 рассветало во мне, но серое только помню,
 я не знал, а потом расплата, платить не больно.
 — *открывай, довольно.*
 нет, я не знаю, что там.

* * *

«остановите яблочный побег», —
 шептали дети, в окна пролезая.
 там напряженно вглядывалась вверх
 горящими закрытыми глазами.
 высвечивала ими каждый звук,
 пыталась опознать, а вдруг? — и точно:
 ночное, наливное, на весу
 раскачиваясь, яблоко грохочет.
 до боли надуваясь изнутри,
 от жидкой, сочной мякоти трепещет,
 и кожица натянута, как щит.
 а ветка накренилась, но молчит.
 но отпускает, чтобы стало легче.
 и ей самой, и дереву всему,
 и детям, уходящим в темноту,
 где люди так похожи на побеги —
 на яблоки, на яблони в цвету.

* * *

долго ли падал пепел,
 изнемогая падал.
 или на белом свете
 нет и не будет ладу.
 есть ли живые люди.
 падаю в этот ветер.
 как я на землю лягу,
 если кого не встретил.
 значит, застой и падаль
 или костер и воля.
 кто я на белом свете,
 если я не с тобою.
 люди снимали фильмы,

люди слагали песни.
но они были вместе.
но они были вместе.
плакать, смеяться, верить,
нам ли бежать от смерти.
но, оставаясь верен,
я осыпаюсь в пепел.
неупокоен ветер,
неугасима воля.
бог его знает, кто мы,
кто мне ответит, кто я.
мы ли живем на свете,
падать изнемогая.
но неизменно светит
правда ничья иная.
правда *ничья* иная.
правда *ничья* иная.



ВАРВАРА ЮШМАНОВА

Варвара Юшманова родилась в Братске. Жила в разных городах России. Сейчас — в Москве. Студентка Литературного института имени Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в журналах «Кольцо А», «Нева», «Волга — XXI век» и др. Лауреат премии имени Риммы Казаковой «Начало».

СОНЕТ

Мы размытые, прерванные. В это время дня
Из студеного мира нас вырывает с корнем.
Голова твоя на груди лежит у меня.
Мы не знаем про время. Улицы мы не помним.

Мы нечетки для света, не определены.
Разговор пререкающихся сердцебиений.
Перевитые сны. Ресницы одной длины.
Мы сильны. И, кажется, влюблены наши тени.

Сон не прочен. Тóчен изгиб руки:
То изгиб прижимания и согреванья кожи.
Наши души гóрьки, но наши дни легки,
Потому что вместе мы тосковать не можем.

День всплывает в сумрачный водоем.
Мы вдвоем.

* * *

Мы спим, прижавшись спинами друг к другу,
Как на гербе.
Луна притихла в центре полукруга
Моих гербер.

Февраль и сам устал от снегопада,
До сна охоч.
За все мои метания награда —
Такая ночь.

Два человека в черно-белом цвете,
Наоборот.
Но, как желанье, сбудется в рассвете
Твой поворот.

* * *

Сколько заброшенных старых лачуг и будок.
Не возникал тут долго твой мерный шаг.
Небо пленяет свежестью незабудок.
Полдень плетется медленно, как ишак.
Вот бы подольше так.

Пыль перегонная мажет лицо и тело.
Думаешь: где-то здесь был мой прежний дом.
Спросишь несмело:
— Что, алыча поспела?
Все не о том.

Ребра забора ломаны и нечасты.
Вмятое в землю выцветшее крыльцо.
Запах лепешек жаркий, как запах счастья.
И незабытое материно лицо.

Воздух-зверь

Воздух-зверь. И бьет копытом,
Пьет из солнечных канав,
Чьи-то мысли распознав,
Притворяется убитым.
Осушает водопой,
И своим хрустальным цветом
Манит и зимой и летом.
Громко дышит сам собой.
Дарит птицам их полет.
Воздух-зверь. Он всемогущий!
Он свою простую сущность
Каждой клетке отдает.

Донецк

Неба почти не стало,
Будто всегда гроза.
Дети живут в подвалах.
Видят во тьме глаза.

И по рассказам братьев
Знают, что наверху
Липы в зеленых платьях
И тополя в пуху.

Здесь же горшки и тряпки,
Воздух густой, как дым.
Дети играют в прятки,
Только водить не им.

2014



Лит



Теория стихосложения


Борис ПРОКОПЬЕВ

Борис Прокопьев родился в 1956 году в Чебоксарах. В пятнадцатилетнем возрасте уехал в Горький (ныне Нижний Новгород), где, будучи курсантом Горьковского речного училища имени И. П. Кулибина, начал активные занятия спортом. В 1982 году окончил Государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (Ленинград). Работал тренером, комсоргом ЦК ВЛКСМ на базе олимпийской подготовки Горьковской области. В 1989 году был приглашен на работу в Госкомспорт СССР (управление по связям с общественностью). Журналистикой увлекся в начале 80-х. Окончил факультет комсомольских корреспондентов при областной молодежной газете «Ленинская смена». Печатался в газетах «Советский спорт», «Комсомольская правда». Работал ответственным секретарем газеты «Спорт для всех». В 1993 году учредил и возглавил журнал «Бег и мы», главным редактором которого является по настоящее время. Продолжает заниматься спортом — марафонским бегом. Пробежал восемьдесят пять классических марафонов, в том числе во всех двенадцати олимпийских столицах Европы.

NOTA VENE

Вера Звонарева — российская теннисистка. Родилась 7 сентября 1984 года в Москве. Заслуженный мастер спорта. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008 год). Обладательница двенадцати высших титулов Женской теннисной ассоциации и двух высших титулов Международной теннисной федерации в оди-

ночном разряде. Экс-вторая ракетка мира. Победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (2006, 2012 годы), финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (2010 год), двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2008 годы) и прочее, и прочее, и прочее...

ВЕРА ЗВОНАРЕВА: «КЕМ Я СТАНУ, МАМА ОЗВУЧИЛА ЕЩЕ В РОДДОМЕ»

Она просто обречена была стать спортсменкой. Мама — призер московской Олимпиады в женском хоккее на траве, папа играл в хоккей с мячом в команде, выступавшей в высшей лиге национального чемпионата. Как судьба предначертала — так все и вышло.

Теперь она сама сдержанно гордится своей бронзовой медалью, врученной ей в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, а шлейф побед и удачных выступлений на самых престижных турнирах оставил яркий след в ее биографии.

Для нашей встречи она выбрала кафе на углу Садового кольца и Нового Арбата. По тому, как она, даже не заглянув в меню, заказала себе облепиховый чай, стало ясно, что это место ей хорошо знакомо. Убранство помещения не отличалось пафосом, и это удачно сочеталось со скромностью моей титулованной собеседницы — несомненно, неординарной, многогранной и приятной особы.

— **Вера, почему все-таки теннис?**

— Такова была задумка моей мамы. Ей нравился этот вид спорта. Тогда в Союзе по телевидению стали показывать теннисные матчи. Это были времена Андре Агасси с его длинными шортами и такими же длинными волосами. Мама часто мне рассказывала, что когда я появилась на свет, акушерка, принимавшая роды, восхитилась: «Ой, какие у вашего ребеночка длинные пальчики! Наверное, будущая пианистка». На что мама ответила: «Нет, она будет теннисисткой».

Мама всегда хотела, чтобы я занималась спортом. В раннем детстве меня поочередно определяли на разные занятия: спортивные танцы, фигурное катание, плавание. В большей степени для общего развития. Но мама всегда хотела, чтобы я взяла в руки ракетку.

И вот в шестилетнем возрасте она привела меня на просмотр в спортклуб «Чайка» к Екатерине Ивановне Крючковой. Другие родители тоже пришли с детьми, представив взору тренера еще порядка шестидесяти человек. На начальном этапе из нас отобрали только половину. В течение года проходило постепенное уменьшение группы. Вызвано это было в первую очередь недостаточностью тренировочной базы у спортклуба. «Чайка» располагала всего одним кортом, на котором всем нам нужно было как-то уместиться. Надо заметить, что Екатерина Ивановна, расставаясь с тем или иным ребенком, всегда прикладывала максимум усилий, чтобы тот продолжил занятия в другой теннисной секции, где имелось больше возможностей. Она обзванивала своих коллег в «Динамо», ЦСКА, других спортобществах и клубах, чтобы те по возможности приняли детей из «Чайки».

Я прошла все стадии отбора, после которых в моей возрастной группе нас осталось всего пять человек.

— **Мамины устремления начали обретать реальные формы — Вы стали заниматься теннисом. А сами как к этому отнеслись?**

— Конечно, это была мечта мамы, а не моя. Даже когда я приступила к тренировкам, не могу

сказать, что у меня проснулась любовь к теннису. Просто я чувствовала ответственность. У меня и в процессе учебы в школе доминировало это качество. Я понимала, что не имею права плохо тренироваться и учиться, видя, как мама трудится на двух-трех работах, чтобы оплачивать мои занятия. Начало 90-х было трудным временем для всех.

Мы жили с мамой и бабушкой, которая и возила меня на тренировки из Бирюлева в центр Москвы на «Кропоткинскую». Дорога только в одну сторону занимала час-полтора.

— **Куклы, подружки, мультики — все это осталось в стороне?**

— В куклы я особо-то и не любила играть. Меня больше привлекали паровозики. А мультфильмы смотрела про черепашек ниндзя. Правда, недолго. Все быстро закончилось — годам к восьми. Остались только учеба и тренировки, тренировки и учеба.

Мне пришлось очень рано стать самостоятельной. Лет с десяти мы начали ездить по России на соревнования. Мама, конечно, помогала собрать в дорогу сумку. Но все остальное — сама. Юрий Владимирович — муж Екатерины Ивановны — человек военный, постоянно устраивал у нас проверки. Требовал, чтобы в шкафу все было в полном порядке: белье и одежда постираны, аккуратно сложены. И все это необходимо было делать самим. Вот только волосы мама мне дома заплетала на целую неделю вперед. Сама я с этим не справлялась. Она делала много-много косичек, мне оставалось только собрать их в хвост. Правда, он почти всегда оказывался где-то сбоку. Потом, естественно, я научилась ухаживать за волосами и укладывать их сама.

— **Были случаи, когда не хотелось идти на тренировку?**

— На начальном этапе занятия проходили три раза в неделю и носили во многом игровой характер. Тогда было интересно. Но годам к двенадцати, когда тренировки стали ежедневными, а в школе усложнилась программа, периодически возникал соблазн остаться дома. Уставала. Но в итоге все равно собиралась с духом и шла. Все эти «не хочу» оставались внутри меня. Я никогда никому не говорила о своих минутных слабостях.

— **Как складывались дела с учебой?**

— Училась я хорошо. Вплоть до девятого класса у меня была всего одна четверка, иногда даже одни пятерки. В десятом-одиннадцатом, конечно,

четверок прибавилось — стало сказываться, что я пропускала много занятий из-за участвовавших поездок на соревнования. А учителя не всегда отнеслись к этому с пониманием.

— Даже невзирая на то, что Вы были спортивной гордостью школы?

— На самом деле этого особо никто тогда не понимал. Некоторые считали, что это просто для развлечения. От спортклуба, от федерации тенниса, конечно, писали письма директору школы, что я член юниорской сборной страны, просили предоставить график свободного посещения занятий. Не могу сказать, что мне не шли навстречу. Но поблажек в оценках никто никаких не делал.

Я, например, часто сбегала на тренировки сразу после четвертого урока. А меж тем в школе в старших классах уже было по шесть-семь уроков. Но у меня не оставалось выбора — так был распisan корт. Приходилось самостоятельно наверстывать упущенное, усердно штудировать учебники. Все домашние задания я делала вовремя. У меня в школе была подруга. Мы с ней с первого класса вместе, да и сейчас продолжаем дружить. Так вот, если, например, шестым уроком у нас физика, а я не могла на ней присутствовать, я отдавала ей свою тетрадку с домашней работой, а она передавала учителю, и та ставила оценку. Это сходило с рук, но со скрипом. Если бы я запустила учебу, то тогда ко мне, думаю, было бы много претензий.

Практически каждый день приходилось бежать с рюкзаком за спиной из школы домой, быстро переодеться, брать ракетку и сразу ехать на тренировку. Возвращалась только вечером, часам к семи, и сразу садилась за уроки. Вся школьная внеурочная жизнь прошла мимо меня. Единственно, куда я смогла выбраться, — на выпускной вечер. Все-таки школьный праздник, вручение аттестата.

— В то время Вы уже были если не звездой, то звездочкой в теннисе уж точно?

— Да какая там звездочка. Школу я окончила в шестнадцать лет. Тогда я еще играла на юниорских турнирах. Правда, уже успешно выступила на Кубке Кремля.

— Во многих видах спорта, как бы усердно ты ни тренировался, без особого врожденного дара элитным атлетом не стать. В теннисе тоже надо обладать некой генетической предрасположенностью?

— Думаю, что да. И этот талант к теннису, если он есть, проявляется годам к двенадцати.

— В чем это выражается: координации, силе удара, чувстве мяча?

— Здесь важны не только физические данные, но и некое понимание игры, технических моментов. Возможно, у тебя не столь мощный удар, но ты решишь чем-то другим. В любом случае должно быть это «что-то», за счет чего ты можешь выигрывать. Часть теннисистов действительно имеет великолепную атлетическую подготовку. Но такие спортсмены играют не всегда стабильно. Правда, их ударам сложно что-то противопоставить. У других козырь — умение эффективно передвигаться по площадке, они вытягивают практически все мячи и крайне редко ошибаются. Это тоже своего рода талант. Третьи отличаются колоссальным терпением. Их можно сравнить с марафонцами. Они готовы на высоком уровне вести игру и два, и три часа. У четвертых есть видение игры. С виду вроде бы ничего особенного в таких теннисистах нет — и двигаются не сказать что супер, и бьют не так мощно, — но все предугадывают, чувствуют, куда соперник пошлет мяч. Словом, каждый находит в себе сильную сторону и вытягивает ее по максимуму.

— А Вы чем берете?

— Однозначно затрудняюсь ответить. Наверное, терпением. Меня еще в детстве мало кто мог перестоять на корте. А еще я почти не ошибалась. Куда бы против меня ни сыграли, я все равно добежала. В раннем юношеском возрасте от такой моей непробиваемости многие просто сыпались, не понимая, как у меня можно выиграть. Если надо было принять тысячу ударов, я принимала. Это у меня с детства. А еще неплохо видела корт, читала игру, чувствовала, куда пойдет мяч, и отправляла его через сетку, заставляя соперника бежать то направо, то влево.

Потом, когда перешла во взрослую категорию, этого стало недостаточно. Пришлось подчищать технику, чтобы избегать лишних движений. И скорости, и «физика» уже стали другие. Научилась больше атаковать, смелее играть и вообще прибавлять в разных аспектах. Взрослый теннис того требует. Если ты был хорош в юниорском возрасте, это еще не значит, что сохранишь статус классного теннисиста и во взрослом дивизионе. Это обманчивое ощущение. Но в то же время если в юниорах ты себя никак не проявил, то во взрослом возрасте сделать это будет крайне сложно. Чаще всего на вершину поднимаются те, кто в юниорах играл вроде бы неплохо, но не был первой или второй ракеткой.

— Вы заявили о себе будучи еще юниоркой. В Вас видели перспективную спортсменку?



— По своему возрасту в России я никогда не была первым номером. Устраивалась где-то в пятерке, иногда в тройке. В теннисе есть некая обманчивость. Те, кто раскрывается очень рано, зачастую и завершают карьеру преждевременно. Тому есть множество примеров. Например, Анна Курникова или Мартина Хингис. Они уже в шестнадцатилетнем возрасте играли во взрослом разряде. А это влечет за собой чуть ли не еженедельные турниры с их переездами, на которых всегда находишься под определенным давлением. Такое не каждому по силам — выматывает эмоционально. А нервная система к таким психологическим нагрузкам еще не готова. Другая проблема — травмы. Потому что и физически многие в таком возрасте еще не созрели каждую неделю играть по четыре-пять матчей.

Сложилось так, что по юниорским турнирам я ездила не так много. Правда, больше из-за финансовых проблем. Такие вояжи стоят денег. А оплачивать чаще всего надо было все самой. За исключением официальных соревнований, на которые выезжали сборной страны. Но таких набиралось всего три: зимний и летний чемпионаты Европы и чемпионат мира. А все коммерческие турниры ложились на плечи родителей или клуба. В «Чайке» мне тоже помогали с некоторыми поездками. Но даже при всем при этом я играла на турнирах значительно реже, чем большинство моих зарубежных сверстниц. Но если уж удавалось играть, делала это хорошо.

— Курникова, Кузнецова, Мыскина, Дементьева, Шарапова, Вы — прекрасный букет наших женщин-теннисисток. Можно ли говорить о российской школе?

— Думаю, что вполне. Хотя следует заметить, что Маша Шарапова практически всегда тренировалась в Америке, Света Кузнецова — в Испании, я — дома в Москве, Лена Веснина — в Сочи, Дементьева, Мыскина — их поколение — в основном в России. И все же о нашей школе тенниса говорить уместно. В том плане, что можно тренироваться дома и при этом достичь значительных успехов.

Если же говорить о школе как тренерских объединениях, традициях, единых методиках, то сейчас такого, пожалуй, нет. Хотя в Союзе это отчасти присутствовало. Например, спартаковская школа. Там работало много талантливых и опытных тренеров. При всем при этом в Союзе у нас прославилась, пожалуй, одна только Ольга Морозова, которая могла ездить на международные турниры. Тогда как было: выиграл чемпионат страны, тебя могли послать, например, на Уимблдон. А для тех, кто остался вторым или третьим, граница закрыта. Возможно, и в мире они были бы на таких же высоких позициях. Я уверена, что у нас в стране помимо Морозовой многие могли бы на мировых кортах обосноваться как минимум в двадцатке.

Были, были у нас в стране талантливые тренеры. Ведь мое поколение воспитали именно они.



Сейчас теннис очень сильно коммерциализировался. Новая тренерская поросль ориентирована практически полностью на одни только финансовые выгоды. Доходит до того, что, поиграв пару лет на любительском уровне, многие себя уже считают суперспециалистами, дают уроки, получая за это хорошие деньги. А тренеров, способных выявить талантливого ребенка, научить его правильно играть в теннис, остается все меньше и меньше.

— С какого возраста Вы сами начали зарабатывать, успешно выступая на турнирах?

— Только после того, как исполнилось восемнадцать лет. Я буквально за полгода поднялась в рейтинге до пятидесятой строчки. Это был очень важный этап моей карьеры.

Будучи юниоркой, вообще не получала гоночаров. Да и не только я. В этом возрасте поощ-

рять спортсменов денежными вознаграждениями в теннисе не принято. Единственное, что делают организаторы юниорских турниров Большого шлема, в частности на «Ролан Гаррос», Уимблдон, — оплачивают гостиницу, все остальное — за свой счет. По этой причине в юниорском возрасте я никогда не была на турнире в Австралии — очень дорогие билеты на самолет.

— Вы по-прежнему тренируетесь у Вашего первого тренера Екатерины Ивановны?

— Нет, с ней мы расстались практически сразу, как я окончила школу. Тогда я посчитала, что пора развиваться дальше. Поняла, что нужно куда-то поехать, искать что-то новое в плане спортивного совершенствования. Подвернулась возможность отправиться ненадолго в Америку. Меня пригласила к себе одна грузинская семья. У них как раз девочка была моего возраста и тоже играла в теннис. Жилищные условия у них позволяли — большая квартира. С этой девочкой мы вместе тренировались. И я, и ее семья остались довольны моим двухмесячным пребыванием у них.

— Но наставник должен все-таки быть!

— Два года я тренировалась совершенно самостоятельно. Как раз в это время стремительно вошла в пятьдесят сильнейших. В Америке посещала много различных матчей, пристально наблюдала, как играют ведущие спортсмены. Перенимала все лучшее. Можно сказать, жизнь заставила. Понимала, что если не выиграю сегодня тот или иной матч, завтра и поесть будет не на что. Там, в Америке, я и выиграла два первых для себя значимых турнира с хорошим призовым фондом. Но все деньги практически полностью потратила на подготовку и участие в следующих соревнованиях.

— Вас в Америке, наверное, приглашали к себе различные университеты?

— Разговоры об этом заводили. И я даже в какой-то момент стала подумывать, может, действительно принять приглашение какого-нибудь университета, играть за него, параллельно получая образование. Учеба в таком случае для меня была бы бесплатной. Но у меня стремительно пошли в гору теннисные дела, и я с головой стала погружаться в турниры. А это значит — очень плотный календарь, требующий колоссальной физической и психологической отдачи. И я решила в тот период не пробовать на зубок американское образование, а поступила в Москве в Центральный институт физической культуры.

— **В каком возрасте Вы стали мастером спорта?**

— Довольно рано — в четырнадцать или даже тринадцать лет. И хотя в теннисном мире, особенно сейчас, к этому званию особо никто не стремится, для меня это было нечто значимое. Такое стимулирует.

Позже, когда я вошла в сто лучших в мире, мне было присвоено звание мастера спорта международного класса. Потом уже дошло дело и до заслуженного — в 2004 году. Тогда наша российская команда впервые выиграла Кубок Федерации. Мы с Настей Мыскиной играли решающую пару и победили француженок.

— **Молодежь, которая приходит Вам на смену, почитает старшее поколение?**

— Мы в свое время ходили с открытыми ртами, завидев теннисную элиту, словно открывали для себя Америку. Сегодняшнее теннисное поколение на это смотрит немного иначе. Многие из них с детства тренируются за границей, и им прививают другое — что они сами завтрашние звезды. Чаще всего такие, проходя мимо признанных лидеров, даже глазом не поведут. Плохо это или хорошо, судить не берусь. Возможно, это им помогает. Конечно, я говорю об общей массе. Есть, разумеется, и другие, которые проявляют истинный интерес и уважение к известным спортсменам, хотят сфотографироваться с ними.

— **Когда Вы вошли в элиту тенниса, у Вас пошла череда турниров и переездов с места на место: чемоданы, гостиницы... Чем Вы еще живете?**

— Практически так и есть. Домой в Москву успеваю заскочить только на пару дней между соревнованиями. Да и то далеко не всегда. График выступлений очень жесткий. Например, у меня часто бывало так: после открытого чемпионата Австралии играла турнир в Таиланде. Там чаще всего выходила в финал, а утром уже надо играть первый круг в Дубае. После финала мчалась в аэропорт, ночь проводила в полете, а утром уже во всеоружии на корте.

У нас в теннисе межсезонье — только ноябрь-декабрь. Обычно недели две-три все отдыхают, ничего не делают, а потом начинается подготовка к новым турнирам.

И все же я всегда старалась найти время, чтобы погрузиться во что-нибудь еще, не связанное напрямую с теннисом. И это удавалось. Например, окончила Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел — факультет мировой экономики и международных экономических отношений. Сейчас учусь в американском



университете — получаю еще одно образование. Параллельно в России в одном из вузов изучаю юриспруденцию. Скоро получу диплом.

Интерес к учебе у меня с детства. Если за что-то берусь, то довожу дело до конца. Я всегда понимала, что теннис может закончиться в любой момент. Из-за травмы или в силу каких-то иных обстоятельств. Надо быть к этому готовым. С другой стороны, находясь долгое время на высоком уровне в теннисе, периодически просто необходимо на что-то переключаться. Я нашла такую отдушину в учебе. Для кого-то она обуза, а для меня это определенного рода времяпрепровождение. Конечно, бывает нелегко, но тем и интереснее. Раньше я возила с собой учебники. Сейчас практически все есть в электронном формате. Все, что тебе нужно, — это иметь при себе компьютер. В американском университете, кста-

ти, я получаю образование в режиме онлайн. При этом ты действительно учишься, познаешь много важного и интересного.

Что дальше? Мне интересны дипломатия, международные отношения. С английским языком у меня все в порядке. Если немного подтянуть испанский, он тоже станет вполне приличным.

В тренерской деятельности раньше я себя не видела. Но сейчас понимаю, что я накопила достаточно большой опыт и он может кому-то пригодиться, особенно тем спортсменам, которые уже прошли начальный путь в теннисе.

Впрочем, возможно, займусь каким-то совершенно новым делом. У меня есть свой благотворительный фонд, там тоже непочатый край работы.

— Расскажите поподробнее.

— У одних моих знакомых девочка больна синдромом Ретта, и они однажды попросили меня принять участие в этой проблеме, например, сыграть показательный матч, чтобы собрать средства для профильной международной ассоциации. Но в тот раз у меня не сложилось, я не смогла оказаться в оговоренный день в нужном месте, как ни старалась. Тогда я задумалась: а почему бы у нас в России не начать делать что-то в этом направлении? Узнала, что в стране нет организации, занимающейся помощью больным синдромом Ретта. Я нашла в Казани активную молодую женщину, у которой дочь страдала этим недугом, и предложила создать некую структуру. Сделать это в Москве оказалось проблематично из-за

всевозможных бюрократических сложностей и проволочек, а в столице Татарстана нам пошли на встречу. И у нас в итоге все получилось. Сейчас мы пополняем реестр нуждающихся в помощи. Уже зарегистрировали около двухсот семей со всей России.

Синдром Ретта — очень редкое генетическое заболевание, его крайне сложно диагностировать. Нужно проводить тесты. У нас в стране их можно сделать только в Москве. Первоначальный тест стоит порядка десяти тысяч рублей. И если он не подтверждается, делается второй, потом третий. Стоимость двух последних резко возрастает — тридцать тысяч рублей и пятьдесят тысяч. Не каждой семье это по карману. Мы стараемся помочь.

У нас сейчас сформирован штаб врачей, которые отвечают на вопросы родителей, подсказывают, как себя вести, что делать. В следующем году будем проводить в Казани международный конгресс по этой теме. Предполагаем, что приедут около пятидесяти ученых со всего мира.

Изначально я сама выделяла средства для деятельности фонда из своих призовых, которые получала при удачных выступлениях на турнирах. Сейчас через сайт фонда на его счет приходят пожертвования от неравнодушных к проблеме людей. Иногда удается найти спонсоров. Несколько раз я проводила спортивные аукционы. Например, Лена Дементьева предоставила для аукциона свою ракетку с Олимпиады, Александр Радулов — клюшку, Андрей Кириленко — кроссовки.

Так что не теннисом единым...

Беседу вел Борис Прокопьев

Фото автора и из личного архива Веры Звонаревой



Лоуэлл Ховард МОРРОУ



Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом зарубежной литературы журнала. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии зеленого листка в номинации «Начинающему автору» журнала за 2013 год. Выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета по специальности «перевод и переводоведение», в настоящее время учится в магистратуре Российского государственного гуманитарного университета по специальности «история».

Окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5 за 2015 год

ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В химической лаборатории корабля было все необходимое для создания жизни, собранное со всех уголков земного шара и даже с других планет. Тысячи лет как человек научился порождать живое. Он вызвал к жизни искусственной эволюцией извивающихся, корчащихся червей. Человекообразных обезьян с инстинктами повиновения, ставших его слугами. Большая часть употреблявшихся в пищу животных тоже была создана искусственным путем.

Омега, прекрасно разбирающийся во всех областях химии и биологии, намеревался создать спутника, с которым разделит долгое ожидание смерти. Он принялся за работу. Это занятие облегчило колющую сердце боль. Человек поместил реактивы в пробирку и смотрел, как эволюционирующие клетки начинают пульсировать жизнью. К тщательно выношенному хрупкому эмбриону он добавил лимфу, оплодотворил спер-

матозоидами и перенес в инкубатор под фиолетовые лучи радиации.

Росток жизни быстро развивался и скоро начал обретать форму. За месяц он занял уже половину инкубатора, к концу шестинедельного срока Омега выпустил его на свободу, а он все продолжал расти.

Поначалу человек испытал отвращение к порожденному им чудищу, ибо это было отталкивающее создание. Плоская широкая головка на косых плечах без шеи, короткие ноги и длинные руки (перепончатые, как у утки), свисающие ниже пояса, большущий торс. Видимых ушей не было, ноздри оказались дырками над широким, вечно растянутым в усмешке тонкогубым ртом. В больших круглых красных глазах не было ни единого проблеска интеллекта, а безволосая кожа с мелкими чешуйками прикрывала огромную грудную клетку уродливыми пластинами. Двигалось создание медленно и неуверенно: оно прыгало

подобно жабе, порождая с каждым прыжком глубокие гортанные звуки. Омега хотел создать человекообразную, но получилось не животное, не человек, не птица и не рептилия — карикатура на них всех. Безымянный ужас из мертвого чрева прошлого.

Невзирая на уродливость своего детища, Омега отнесся к нему с благодарностью. Существо могло послужить хоть каким-то спутником и, похоже, уважало создателя, так как склонилось перед ним и облизало руку. Красный язык постоянно вываливался из слюнявого рта, как у собаки в жару. За вечную жутковатую улыбку Омега назвал существо Усмехом. Ночь Усмех неподвижно проспал у ног создателя. Однако на следующее утро после первого дня нелепого товарищества Омега проснулся от его хриплого дыхания и холодного липкого пота, капающего изо всех пор на пол.

* * *

Весь первый день Омега удивлялся созданному феномену. Он заметил, что странное существо часто ходило к питьевому фонтанчику и лизало струю воды. В полночь он проснулся и заметил, что Усмех исчез. Человек не стал его искать. Тот вернулся к обеду. Плотная фигура, казалось, стала еще крупнее, и теперь создание ковыляло на всех четырех конечностях, оставляя за собой дорожку из пота. Странная тварь — Омега не мог подобрать подходящих для ее описания слов. Первое недоумение сменилось радостью присутствия рядом хоть какого-то живого существа. Усмех часто пропадал часами, но всегда возвращался сам. Омега видел, как тот карабкается по скалам или лежит на берегу под солнышком. Человек не мешал ему делать то, что он хочет. Между тем Усмех рос с пугающей скоростью. За три месяца он стал монстром весом в добрых полтонны, но остался таким же дружелюбным и привязанным к хозяину.

* * *

Омега редко выходил из домика. Намереваясь прожить как можно дольше в силу древнейших инстинктов сохранения жизни и не делать ничего, чтобы ускорить кончину, он тем не менее не делал ничего, чтобы отсрочить ее. Душой человек остался в прошлом и желал только одного — быть рядом с дорогими его сердцу людьми. Он часами просиживал, глядя на них и шепча в неслышащие уши слова, исходящие из самого сердца. Омега терпеливо ждал того дня, когда тоже сможет уйти на вечный покой, и уделял все меньше внимания

Усмеху, замечая лишь, что, подрастая, тот становился уродливее.

Как-то Омега направился на корабль за припасами. В последнее время он даже не смотрел на озеро, но на сей раз, повинувшись необъяснимому порыву, подошел к берегу и с изумлением заметил, с какой скоростью исчезает вода. Тело подводного чудища теперь лежало более чем в пятнадцати ярдах от кромки воды, хотя монстр был убит на самом краю озера.

Омега окинул последний источник влаги безразличным тоскливым взглядом. Внезапно его глаза округлились. Примерно в двадцати ярдах поверхность озера всколыхнулась, словно что-то гигантское бродило по его дну, потом мелькнула темная тень, показавшая сверкающий бок, прежде чем быстро скрыться под водой.

— О господи! Еще один монстр! Должно быть, спутница того... убитого Тальмой. Все это время мы сражались не с одним, а с двумя чудищами! И теперь эта тварь оспаривает мое право на воду!

Омега помрачнел, его сердце забило чаще. Былой дух воинственности пробудился в нем. Он считал себя последним представителем жизни на Земле. Он должен остаться последним. Никакая рептилия не заслуживает этой чести. Он убьет ее.

Две недели он ждал ее появления с атомным ружьем наперевес, но так и не дождался. Единственной присутствующей формой жизни был спящий в песке Усмех. Наконец Омега устал охотиться. Он решил, что когда-нибудь проведет по озеру ток, но спешить некуда.

Постепенно человек потерял всякий интерес к окружающему миру. Усмех приходил и уходил практически незамеченным. Он по-прежнему рос, но Омегу больше не интересовал. Даже сокровища в воздушном корабле лишились прежней притягательности. Безутешный, лишившийся надежды и все еще цепляющийся за жизнь человек проводил дни в компании мертвецов.

Несколько недель спустя холодным утром после бессонной ночи что-то побудило его пойти искать так и не появившегося Усмеха. За последние два месяца эти исчезновения участились, и в Омеге проснулось любопытство. По пути к озеру человек гадал, почему мысли об Усмехе пробудили в нем интерес, и снова подумал о необходимости убить нового монстра в озере. В озере? Омега остановился и вытаращил глаза. Озера больше не было! Остался только крохотный бассейн, в центре которого, ликуя, резвился... нет, не ожидаемый монстр — Усмех! Переросток барахтался в воде, как собака.

* * *

Человек рассмеялся скрипучим смехом. Перепутать Усмеха с новым чудищем! Последняя шутка, которую сыграла с ним жизнь!

Омега понял — гротескное творение его рук, в котором слилась жажда людей, животных, растений, птиц и рептилий, высасывало озеро, поглощало через поры, испаряло через пот, чтобы повторить процесс. Вода была его стихией и пищей. Из темных далеких веков долетел клич-мольба природы о влаге, нашедший свое воплощение в этой твари. Спутник человека вырос в ужасную угрозу, быстро подрывающую последний оплот жизни. Впрочем, Омегу это почему-то не волновало. Усмех выбрался на берег и разлегся под солнцем. Человек был лишь рад, что это не новая тварь из глубин.

Омега скользнул взглядом по трупу монстра, передернул плечами, подошел к Усмеху и уставился в жуткие глазки, моргнувшие в ответ. Пасть существа широко раскрылась. Пот непрерывно сочился из всех пор и капал наземь, чтобы быть поглощенным жадной почвой. На пару с солнечными лучами Усмех опустошал водоем с поразительной быстротой.

Омега взирал на свое создание с трепетом и удивлением. Внезапно Усмех начал корчиться и стонать. Глаза закатились, гигантская бочкообразная туша задрожала, длинные руки и ноги замолотили о землю. Похоже, существо стало жертвой собственного неумеренного аппетита. Обжора проглотил больше воды, чем могла принять его ненасытная утроба. Усмех бился в агонии, пот струился градом, из пасти вырывались жалобные стоны. Наконец все стихло. Последняя судорога — и тело замерло неподвижно.

Омега проверил пульс — его не было. Усмех умер.

Человек со вздохом вернулся в дом. Теперь он снова один, но его это не волновало. Осталось только приготовиться к Великому Приключению, суть которого, несмотря на все богоподобные достижения человечества, оставалась загадкой.

Почти исчезнувшее озеро вновь привлекло внимание Омеди. Чахлая трава давным-давно бросила попытки следовать за отступающей водой — теперь от нее осталась мертвая желтая полоска. Каждый день человек приходил к маленькому водоему и без малейших признаков страха или бес-

покойства смотрел, как тот испаряется. Даже в таких обстоятельствах Омега отказывался утолить жажду, выпив остатки воды. Он должен сражаться до последнего — таков долг и привилегия человеческой расы. Он должен сберечь бесценную влагу.

* * *

Настало утро, когда Омега не обнаружил никаких признаков воды. На месте озера остались коричневые камни да песок. Соляные кристаллы блистали под солнцем. С губ сорвался протяжный вздох. Час пробил! Остатки воды, когда-то покрывавшей большую часть планеты, исчезли, бросив человека наедине с мертвым прошлым.

Изнывая от жары и жажды, Омега воспарил над сухой гробницей озера. Наконец в самой низкой его точке, в расщелине обнаружилось чуть-чуть воды. Человек жадно вылакал ее, словно обезумевший от голода зверь, и облизал камень. **ТО БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ!**

Омега поднялся — покорный, смирившийся с судьбой, — и взглянул на небеса с благодарной улыбкой. Вода оказалась горькой, и все же он был признателен за то, что последние капли достались ему, а не солнцу.

Корабль резко взлетел в синеву, отправившись в прощальное путешествие по миру. Несколько часов спустя он вернулся. Больше он не понадобится. Его большие урчащие двигатели замолкли навсегда. Скоро их покроет вековая пыль. Они останутся памятником человечеству. Омега недолго побродил среди корабельных сокровищ — несмотря на свою священность, они оказались бессильны отразить протянутую длань смерти. Но человек все равно любил их. Тальма тоже любила их, они были игрушками Альфы, а их чудесная сила вселяла вдохновение и надежду. Человек нежно, от всего сердца попрощался с сокровищами предков, которые скоро станут подарками для смерти.

Завершив обход, Омега решительно взмыл в неподвижный воздух и повернулся к дому.

Горячее полуденное солнце, нещадно палящее мертвый мир, проникло в домик и триумфально заполонило ложе, где лежал рядом со своими любимыми Омега, последний человек. Большие глаза смотрели в пустоту, но на лице застыла улыбка покоя — печать последней мечты жизни.

А потом наступило безмолвие.

Перевод с английского Евгения Никитина.



Анна СЕВЕРИНЕЦ

Продолжение. Начало в № 5 за 2015 год

ПОВЕСТЬ ПРО БЕЛКИНА

Интересно было совсем другое. Малюсенькая повесть — а как изящно сделана. Ювелирно. Две части, в одной — рассказ Сильвио о выстреле графа (место действия — пустая мазанка с простреленными стенами где-то у черта на куличках), во второй — рассказ графа о выстреле Сильвио (место — богатая усадьба, стены в картинах, в российской глуши). Настоящая дуэль: сначала один выстрел, затем — второй.

И вот деталь. Помните, как Сильвио относится к книгам? Они у него, по словам рассказчика, «входятся», но он никогда не требует назад книжек, которые у него кто-то берет почитать, и никогда не отдает те, что взял сам. А теперь отлистаем на начало второй главы — рассказчик приехал в имение, армейские будни позади. Опять книги, только уже в доме рассказчика: те, что он нашел под шкафами и в кладовой, многократно прочитаны от деревенской тоски и выучены наизусть. Эх, будь я Сережкой Белкиным, я бы из одной этой детали наваяла доклад!

Но не могу же я есть и написать за него. То есть могу, но смысл?

Если уж быть первым среди других — то по праву, а не с чьей-то помощью. Не оттого ли взъелся Сильвио, этот бивуачный наполеон, на графа, первенствующего волею богатых предков и неразборчивой фортуны?

О, этот кинематографически идеальный образ: две пули, посаженные одна на одну, в картине, изображающей швейцарский пейзаж! Однажды они мне прямо приснились, эти две пули в мирной картинке, сконцентрированная и натренированная ненависть двух вполне симпатичных людей. А ведь подполковник И. П. Л в метафорическом смысле и есть ведь та самая картина, в которую обе эти пули вбиты, — именно ему пришлось соединить в себе две истории. Кстати, Пушкин даже не потрудился прописать психологическую подоплеку: с чего бы это именно с этим конкретным юношей так откровенничали и Сильвио, и граф. Сильвио, мол, отличал среди других (почему-то), а с графом — просто разговор зашел.

Что мы знаем об И. П. Л.? Молод, романтически настроен, небогат, неамбициозен. Чуть ли не Иван Петрович Белкин (случай-

но ли первые буквы одинаковые?), только подполковник — кавалерист, а Белкин — пехотинец, да и дослужиться Белкину до подполковника не довелось. Считается (Пушкин об этом где-то упоминал), что сюжет «Выстрела» подсказал Иван Петрович Липранди, забияка и бретер, приятель Пушкина времен южной ссылки. А сам Липранди, между прочим, возмущался, мол, ничего такого я Пушкину не рассказывал, и вообще, интересно было бы знать источник. Опять фейки. Ай да Пушкин, ай да...

Мне всегда был интересен именно этот человек — тот, в котором по воле случая оказались соединенными две чужие драмы. Зачем вышло так, чтобы он их узнал? Что он должен был с ними сделать? Хорошо Белкину (не моему, пушкинскому) — он что знал, записал и этим выполнил свой долг перед Мирозданием. А что с этим грузом должен был делать И. П. Л.? Разве что рассказывать всем кому ни попадя.

Не знаю, всем ли, но мне всегда было тяжело носить в себе чужие истории, особенно те, в которых чувствуется некий высший умысел. Я и рассказываю их напра-

во и налево, причем иногда — во вред героям, но я ведь это неумышленно, я просто не могу допустить, чтобы мое знание умерло во мне. Когда умирают люди — это тяжело, но понятно, все умирают, никто не бессмертен. Но когда умирают истории — это неправильно. Прожитая и зарифмованная в сюжет жизнь, событие, которое кто-то закольцевал немислимым образом прямо у тебя на глазах, — оно не имеет права умирать вместе с человеком. Рукописи не должны гореть, романы не должны оставаться в столе, истории не должны гибнуть на дуэли вместе с подполковниками. Не здесь ли главный пушкинский мотив, заставивший его все-таки закончить «Повести Белкина» — первые, между прочим, из его прозаических отрывков, которые были дописаны до конца?

А ведь романом Ивана Петровича Белкина, романом поздним и, очевидно, лучшим, ключница оклеила окна во флигеле. Только ли для смеха упоминает об этом Пушкин, притворяясь при этом безымянным соседом несчастного Ивана Петровича?

* * *

Сегодня внеклассное чтение по «Повестям», и мой Белкин получает «помощь зала» — обсуждаем прочитанное. Когда я задаю детям что-то на выбор, всегда с любопытством наблюдаю, что именно выберут.

Раньше, лет пятнадцать назад, мальчишки выбирали «Выстрел», девчонки — «Барышню-крестьянку». Кого-нибудь попутным ветром заносило, конечно, в «Метель» или «Станционного смотрителя», но это очень попутным ветром, если кому-то мама нестандартно подсказала. И почему-то единицы — один-два человека в параллели — читали «Гробовщика». Сегодня все по-другому. «Гробовщика»

читают повально, кое-кто утверждает, что читал «Барышню-крестьянку», а на самом деле кино посмотрел, а вот истории Сильвио, Маши и Самсона Вырина никого особенно не интересуют. Время такое: дети любят ужастики.

Поэтому я обычно лет уже пять кряду готовлюсь разбирать «Гробовщика».

Давайте-ка вчитаемся, говорю я детям. Вот самая первая фраза: «Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом». До первой запятой мы с вами абсолютно уверены, что Адриян Прохоров — мертв («последние пожитки», «похоронные дроги»). От первой до второй запятой находимся в недоумении: с чего бы это четыре раза возить мертвеца с пожитками? И, наконец, финальная часть фразы помещает нас в то самое «двоемирие», в котором непонятно где какая реальность: переселился ли гробовщик из мира живых в мир мертвых (недаром используется глагол «переселялся», а не, допустим, «переезжал») или сменил место жительства здесь, в настоящем мире. Атмосфера создана, пугающий загробный мир и непонятная реальность густо замешаны в узкой мензурке небольшой повести.

Дальше — самый настоящий Хичкок, и даже лучше, потому что раньше. Вот переход от яви, в которой Адриян участвует в развешенной пирушке, к мистическим событиям, в которых к нему явятся мертвецы: «С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим извести-

ем». То есть читатель абсолютно уверен, что гробовщик не спит — его разбудили. Прохоров начинает суетиться с похоронами Трюхиной, принимает у себя в гости мертвецов, пугается их до смерти — и просыпается. Оказывается, там, где автор написал, что гробовщика «разбудили» — это уже был сон. Но мы понимаем это только тогда, когда весь сон уже приняли за реальность. Каков Пушкин, а?

Заканчивается «Гробовщик» как будто бы ничем. Адриян, выяснив у работницы, что никакой купчихи Трюхиной и ночных гостей на самом деле не было, облегченно вздыхает и восклицает: «Ну, коли так, давай скорее чаю да позови дочерей». Однако читатель не может отделаться от ощущения тревоги: нет, не может все так просто закончиться, может быть, работница — сама мертвец? Может быть, потусторонний мир целиком поглотил Адрияна? В чем тогда смысл пушкинского хоррора, если все сейчас сядут и начнут просто пить чай?

И тут дети поднимают глаза в потолок и начинают мычать. А потом пробуют что-то сказать, но не в такт. А потом вот-вот — и соскучатся, как всегда над неразрешимой задачей. И тут я вынимаю из рукава главный козырь.

— А давайте-ка прочтем эпитафию.

Зачем эпитафия? Какой эпитафия? Их что, надо читать, эпитафии?

Еще как надо, дети.

Вот он, родимый, из Державина: «Не зрим ли каждый день гробов, Седин дряхлеющей вселенной?» Тут же вспоминается первая фраза, та самая, где пожитки Прохорова на похоронных дрогах (случайно ли фамилия гробовщика «Прохоров» и слово «похоронны» — практически анаграммы?) перевозили из дома в дом (гроб часто в народе называют «домо-

виной»), вспоминается неразличимость яви, в которой Прохоров пирует с сапожником и булочником, и сна, в котором он потчует мертвецов, — и до читателя медленно, но неотвратно доходит главная мысль: кто мы все здесь перед лицом Вселенной, как не мертвецы, настоящие ли, будущие ли...

Страшно. И детям страшно. Они прямо ежатся за партами. Не зря читали — нервам щекотно. И оттого, что нету здесь особенной кровавой физиологии или мясной натуралистичности, еще страшнее. Это вам не романтические сказки и аллегории, когда у читателя каждую минуту есть возможность захлопнуть книгу и сказать: «Ну и напридумывали». Это — реализм, и его не захлопнешь.

* * *

Над «Станционным смотрителем» Сережка мой и вовсе заскучал и даже порывался прогуливать факультатив. Напрасно я завлекала его будущими победами, пушкинскими тайнами и экскурсией в Вырино. Зато к нам начала приходить Лиза Калитина (ох, что будет, когда мы Тургенева начнем изучать! Вряд ли Лизины родители читали «Дворянское гнездо», такие простые, обыкновенные люди, но вот ведь совпадение). Лиза — девочка внимательная и скрупулезная, ей, как и мне, нравится не результат, а процесс, и мы всласть ковыряемся в пушкинском тексте, а Белкин сидит себе за соседней партой и делает вид, что внемлет, а сам просто сторожит Калитину.

Это так мило, что я совсем не ревную: на переменах Лиза куда-нибудь упархивает с подружками, а Белкин неприкаянно бродит по коридорам, задирая мимоходом младшеклассников и блуждая взглядом в пространстве. Но стоит Калитиной появиться — и взгляд немедленно магнитится к ее лицу,

или прическе, или фигуре, внутреннее беспокойство Белкина исчезает, движения становятся осмысленными, глаза — сосредоточенными, и с ним уже можно иметь дело. И всяк-то он старается до нее дотронуться — то бумажку на спину приклеит скотчем, то воображаемую ниточку от подола оторвет, то картинно упадет рядом и за талию схватится. Калитина принимает эти недвусмысленные свидетельства страстной любви совершенно спокойно и с небывалым достоинством. И вся эта любовь нисколько не мешает ей заниматься русской литературой, слышал, Белкин?

Вот что мы накопили в «Станционном смотрителе» с моей нетургеневской Калитиной.

Имя Самсон (древнееврейское — «солнечный») отсылает нас к библейской истории Самсона и Далилы: красивый и невероятно сильный юноша влюбился в коварную филистимлянку, которая остригла его чудесные волосы и лишила богатыря волшебной силы. Враги заковали ослабшего героя в тяжелые цепи, но как только волосы отросли, Самсон снова исполнился могущества, разорвал оковы и разрушил храм филистимлян — и под его обломками вместе с врагами погиб. Мужчина, лишенный волшебной силы влюбленной женщиной, богатырь, употребивший силу свою себе на погибель, — вот какими смыслами «отблескивает» солнечное имя Самсон.

Фамилия Вырин — несомненно, производное от названия почтовой станции Выра, за две станции до Петербурга на Смоленском тракте (подорожная фальш-гусара Минского выписана как раз из Смоленска в Петербург). Кстати говоря, архивисты подтверждают, что долгое время смотрителем в Выре был вдовый хозяин, воспитывающий в одиночку дочь. Правда, в отличие от неболь-

шого домишки на пустынном, впоследствии закрытом тракте, который описан в повести, Выра была крупной почтовой станцией: два каменных дома, конюшня, пятьдесят пять почтовых лошадей, столько же, сколько, например, было приписано к Луге или Новгороду. Так что фамилия Вырин для станционного смотрителя — это почти звание: наш, мол, человек, почтовый, исконный, настоящий.

И действительно, Вырин на станции — буквально на своем месте: «свежий и бодрый», на нем «длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах», бравый вояка почтового дела. Не «изверг рода человеческого», не «суший мученик четырнадцатого класса», как щедро сыплет определениями Иван Петрович Белкин в преамбуле к повести, а человек на своем месте, получающий удовольствие от своего труда. Обратим внимание, с каким рвением и усердием он «переписывает подорожную», «разлиновывает книгу», — каждый раз, появляясь перед читателем, станционный смотритель занят своим смотрительским делом.

А вот в этом месте Лиза моя даже сделала небольшое открытие. Бог с ним, как отнеслись бы к нему маститые литературоведы, но сколько научной смелости и исследовательской наглости в нем! Сражались мы с инициалами рассказчика А. Г. Н. Что за буквы? Почему именно такие? Среди друзей Пушкина и в его близком окружении, судя по подробнейшему справочнику Л. Черейского, ни одного человека с подобными инициалами не было, среди героев других пушкинских произведений — тоже. Однако именно эти три буквы начинают старославянское слово «агнец» — скромным, кротким, тихим, безобидным должен быть герой, поименованный «агном». Маленький человек, от которого

го в истории остался громоздкий, не приносящий особенных преимуществ титул, но не осталось даже имени-отчества — вот каков рассказчик «Станционного смотрителя». Поменьше даже Самсона Вырина.

На окне уютного домишки Вырина наш титулярный советник А. Г. Н. замечает горшки с бальзамин (деталь важная: когда А. Г. Н. приедет второй раз, именно отсутствие цветов на окнах покажет ему, что в доме смотрителя случилось несчастье). Бальзамин — цветок, любимый хозяйками издавна: красиво и долго цветущий, он наполняет комнаты солнцем и светом (совсем как маленькая Дуня). Народное название бальзамина — «недотрога»: стоит только задеть пальцем красивые цветущие коробочки, оттуда немедленно с треском вылетят семена (не так ли мгновенно и неожиданно «вылетела» из отцовского дома недотрога Дуня?). А еще этот цветок кличут в крестьянских домах Ванькой мокрым — на его листьях в ненастье появляются капельки влаги (совсем как слезы на глазах старика-смотрителя, вспоминающего свою Дуню).

Жизнь Вырина могла и должна была быть солнечной и светлой, но судьба неумолима. Прекрасный бальзамин не может не быть недотрогой, не может не плакать в дождь. Дуня не могла

скрашивать его дни до седой старости. Солнечный Самсон Вырин изначально обречен. И ведь не один гусар Минский виноват в его печальном конце: станция Самсона была обречена, поскольку тракт закрывался. Не зря эту деталь («Тракт сей уничтожен») Пушкин вписал в коротенький план будущей повести посреди черновых страниц «Гробовщика». Кто такой Вырин, человек с фамилией станционного смотрителя, без станции? Куда ему податься? Что делать?

Пожалуй, повезло одной Дуне: богатая коляска, трое симпатичных послушных детишек, дом в Петербурге...

Впрочем, стоит ли верить рыжему мальчишке, от которого только мы и узнаем о богатой барыне, рыдающей на могиле отца? Вспомним русские пословицы, традиционно шельмующие рыжих: «рыжий, красный, человек опасный», «с рыжим дружбы не води, с черным в лес не ходи», «рыжих во святых нет». Ванька дважды повторяет странноватому своему собеседнику, свернувшему с прямой дороги проведать старого смотрителя: «Дала мне пятак серебром — добрая барыня» (и ведь добился своего — заработал пятачок и от проезжего!). Рассказ Ваньки в своей стилистике ничем не уступает романтическим орнаментам Ивана Петровича Белкина (оцените деталь: финаль-

ный рассказчик — тезка перво-го): «Ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською». Может статься, что и Дуня не избежала общей участи маленьких людей, перемолотых жизнью.

Лиза с Белкиным еще этого не знают, но я-то слышу. Шумит, стучит, голосит почтовый тракт: то фельдъегерь ворвется в дом, требуя немедленно тройку, то почтенный господин замахнется нагайкой на служивого, то хмельной гусар провернет под самым твоим носом авантюру, а то и вовсе решением далекого и непонятного тебе правительства возьмут да и уничтожат дорогу... Не так ли живет свою жизнь старательный и аккуратный, но никому не нужный Самсон Вырин, исполнительный и терпеливый А. Г. Н., мечтательный Белкин? Маленький человек на большом тракте — есть ли у него шанс быть счастливым?

Пожалуй, трудно каждому из нас избежать участи станционного смотрителя, «почтовой станции диктатора», диктующего свои правила на станции разве что в безбожно переименованных стихах князя Вяземского, которые с преднамеренными ошибками цитирует в эпиграфе к «Станционному смотрителю» безжалостный шутник Пушкин.

Окончание следует.

г. Минск



Ольга СОЛНЦЕВА

Ольга Солнцева (Папкина) — член творческого объединения «Облака вдохновения». Кандидат социологических наук, автор двух учебников, сценарист документального фильма «Остаться в строю». В 2012 году выпустила сборник стихов «Что принтер напечатал». Постоянный автор порталов proza.ru, stihi.ru.

КИТАЙСКИЙ ФОНАРИК СЧАСТЬЯ

Иллюстрация Анастасии Ящуковой

Заседание поэтической тусовки подходит к концу. На маленькую сцену поднимается Боря Ветров, известный в узких кругах как Черный Барон. Что подтолкнуло его подписывать так свои творения, не знает никто, возможно, даже он сам. В нашем клубе почти у всех есть псевдонимы — каждый прячется за вымышленным именем и пишет доносы на самого себя. Мы встречаемся по пятницам и зачитываем друг другу свои творения.

Боря сегодня такой харизматичный! Высокий, статный, с горящим взором и раскатистым баритоном. Энергично жестикулируя, читает наизусть давно знакомый мне поэтический текст.

Юная Алечка сидит во втором ряду и с упоением слушает мэтра. Глядя на ее серый свитерок, потертые джинсы и стоптанные сапоги, сразу скажешь, что она — самая обыкновенная московская студентка, которая днем слушает лекции, а по вечерам тусуется в районе Арбата. В нашей довольно взрослой компании она новичок.

Делая паузу, Боря бросает юной поэтессе скупую улыбку.

Та в ответ тоже улыбается и кивает хорошенькой головкой. Скорее всего, они друг другу симпатизируют.

Я сижу в сторонке и украдкой наблюдаю за происходящим. У меня сегодня нет новых текстов, чтобы порадовать друзей-графоманов. Сестры Эрато и Эвтерпа что-то давно не заходили ко мне в гости. От усталости я закрываю глаза и прислоняюсь к шершавой стене. Секунда — и я становлюсь моложе на четверть века, маленький полуподвал превращается в большую и светлую Коммунистическую аудиторию, а на сцену выходит высокий и статный человек с горящим взором и раскатистым баритоном. Он рубит воздух рукой и растягивает слова.

Это тоже Борис, только другой. Так вот, оказывается, кого мне напоминает Боря Ветров!

Как-то в середине *перестройки* Б. Е. приезжал к нам на факультет журналистики. Его к тому времени уже отстранили от руководства Московским горкомом и больше не давали площадок для выступлений. Послушать *опального лидера*

собралось так много народа, что не все желающие смогли попасть в Большую Коммунистическую. Мне повезло — встреча была сразу после лекции по русской литературе, и я так и осталась сидеть во втором ряду. Я слушала Б. Н. и кивала в такт каждому слову.

Ах, с каким вдохновением он говорил о *демократии* и *справедливости*!

И как мы ему тогда аплодировали...

Так вот, Алечка заворуженно слушает Черного Барона. Тот же, в отличие от тезки, вдохновенно презирает власть и обожание женщин. У него, например, есть такие строки: «Я ухожу от любовниц без слез, без прощаний...» Как истинный поэт, он совершенно не вписался в наступившую эпоху. Поэты вообще плохо *вписываются* при жизни.

Боре, как и мне, скоро пятьдесят. Чтобы в него влюбиться, нужна редкостная наивность или попросту глупость. Алечка в сером свитере страстно аплодирует истинному поэту.

Почему-то серых мышек всегда привлекают харизматичные.

Наша юная гостя учится на журналиста. От нашего подвала до здания на Моховой всего-то десять минут ходу. Наверное, Алечка, как и я когда-то, тоже мечтает о любви и славе. Впрочем, мы почти не знакомы, и я не вправе судить о ней.

Я пытаюсь представить себя в сером свитере, джинсах и стоптанных сапожках, только на четверть века моложе. Интересно была бы меня политика? Демократия? Справедливость? Вряд ли. Мои нынешние студенты аплодируют лишь *правильным* лидерам, а в социальных сетях пишут о большой и светлой любви, которую им так хочется по-встречать. Еще они выкладывают свои фотки — на пляже, в ресторане и на профессиональных мероприятиях. Я ставлю всем «лайки» — мне, правда, очень нравится нынешняя молодежь.

Юная Алечка — тоже отчасти сетевой персонаж. У нее еще нет псевдонима, поэтому на известном портале она подписывает свои произведения просто «Аля Зайцева». На прошлом заседании она в первый раз представляла свои стихи *офлайн*. Один, помню, был про несчастного старика, другой — про несчастного художника, а третий — про несчастного ученого и такого же несчастного ученого кота.

Помнится, я еще подумала: какой-нибудь несчастный кот обязательно вскарабкается к ней на шею.

Я приветливо улыбаюсь юной поэтессе, но она лишь отворачивается. Наверное, обиделась за критику.

В прошлый раз мы устраивали друг другу разбор полетов. Теперь я понимаю, что указывать неопытной сочинительнице на отсутствие рифмы и ритма было с моей стороны верхом жестокости.

— Да откуда ты знаешь про несчастных в свои девятнадцать?

Пиши о чем знаешь, что сама пережила!

Боря грудью встал на защиту Алечки:

— Пусть пишет о чем хочет! Это ее право как автора. И не надо никого тут учить!

Его поддержали и другие стихотворцы. Я была посрамлена со своим стремлением оценивать всех *по справедливости*.

Заседание подходит к концу. Борис по-джентльменски помогает своей новой поклоннице облачиться в потертый пуховичок и сам вписывается в куртку секонд-хенд. Широким жестом он закидывает за одно плечо длинный вязаный шарф, а за другое — старую спортивную сумку.

Я смотрю вслед Але Зайцевой и Черному Барону. Из его черной сумки торчит что-то рыжее и круглое.

— Тоже мне, *Бродский* нашелся!

Это поэтесса Натэлла. Она уже давно на пенсии и не пропускает ни одного литературного салона. У них с Бароном натянутые отношения. Она уже надела свое норковое манто.

— А у меня для тебя сюрприз!

В нашей тусовке принято обмениваться книгами. Кто-то готов подарить тебе свой новый сборник совершенно бескорыстно, а кто-то просит сто рублей и больше. Что делать! Издаваться по принципу «сам себе спонсор» выходит далеко не у каждого. У Натэллы вышло уже четыре книжки. Для нового диска она нашла не только спонсора, но и композитора.

Мне жаль ста рублей, но не хочется обидеть приятную знакомую.

— Напиши мне хороший отзыв на портале! — говорит она, протягивая «сюрприз».

Ничего не поделаешь — придется расплачиваться *пиаром*. Твор-

ческая личность просто засыхает без комплиментов. Об этом лучше всех когда-то написал Окуджава: «Давайте говорить друг другу комплименты — ведь это все любви счастливые моменты!»

Конечно, я напишу ей приятные слова. Я надеваю свое потертое китайское пальтецо:

— Вам к метро?

В центре Москвы этот вопрос звучит верхом глупости, особенно в среде пишущей братии. Я очень удивлюсь, если у кого-нибудь из завсегдаев поэтических вечеров есть собственное авто.

На вечернем Арбате сияют неоновыми вывески магазинов. За большими окнами кафе заезжая и местная публика наслаждается общепитом. Вывески отражаются в мартовских лужах, точно разноцветные звезды. В Москве в середине марта очень переменчивая погода. Выходя из кафе на улицу, надо быть очень осторожным, чтобы не промокнуть или не поскользнуться.

— А знаешь, — говорит Натэлла без всяких предисловий, — по-моему, эта новая девочка влюбилась в Черного Барона.

— Да что вы! — делано удивляюсь я. — Не может быть!

Мы цепляемся друг за дружку. Конечно, нам по пути.

— Да, погодка! — вздыхает моя спутница. — С утра был дождь, а сейчас подморозило. — Так как ты думаешь, влюбилась или нет?

Я уже жалею, что не свернула в другую сторону.

Минуты две мы идем молча, точно поссорившиеся родственницы: и не разойтись, и не поговорить по душам.

Вдруг приятная знакомая толкает меня под ребра:

— Смотри, вон фонарик счастья полетел!

Здрав голову, я тщетно вглядываюсь в темное небо.

— Да вон же, вон! За «Самоцветами», — направляет мой взор Натэлла.

Я пытаюсь понять, что она имеет в виду:

— Над старыми «Самоцветами»?

Тридцать лет тому назад на Арбате был только один магазин, где продавали золото и драгоценности. Зато сейчас ювелирные на каждом шагу. Яркие баннеры в сияющих витринах обещают скидки на бриллианты. Как тут заметить маленький фонарик?

Но я его замечаю!

Оранжевый огонек, точно восходящая звездочка, медленно поднимается где-то над Кривоарбатским. Я вспоминаю, как такие же фонарики видела в позапрошлом году в Крыму. Там отдыхающие запускали их каждый вечер, а утром по всему пляжу валялись острые кругляшки из-под свечей. Один раз я сильно напоролась.

— Да, — вздыхает Натэлла. — Вот так и мы. Когда что-то горит внутри, тебя словно вверх несет. А как только потухнет — ты уже на земле.

Я рада, что она переменяла тему.

— А вы верите в то, что они приносят счастье? — зачем-то спрашиваю я.

— Конечно, нет, — вздыхает она. — Я все же кандидат наук. Но знаешь, — в научной даме просыпается лирическая поэтесса, — однажды я сама запускала такой фонарик. Это было в Крыму. Слушай, в каком же году это было, а?

Теперь уже моя очередь менять тему. Я не люблю слушать истории про несчастную любовь. Об этом лучше всех написал Окуджава: «Девочка плачет, шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит...»

— А вам нравятся стихи Окуджавы?

Памятник Булату как раз перед нами.



Теперь молчит Натэлла. Наверное, ей тоже вспомнился южный вечер и пьянящий крымский воздух. Мы обе, как по команде, оборачиваемся: а вдруг там еще один фонарик счастья полетел?

— Все-таки в счастье надо верить, — вздыхает сочинительница романсов и улыбается железному Булату.

Тот стоит в расстегнутой куртке и каких-то несерьезных коротких брюках. Руки он засунул в карманы, как провинившийся двоечник. У него за спиной нет гитары.

Спускаясь в гулкой вестибюль, я ловлю себя на мысли, что китайский фонарик, скорее всего, запускал не кто иной, как Черный Барон. «Да нет, ерунда это, —

возражаю сама себе. — Он же взрослый человек!»

Как-то одна писательница призналась мне, что у нее не получается выдумывать литературных персонажей:

— Ну просто не могу написать: «Иван Иванович стоял у окна». Какой Иван Иванович? У какого окна? Надо писать о том, что знаешь.

Я плохо знаю Борю Ветрова. Кроме графомании и возраста, у нас с ним нет ничего общего. Я не могу себе представить, что мужчина под пятьдесят и девушка, которой всего девятнадцать, вместе зажигают свечку и загадывают одно желание на двоих. Хотя, если слегка напрячь воображение, то на Старом Арбате можно представить и Пушкина под ручку с девятнадцатилетней Натальей Гончаровой.

Поезд грохочет по тоннелю. За стеклом мелькают яркие подземные фонари. Если на них долго глядеть, то можно ослепнуть. А на фонарик счастья даже наглядеться не успеешь — маленькая свечка сгорает минут за пять.

Интересно, о чем они загадали?

В следующую пятницу поэтический вечер проходит без меня. По вечерам я теперь преподаю копирайтинг: учу будущих специалистов по рекламе сочинять яркие тексты. В наших слоганах нет ни ритма, ни рифмы, но я никого за это не критикую. Сама я никудышный продавец — не умею продавать мечту. Мои коллеги — милейшие люди — учат будущих рекламщиков и пиарщиков доброму и вечному. Нам, выпускникам гуманитарных вузов, тоже надо как-то зарабатывать на жизнь.

Уже перед самой сессией коллеги Ю. Е. делится любопытной новостью:

— Представляете, у меня на факультете журналистики одна второкурсница сорок тысяч отдала какому-то прохвосту. Ей родители дали за институт заплатить, а она — ему. Я ее спрашиваю: «Как же так?» А она: «Вы ничего не понимаете — он поэт!» Жаль, способная девушка была. Может, еще восстановится.

Ю. Е. допивает свой чай и уходит читать лекцию по русской литературе. Студенты ее уважают и побаиваются. Она заставляет их учить наизусть «Я помню чудное мгновенье...».

Неужели она и в самом деле отдала ему?

В самом начале сессии у меня наконец-то появляется время на поэтические тусовки. Я вновь отправляюсь на Арбат, в маленький подвал в Большом Афанасьевском переулке.

К моему удивлению, никого из пишущей братии в заведении больше нет. Теперь здесь собираются совершенно незнакомые люди. Они сидят рядками на мягких диванчиках и смотрят на большой экран. Рядом с ним стоит высокий и статный мужчина и вдохновенно говорят об эффективных продажах.

— Стоимость участия в нашем семинаре тысяча рублей, — вежливо дергает меня за рукав сублинный юноша. — В стоимость входит кофе-брейк.

Я спешно ретируюсь. Продавец счастья из меня никудышный.

«Эх, зря она все-таки заставляет их учить Пушкина! — почему-то со злостью думаю я про коллегу. — *Продажники не читают стихов!*»

На Арбате по-весеннему многолюдно. На каждом шагу встречаются нарядные парочки и шумные компании. Кто-то смеется, кто-то жует, кто-то пьет из бумажного стаканчика. Посредине улицы стоит черно-белая пластиковая корова — реклама сетевого кафе. Кто-то обнимается с ней, а кто-то — с железным Булатом. На Арбате принято фотографироваться — здесь столько всяких достопримечательностей. Вот, например, дом, где после свадьбы жили Пушкины.

«На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает и птичка вылетает...»

У Булата Шалвовича были такие грустные песни!

Дома пытаюсь найти страничку Алочки Зайцевой на известном портале, но ее будто корова языком слизнула. Ни несчастного художника, ни несчастного кота в Сети больше нет. В эпоху виртуальных коммуникаций так много неизвестных поэтов! Чтобы стать поэтом известным, надо получать побольше отзывов — неважно, хороших или плохих. Удаление своей странички — это практически дуэль онлайн.

Да! Я же Натэлле отзыв обещала! Ой, как у нее много новых текстов...

Справившись с заказухой, я спрашиваю приятную знакомую о последних новостях.

«Алечка куда-то пропала, — тут же отвечает она. — Барон снова с N. N.».

Собственно, вот и вся история. Я не знаю, что случилось с Алей, а придумывать не хочу. Она уже взрослый человек. У нее могут быть свои стихи и свои романы. История русской литературы говорит о том, что в двадцать лет можно стать известной поэтессой.

Конечно, если напрячь воображение, то этот рассказ можно закончить так.

Через несколько дней, когда мы встретились в кафе на Арбате, Алечка рассказала мне, что они вместе с Бароном действительно запускали фонарик счастья, а потом он попросил у нее денег взаимы. На следующий день она принесла ему обещанные сорок тысяч, которые он впоследствии так и не вернул.

Это был бы реалистический финал.

В пессимистическом варианте несчастная любовь обернулась бы не только финансовыми, но и прочими проблемами. Беременность, уход из дома... Брр! Не нужны мне такие финалы!

Лучше уж вот так.

Через год я встретила Алечку на церемонии вручения премии «Народный поэт». Она была в изящном декольте, и ее вел под руку известный критик. Подающую надежды поэтессу номинировали на золотое перо, но вручили только серебряное.

Или вот еще вариант.

Алечка бросила свой журнал и устроилась репортером на телеканал «Культура». Теперь она долгожданный гость на всех

поэтических тусовках. Встретив на одной из тусовок Черного Барона, она пообещала ему сделать черный пиар. Борис осознал, что был неправ, и вернул долг с процентами.

Я верю, что когда-нибудь Алечка станет известной поэтессой. Чтобы писать хорошие стихи, надо в первую очередь самому испытывать высокие чувства.

Любовь и сострадание объединяют нас независимо от пола и возраста. Когда тебе очень плохо или, наоборот, невероятно здорово, то ритм и рифма готовы подхватить тебя и понести ввысь — над всеми радостями и несчастьями. Став маленькой точ-

кой в поэтической Вселенной, твоё стихотворение подарит кому-то надежду.

А мне уже пора спешить: сегодня в моем институте последний экзамен по копирайтингу. Я с легким сердцем поставлю всем «отлично». Поезд с грохотом несется по туннелю, и я прячу глаза от слепящих фонарей.

И вдруг:

— Уважаемые пассажиры!

Ваше хорошее настроение пришло к вам прямо сейчас.

Какой знакомый баритон!

— Китайские фонарики счастья — их можно запускать вместе с любимой девушкой, вместе с ребенком, вместе с друзьями! Пока

фонарик летит вверх, загадывайте любые желания. Они обязательно сбудутся! Самые романтические встречи, самые незабываемые впечатления! Один за сто, три за двести, пять за триста и десять всего за пятьсот рублей. Настройтесь поскорее, потому что завтра я приду к вам опять!

По переполненному вагону пробирался высокий статный мужчина в засаленной куртке. В одной руке у него была грязная черная сумка, в другой — оранжевый бумажный шарик. От продавца китайских фонариков на весь вагон несло перегаром. Я закрыла лицо газетой. К счастью, поезд подошел к моей станции.

г. Москва



Зулкар ХАСАНОВ

Продолжение. Начало в № 5 за 2015 год

СУДЬБЫ (СТРОКИ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ)

ПОВЕСТЬ

5.

Война стремительно шла по Европе к своему финалу. Какую же гордость и радость вызывало взятие нашими войсками городов, захваченных фашистами!

Пришла весточка и от Эльвиры. Она с большой горечью писала, что очень сожалеет по поводу письма Михаила: «Миша, я не понимаю твоего решения: твоя

любовь ко мне будет нечестной, потому что ты увечный? Почему? Эта же не твоя вина — война. О своем ранении ты ничего не написал. Я огорчена, расте-

ряна, видимо, судьба моя такая. Страшно мне обидно, что я теряю свою любовь и надежду. Записалась добровольцем на фронт. Прощай!» Получив письмо Эльвиры, Миша долго не находил себе места, рыдал и корил себя тем, что глупо поступил, написав скоропалительно и неразумно. Оправдания не находил, кроме слов «буду мстить фашистам».

Вот так жизнь раскололась надвое, как любимая чашка. Теперь все это необходимо как-то склеить. И Миша спросил у Галины Николаевны и Полины, как они отнесутся, если он привезет младшего брата к себе. Галина Николаевна и Полина дали свое согласие. Мишины братья жили вместе с отцом и сводным братом от первого брака.

И, наконец, в мае 1945 года — Победа! Сколько было радости, ликования! И слез, ведь сколько людей погибли безвременно от разрушений и бомбежек. Нужно быстрыми темпами восстанавливаться. Миша и Галина трудились по-прежнему не покладая рук. Миша писал письма домой своему отцу, братьям. Отвечал на письма Миши всегда его младший брат Саша.

Решение принято. И в апреле 1947 года он поехал за младшим братом на Урал, чтобы привезти его к себе, чтобы Саша почувствовал домашний уют, да и учебу в школе нужно продолжать. Старший Евгений уже помогал отцу — работал.

Поездка Мише далась нелегко. Хлынул поток воспоминаний о довоенной встрече с любимой Эльвирой. А как расценить свой поступок после госпиталя? Правильно ли он поступил с Эльвирой, не рассказав о своем ранении, сразу отрекшись от своей любви? Чувствовал угрызения совести, предательскую слабость. Но все-таки,

набравшись духа, решил навестить свою бывшую любовь.

Дом обветшалый с соломенно-глиняной крышей, забор, обвалившийся во многих местах: руины любви. Открыла дверь пожилая женщина в халате. Миша поздоровался. Хозяйка дома Ирина — мама Эльвиры — признала Мишу, обняла и поцеловала.

— Ирина Владимировна, а когда можно увидеть Эльвиру? — спросил Миша.

— Увидеть ее теперь невозможно, ее нет в живых. После твоего письма она добровольно ушла на фронт, и вскоре пришло извещение о гибели на Ленинградском фронте.

Ирина Владимировна расплакалась. Миша обнял обездоленную женщину (ее муж тоже погиб на фронте). Они стояли в пустой комнате, рыдая, не в силах расстаться. Решив взвалить вину за гибель Эльвиры на себя, Миша дал телеграмму директору школы, написав, что задерживается дня на четыре у себя на родине, хочет оказать посильную помощь вдове.

Ирина Владимировна пробовала было отказаться от его помощи, узнав, что он крайне занятый человек в школе, у него сейчас десятый класс, да и вообще забот полон рот. К тому же и соседи — очень добрые люди — относятся к ней хорошо и постоянно помогают.

Дом старшего брата, у которого жили отец и братья, — деревянный, изрядно перекошенный, нары и стол, большая печь русская в пол-избы. Жили бедно, как и другие семьи того времени. Миша отпросился на несколько дней, но гостить особенно времени не было. Отец и его старший сын Евгений ехать на новое место наотрез отказались. Отец боялся покинуть родную деревню, а Евгений устроился работать на торфяниках. Да и время непростое. Даже со станции куда-либо добраться — и то проблема.

Миша попрощался со своей деревней, как с прошлым расстался. Машинисты толкача-паровоза согласились подбросить их с братом Сашей до первой станции в бункере, куда загружали уголь для топки паровоза. Доехали до первой станции, вышли чумазые, грязные, как из преисподней, дальше толкач не шел.

Конечно, до Саратова добраться таким макаром — задача не из легких. Сели в товарный вагон поезда, который стоял на этой станции. Вагон пустой, в нем, видимо, перевозили цемент или мел. Ночью тронулись, но где будет следующая остановка, никто не ведал.

Ветер гуляет по вагону, как тать. Двери пульмановского вагона открыты настежь, в вагоне разыгралась пыльная буря, разъедающая глаза.

Поезд остановился, и не знал никто, какая это станция, сколько будет стоять, когда он поедет.

Из вагона прыгали в ночь, как в неведомое, еле разыскивали людей, у которых узнали, что до следующей станции километров восемнадцать. И пошли пешком вдоль железной дороги.

Рабочий поселок, станция, пригородный поезд. Ночь, фонари, хмурый день.

Наконец устроились в первый попавшийся поезд, и, о счастье, он доставил их в Куйбышев (ныне Самара). Оттуда — на речной вокзал на Волге. По дороге, почувствовав голод, купили на местном рынке буханку хлеба и морсу и с аппетитом их умяли. Им достались билеты в каюту четвертого класса, в самой нижней части трюма.

Хороша Волга-матушка. Сколько людей, сколько судеб повидала она. Берег проплывает мимо, как жизнь. Что там за излучиной?

Добрались до станции Саратов-2, откуда обычно селяне уезжали домой на грузовых попутных машинах, следующих за дровами в Широко-Карамышский район. Им повезло.

На их призыв остановился грузовик военных лет, автомобиль ЗИС-5. Прокопченный, выдавший виды!

Наконец-то удача. А в кабине — угрюмый, небритый детина лет пятидесяти.

— Будьте добры, довезите нас до деревни Д.

— Садитесь, — коротко сказал хозяин автомашины.

— А сколько с носа?

Хозяин вынул сигарету, сплюнул и сказал, как отрезал:

— Да не корова же нужна мне от вас, гоните с носа по пятнадцать рублей — и будете доставлены к месту в лучшем виде.

На том и порешили.

А жизнь не стояла на месте, не ждала парней. Но Миша несколько нарушил ее мерное и неуклонное течение, по случаю приезда брата собрав семейное совещание.

За обедом познакомил всех с Сашей, и для Александра началась совершенно другая жизнь в незнакомой ему семье.

Саша учился в пятом классе, но не успел его окончить. Пошел осенью в шестой, помог Миша.

Но головоломные теоремы из геометрии с биссектрисами и гипотенузами основательно доставали. Да еще к тому же все нужно выучить наизусть. Но будучи смысленным мальчиком, да и старший брат всегда под рукой, Саша успешно преодолевал предметы шестого класса, вскоре даже стал хорошистом. Миша, конечно, радовался его успехам. А Александр заскучал было, непросто ему вдалеке от своей малой родины. Когда оставался один дома, частенько лежал на траве во дворе и плакал по отцу и брату Евгению. Но слезы никому не показывал, нельзя — он же мужчина. Так он быстро влился в новую семейную жизнь, полюбил сына Борю, хотя и не родного. Боря подрастал, оба они стали настоящими помощниками Миши и Полины: ухаживали за скотиной, убирали сено,

таскали дрова. Особенно нелегко было поливать огород, где каждый год сажали множество помидоров, огурцов, капусты. Саратовская земля жаркая, если не поливать — все быстро засохнет.

Послевоенная разруха, голод, почем фунт лиха — знала каждая семья. Но люди не унывали, откапывали прошлогоднюю картошку, пропускали через мясорубку и пекли лепешки. Картошки и овощей сажали много. Да к тому же собирали крапиву, одуванчики и вообще все, что сгодится в пищу, особенно весной, готовили супы, забелив неприкосновенным запасом муки.

Иногда Полина пекла хлеба подовые, один-два хлеба. Большие и с хрустящей корочкой — они пахли жизнью. Миша отрезал хлеб очень экономно, чтобы хватило надолго. Но голод не унимался.

Однажды, когда никого дома не было, Александру захотелось хлеба, хоть плачь. И он, воровато озираясь, решил рискнуть — отрезал тоненький кусочек, чтобы было незаметно. Нож острый, приложил хлеб к груди, но отрезал вместе с тонким ломтиком хлеба и кусок мякоти большого пальца. Побежала кровь. Хлеб быстро положил на полку, вытер кровь на столе, на полу, перевязал быстро палец тряпкой. Менял ее несколько раз. Рана долго не заживала. А шрам на пальце, как напоминание об этом случае и голоде, который точил желудок днем и ночью червем, сохранился до сих пор. О ломтике хлеба, наверное, догадались, но о раненом пальце Александр никому не сказал.

Как ни тяжел был 1947 год, но и он подошел к концу.

Настала, совсем, надо сказать, вовремя, денежная реформа, в магазинах стали появляться товары. Миша с Полиной загодя делали зимние запасы. Овощи,

картофель были свои, сахар, муку покупали в магазине.

Время несется стремглав. Вот уже Александр окончил семь классов. А вот он уже — студент Саратовского электромеханического техникума, где проучился полтора года, и его уже призывают в армию.

Время летит, как будто я сижу и листаю старый альбом с фотографиями. Но за этими фотографиями — годы жизни...

В армии Саша отслужил пять лет. Вернувшись, окончил техникум и поехал по направлению в город С. на Южном Урале. Около десяти лет работал на разных должностях.

Перелистываю страницу памяти. И вот уже 1966 год. Александра перевели на должность главного инженера одного из предприятий города Калуги.

Все меняется. Наши герои уже немолоды. Мишу перевели из Широко-Карамышского района в среднюю школу деревни И. Базарно-Карабулакского района.

Жизнь входила в плотную колею. Братья переписывались. Родня, как никак. Неродной сын Боря служил на Северном флоте, приезжал в отпуск, потом остался на сверхсрочную службу. Все гордились, что в их семье — моряк!

Галина Николаевна, старая женщина, трудолюбивая, которая вырастила дочь Полину и внука Борю, стала немощной, но держалась и помогала семье по возможности.

Но в начале шестидесятых сдала, врачи разводили руками: старость. Умерла эта русская женщина тихо в семейном кругу, как и жила.

Но для Полины и Миши — событие тяжелое и непоправимое, такова уж природа жизни, и с этим не всегда возможно справиться. Похоронили Галину Николаевну в деревне Д.

Продолжение следует.
г. Калуга



Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2014 год, в № 1, 2, 3, 5 за 2015 год

ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Рисунки автора

В то же время я все более отчетливо понимала: за той его гневной речью, за той ненавистью что-то пылало, была какая-то неразрешенная загадка. И то, что я хотела спрятать от него в своем сердце, отчаянно выдавало тело...

Наше с Костей предприятие, которое мы назвали «Сюрприз», продвигалось к концу. Было много неожиданностей: Костя, облачившись в костюм паука, обвязавшись резиновыми веревками, тренировался со мной.

Он падал с огромного дуба, хватал меня под мышки, и мы взлетали вверх, вернее, должны были взлететь. Таким был примерный наш замысел. Но я жутко боялась высоты и еле сдерживала визг, пару раз мы оба падали. Наша страсть стала неуправляемой...

То, что было во мне призрачным желанием, — стало плотью, что было обжигающей печалью — стало воспоминанием. Алая краска расцвечивала губы, разыгравшаяся кровь молодила тело.

Глядя в зеркало, я себе нравилась. Костя затащил меня в спальню Элеоноры и вытащил из шкафов ворох разноцветного белья. Примеряя алые и пурпуровые шелка, я оценила их пьянящую силу! Я себя не узнавала: в этой пене белоснежных кружев, в прозрачных платьях из одних тонких нитей и жемчужных узелков я была светло-лазурной, малиновой, нежно-кремовой — не было конца этому волшебному видению...

Как же я вообще существовала раньше? Каждая хрустальная бусина, драгоценное ожерелье из рубинов или кораллов добавляли мне изящества и шарма. В дорогой одежде я сияла, как бриллиант в короне. Каждый цвет неуловимо менял меня, но больше всего мне шло белое платье из легких полотен шифона, скрепленных между собой лишь серебряной цепочкой. Я грациозно распахивала руки, поднималась на цыпочки, ах, что за прелесть!

Я танцевала какой-то необузданный танец, посвященный

богу Солнца. Костя лежал на господской кровати и, подперев кулаками лицо, с ленивым удовольствием наблюдал за мной. Но когда я слишком неосторожно порхнула мимо, он молниеносно, одним движением привлек меня к себе...

Наконец приготовления были закончены, все действия тщательно отрепетированы. Ситуация была полна опасностей, признаться, это было чистым безумием. Неосторожным движением можно было сбросить ребенка на плиты, покалечить или погубить его. Но ничего уже нельзя было исправить, оставалось только идти вперед.

Ночью я впервые подумала, о чем мечтал мой сын. Кажется, хотел сняться в кино, но я долго не могла вспомнить, в каком. Приходилось признать, я совсем не знала своего ребенка. Мой сын, Паша Седов и Артур были чем-то неуловимо близки, и я впервые предположила, что гены атлантов — почему нет? — проявляются в современных людях.

Почему так похожи люди, будто они с одной планеты? Подумаю об том позже.

Ранним утром я заманила Артура в сад. Я везла коляску вдоль деревьев и несла полную чепуху, боясь взглянуть вверх. Костя задерживался. Он должен был прыгнуть, когда я подходила к мраморной арке. Я сделала ровно два шага вперед. Еще раз и еще, туда и обратно несколько раз... Я забалтывала Артура, как могла. Видела ли я демонов, и существуют ли демоны компьютерных игр? Я не очень охотно поддерживала эту беседу, но в этот раз пришлось подробно и обстоятельно удовлетворить любопытство мальчика. Так как лично демона я не видела, то впервые отважилась поведать личную тайну — про синюю женщину, что хлестала меня плетью. Пришлось подключить всю свою фантазию и повисить голос — наверху что-то скрипело и звякало. Странное дело! Увлеченный рассказом, Артур ничего не слышал и не видел, я же боялась поднять голову и посмотреть, что случилось.

Наконец когда я потеряла терпение и решительно направилась к дому, сверху свалился Костя в костюме паука, выхватил Артура из коляски и упорхнул с ним в небеса — тот едва успел пискнуть. Я закричала, глаза от волнения налились влагой. Когда все закончилось и Артур был благополучно водворен мне в руки, мне показалось, что прошло всего несколько секунд. Но Костя впоследствии бил себя кулаком в грудь, утверждая, что полет длился очень долго. Я усадила Артура в коляску, он тяжело дышал и казался невменяемым.

— Боже мой, Артур, — натурально заволновалась я, — что это было?



— Это Человек-паук! — ответил он, глядя на меня, как полоумный. — Он и ко мне приходил!

Какой это был еще ребенок! Как он мог, такой чуткий и внимательный, не разглядеть подделки?

Но он действительно поверил в то, что к нему приходил его любимый герой. И приходил, чтобы поддержать его в трудную минуту.

— Он всегда понимает, кто в нем особенно нуждается, — гордо утверждал Артур. — Я его давно ждал!

Да, до такого мы с Костей додуматься не смогли! Нашей задачей было сделать так, чтобы Артур просто ахнул.

Ночью я продолжала ругать Костю: неужели он не мог подольше развлечь ребенка? Ведь такие вещи случаются раз в жизни! Но разве можно было на него долго обижаться?

Я продолжала изучать с Костей «науку страсти нежной», приходя к сокрушительному выводу — в ней не было ничего человеческого, а уж тем более нежного.

Я пряталась за изучением книг, боже мой, сколько же я заглотала ненужных премудростей!

Это неутолимое желание — всем помочь и всех спасти, вечный полет угодливой ласточки, тщетность любых устремлений, постность каждой минуты.

И если бы судьба не хлестнула меня, жестоко пожертвовав сыном, я навсегда осталась бы в своем стылом мире.

В детях усиливаются все наши промахи, именно поэтому судьба так спешит изувечить и истребить их первыми.

Костя возвращал меня к действительности прикосновением пальцев — твердых, опытных и нежных. Плеснув на меня теплым маслом, он вкрадчиво делал мне массаж, я расслабилась и закрыла глаза. Если перед смертью Бог спросит меня о последнем желании, я отвечу не задумываясь: Костин массаж! А ведь он баловал меня этим каждый день!

Наши с Костей усилия стали приносить свои плоды. В один из дней Артур приподнялся в кресле, потом встал. Сначала с нашей помощью, затем сам делал первые шаги, но в какой-то момент его ногами овладевала слабость, и он тут же опускался на пол. Несмотря на радость, которую мы все

испытывали, хлопот прибавилось во много раз — Артура нельзя было оставить, как раньше. Он старался, как мог, удивить своих родителей.

ГЛАВА 13. БОГИНЯ КАЛИ. РЕВНОСТЬ

Артура интересовала странная женщина с синими руками, которая шла за мной по пятам. Он требовал, чтобы я подробно описала, как она выглядит.

— Артур, я не уверена, существует ли она в действительности. Бывают такие состояния, близкие к помешательству, и я скорее склонна приписать этот образ своему расстроенному воображению, световым эффектам... Я много чего видела в лесу, но разве стоит верить всему, что видишь?

Разговор происходил во время прогулки. Вдруг Артур затопил домой, он буквально подпрыгивал в своей коляске, будто это могло способствовать увеличению скорости. Мы мчались не разбирая дороги. Дома он потребовал, чтобы я немедленно подвезла его к одному из шкафов, потом указал на толстую книгу, до которой он, естественно, не мог дотянуться. Я выдернула ее из стопки и протянула ему.

— Нет, нет! — испуганно кричал мальчишка и стучал ногами.

Я испугалась. Что за причуды? Неужели наша сегодняшняя прогулка спровоцировала подобный приступ?

Я взяла книгу в руки, взглянула на обложку — мой бедный рассудок оказался на грани срыва. На обложке была изображена моя спутница — косматая женщина с четырьмя руками, синим телом, ожерельем из человеческих черепов, с поясом из отрубленных рук. Крупными буквами было написано: «Богиня Кали». Я в изнеможении опустилась на ковер. С немыслимой

точностью в книге был воспроизведен образ той, кого я считала несуществующей.

— Ну что! — закричал Артур. — Ты вовсе не врунья. Она существует! А ты очень храбрая! И все, все правда — даже то, что ты отправлялась в подземелье за своей душой! Ты не верила, не верила мне, — довольно бормотал он, глядя, как я одурело перелистываю блестящие листы с яркими картинками.

— Ты тоже не веришь, когда я уверяю тебя, что над тобой никто в доме не смеется, — быстро ответила я. — Ты также не веришь, что тебя любят родители. Ты не веришь очевидным истинам, значит, ты такое же бестолковое существо, как и я.

Я исподтишка взглянула на него. Артур улыбался. Через всю щеку его довольной физиономии пролегла глубокая царапина. Наверное, когда мы неслись по лесу, его хлестнула ветка.

— Это царапина от врагов, — нарочито испуганно вздохнула я и отправилась в свою комнату читать про Кали. Мне хотелось побыть одной.

«Великая богиня Кали, Черная Мать, яростная Агни. Темная сторона женской сущности, древние инстинкты, божественная страсть и сила, черный гнев и убийство, любовь и ужас.

Она поднимает с места, причиняет боль тому, чьим сознанием овладело безумие, кто потерял свою душу. Но душа, брошенная в потемки и мрак, никогда не предаст, она верна своему хозяину и ищет все пути к нему, она плачет, любит, прощает, взывает — из подземелья...

Ноги Кали быстры, руки готовы убивать и защищать — ведь она Мать. Любовь в ней так же сильна, как и ярость, доброта глубока и страстна.

Ее гнев болезнен для слабых, ярость — страшна вероломным,

мести — лживым и хитрым, одним ударом она опрокидывает их наземь. Когда сознание человека мертво, вид ее ужасен. Но великие духом понимают — ее удары возбуждают силу и мужество, наполняют мощной страстью к достижениям. Столетиями длится то, что она может свершить за один день, — великие свершения происходят сейчас, в сию минуту.

Сам Яма, бог Смерти, боится ее и никогда не забирает в свое царство тех, кого она любит. Она благословляет и освобождает тех, кто ищет Светлого Бога, только им она предана до конца, растворяет в них любые привязанности и зависимости, может даровать величайшее знание — ведь она в совершенстве владеет всеми искусствами, особенно искусством любой игры.

Только она своими острыми когтями, которые вонзаются, словно резцы, может вырвать голову демона с такой же легкостью, с какой человек может раздавить пальцами осу. Только она действует быстро, как молния, и не оставляет следов.

За убийство демона она требует с человека выкуп — творение, которое она преподносит Всевышнему. Оно должно обладать всеми качествами бессмертия, обмануть ее невозможно: богиня не выносит малейшей небрежности в творчестве. Едва дыша, чтобы не повредить пространство, его тонкую и непостижимую красоту, надо передать творение в руки Кали.

Если бесстрашно встретиться с ней, дает огромную силу и высшее освобождение, исполняет любое желание.

Ее темно-синий цвет олицетворяет космическое время и смерть».

Боже мой! Вот кто — истребительница любых демонов! И за это она требует выкуп!

Чтобы выкупить сына, надо вступить с ней в сделку. Сам выкуп почему-то представлялся мне ворованным золотишком, набитым в мешки, которые перевозят караваны верблюдов...

Моим Светлым Богом оказалась Кали. И она требует выкуп, жертву — творение недостижимой красоты, которым можно доставить радость Богу.

Выкуп — это занимает всю мою голову. Я перебираю все, что могу сотворить.

— Что ты будешь делать? Что ты можешь? — спрашивает Артур. —

Этот чертенок вездесущ, укрыться от него невозможно.

Я растеряна и не скрываю этого.

— Я могу многое — вышивать, рисовать, но это нельзя предложить Кали. Ведь здесь иное. Только то, что является бессмертным, может ее покорить. Что делать, Артур?

— Может, мое излечение? — неуверенно предложил он.

— Если бы ты стал бегать... И потом, как тебя можно соотносить с запредельным?

— Очень просто, — нашелся мальчик. — Кали — богиня бессмертного мира. Раз вы ее видели, значит, существует туманный переход из нашего мира в тот. Я верю в реальность общения между миром мертвых и миром живых, вы тоже. И вы, Вера Николаевна, можете меня туда провести.

— Ну у тебя и логика! — ворчала я, смеясь. — Значит, в качестве выкупа ты предлагаешь себя — живой товар? Признайся, ты просто хочешь проскользнуть в запредельное. Да? Я угадала?

— Да нет же, это один из вариантов, Вера Николаевна. Я обязуюсь встать на ноги в течение недели... ну хорошо, не смотрите на меня так, в течение месяца, разумеется. Но необходимо, конечно, перестраховаться. Бессмертное творение я еще понимаю как

музыку, романы, величайшие картины. Можно пойти методом исключения.

— В музыке я ничего не понимаю, — сразу призналась я, — даже не знаю нот. Картины рисовала, но акварелью, а она мимолетна. Нужно рисовать маслом. Романы не писала, в юности сочиняла стихи и написала два рассказа.

— Значит, роман или картина. Вера Николаевна, а рукопись отца Владимира? Как вы не догадались?

— При чем здесь рукопись? — удивилась я. — Ты о чем?

— Да, точно, рукопись. Ведь вы рассказывали, что священник хотел, чтобы его «Игровую зависимость» кто-нибудь продолжил и для этого оставил рукопись в церкви. А взяли ее вы.

— Это ни о чем не говорит. Взяла и взяла.

— Вера Николаевна, вы же учите не лгать! Ведь вы все отлично поняли, вам даже нечем крыть. Я видел своими глазами — вы там что-то писали.

Да, это точно. Крыть мне было действительно нечем.

— Артур, я не удержалась и записала рассказ отца Владимира. Он показался мне таким красочным, что я захотела оставить его себе на память — вроде письменного сувенира, понимаешь? Но создать бессмертное творение я не смогу, — твердо сказала я. — Это невозможно.

— Не труднее, чем мне начать ходить. Вы не думайте о бессмертии, просто начните писать.

— Я никогда не писала книг. Да и что описывать? Как я на уроках плакала? Нет, нет, об этом не может быть и речи...

— Вера Николаевна, — понизив голос до шепота, на ухо сказал мне Артур, — а вы обратили внимание, что Кали владеет искусством игры? Представляет, что это значит? — Глазенки мальчишки сверкали бесноватым

огнем, я уже много раз видела такой — в игровом зале. Но признаюсь как на Библии: при чтении этих строк мое сердце тоже дрогнуло и на несколько секунд сбилось с ритма. Да, прав был священник — человеческая порода слаба...

— И что, ловкач ты этакий? Хочешь пересечь неизмеримое пространство, упросить богиню научить тебя обыгрывать все казино мира — ведь об этом мечтают все бесславные мальчишки, не так ли? Уже поздно, давай спать, фантазер. Все равно я ничего не соображаю.

Ночь была ужасной. В дурном сне вокруг меня сновали и дрались разные существа, пытались расцарапать друг другу лица. Одно — отвратительное, хитрое и изобретательное — кричало, что ему надоело гнить взаперти, когда есть блистательный выход в красивую жизнь. Другое чудовище — в прокурорской мантии — обвиняло меня в каком-то преступлении, которого я не совершала, но в котором уже была готова сознаться. Я проснулась и села на кровати. Голова была похожа на быстро разматывающийся клубок ниток, я в испуге обхватила ее руками — пусть хоть что-то останется...

Утро, когда я стояла перед зеркалом и разглядывала свое посеревшее от бессонной ночи лицо, ко мне крадучись приблизилась Ариадна. Я даже вздрогнула, увидев в зеркале рядом с собой ее заискивающее лицо. Наклонившись к самому уху, она доверительно шепнула мне, что хозяйка была любовницей Кости.

— Разве ты не видишь, как вы похожи, — правдиво блистая глазами, втолковывала она, — хрупкостью, ростом, даже глазами. Ты такая же восторженная и пылкая, я слышу, как ты ночами пробираешься по саду. Скучая по

хозяйке, Костя просто забавляется, амурничает с тобой, и, любя тебя, я советую не придавать этому слишком серьезного значения.

Я не хотела слышать, что она расскажет дальше, кружа и жужжа вокруг меня, как огромная муха. Щеки мои горели, чувства бушевали. Недолго думая, я бросилась разыскивать Костю. И с чего бы мне вздумалось объясняться? Ведь я сама воспринимала все как игру, сама контролировала пыл своей крови...

Костя резонно и спокойно уверил меня: «Посуди сама, Вера, Владимир Сергеевич — человек серьезный и очень влиятельный. Я очень дорожу своей высокооплачиваемой работой. Жену он никогда не оставляет одну. Разве стоило мне пускаться на такой риск? Это могло быть оправданно лишь в одном случае — безумной любви, но ты видела Элеонору. Я даже не знаю, что мне еще к этому добавить. Ах да. Я тебе никогда не рассказывал — ведь эту племянницу всегда прочили мне в невесты, но об этом даже лень говорить».

Гневные звуки потонули в поцелуях. Я быстро растаяла и сияла, как мокрая от дождя вишня. К моим губам подплывала многообещающая гора наслаждений, я еле переводила дух, задыхаясь под ней...

— Если ты хочешь знать, — блаженно потягиваясь всем телом и собирая свою разбросанную одежду, говорил Костя, — у нас в городке мне нравилась только одна женщина, и то это было давно.

— Кто же? — свистящим шепотом спросила я, смешно тарача глаза. — Кто, мой хищный грузин?

— Я не грузин, — обиженно ответил Костя, застегивая синюю рубашку. Почему-то он не любил, когда я называла его так, хотя он ужасно похож на грузина. — Жена священника. Очень красивая.



— Что? — не поняв, переспросила я.

— Мне нравилась только жена священника, Ольга, — миролюбиво объяснил Костя.

Он уже стоял в полный рост и собирался снова поцеловать меня.

— Какого священника? — недоуменно переспросила я.

— Отца Владимира. Ты что, разве не знала, что он женат? У них взрослый сын.

Я машинально подставила щеку. Костя заартачился и стал шутиливо раздеваться, утром он был ласков и надоедлив, как котенок. На этот раз мне стоило большого труда его выпроводить. Я стала

вялой и беззащитной от холода, идущего из окна, кончики пальцев быстро заледенели. И лишь за ним закрылась дверь, в смертельном изнеможении я упала на кровать и закрыла глаза.

«Ольга, жена священника. Священник, отец Владимир. Мне нравилась только Ольга — жена священника...»

Господи, да что это такое? Я захлебывалась в черной крови — все было нелепо, дико и неожиданно. И весть о его жене, и моя реакция на эту весть. Это оказалось больше, чем досада или боль.

Оля, Оля, Оля... Сердце будто полосовали ножами, вырывали из него куски. Я трогала руками

грудь, комкала плотный воротник платья — боялась, что сердце остановится. Враждебное имя, как яркий обруч, ослепило меня, я потрясенно смотрела, как, сделав круг над башней, оно безответно улетало в небо...

Какой скверный день! Почему же он не может быть женат? Мысль об этом ни разу не приходила мне в голову. Это обыкновенная жадность, мы всегда мечтаем, чтобы наши кумиры были одиноки. Зачем? Продюсеры звезд скрывают от публики святые узы их любимцев, и правильно делают: ведь это так сильно, до боли неприятно. Всем, всем...

Интересно, это та самая Оля или другая? Да не все ли равно? Да нет, если та... то как же это согласуется с тем его рассказом, похожим на исповедь? Он мне солгал? Зачем он это сделал?

Я хотела, чтоб все было как раньше. Пусть это всего лишь окажется ложью, Костиной ложью.

Почему мгновенно меняется жизнь? Все безрассудное кажется бесстыдным, стекающий с губ янтарь — слюной? В который раз я сбрасываю так хитро украшенную кожу, что сама не понимаю — кто под ней?

Мне не сиделось в кресле, не лежалось в кровати. Я не знала, что я хочу, но точно знала, чего не хочу: находиться в доме. Наконец я придумала, зачем мне надо выбраться в поселок — купить себе новую краску для волос. Я неожиданно захотела иметь рыжую гриву, нежно-яркую, как лепестки ноготков. Только я метнулась на дорогу, как вдалеке замаячил силуэт женщины.

Она шла мне навстречу, высокая и светловолосая, ароматно пахнувшая земляникой. Конечно, это была она, своенравная Ольга, увлеченная моими мыслями, та самая, что сидела рядом со мной в парикмахерской. И вероятно, принимая ту встречу за

знакомство, она приостановилась, приветливо поздоровалась и с большим участием спросила:

— И вы в этом особняке живете совсем одна? Как же это у вас получается? Я без своего Володи не могу прожить и дня!

Я стояла, сраженная наповал, и смотрела ей вслед — она шла медленно и вкрадчиво, лениво покачивая крутыми бедрами. Щиколотки ее ног были сухими и тонкими, обнаженные икры — смуглыми и изящными. «Иди вперед и не оглядывайся, — шептал мне инстинкт, — или крикни ей вслед, плесни ядовитой водицы». Но я стояла и смотрела, растирая в руках какие-то мясистые колючки, вонючие цветы... Взглянула на зеленые руки — дурман! И когда только успела его сорвать? Потом, как в тяжелом бреду, держась за стену забора, пошла назад, в дом, чтобы спрятаться туда, где меня никто не найдет. Я почувствовала такой приступ дурноты, что чуть было не потеряла сознание. *Пройдет, все проходит. И это пройдет.*

В комнате было душно. За окном что-то дымилось — ничего не было видно. В стекло билась золотистая муха.

Я не нашлась, что ответить этой женщине. Сначала растерялась, а потом было поздно. Надо было сказать...

Дома была суматоха — позвонили и сообщили о своем приезде родители Артура. Костя по секрету сообщил, что они никогда не предупреждали и всегда приезжали внезапно. Именно это, по мнению Владимира Сергеевича, и являлось отличным залогом неизменного порядка в доме.

Артур был вне себя от радости, родители еще не знали о сюрпризе, который ожидал их дома. Костя ругал его, ноги еще не окрепли, но мальчик упорно старался передвигаться самостоятельно, на костылях. А я тупо смотрела на

всеобщее возбуждение — оно не задевало меня, не втягивало в свой водоворот. В голове запоздало крутились ответы, один находчивее другого. Но какой теперь был от них толк?

С чувством полного отрезвления я смотрела ночью на спящего Костю. Он спал крепко и безмятежно, разметав руки. Лицо его было круглым и румяным, волосы кучерявились, как у молодого купца или приказчика. Странные сравнения... Мне хотелось разбудить его, растолкать руками... Но что бы я сказала ему? Что томило мне душу?

Меня нестерпимо потянуло домой, к сыну. Это хорошо, что приезжают родители. Это очень хорошо. Судьба всегда выбирает лучшее из всех вероятностей. На полу на лунной дорожке дрожала чья-то тень, до боли знакомый античный профиль...

За голову демона Кали требовала выкуп. Любое творение — но подлинное, которое она поднесла бы к стопам Всевышнего. Таковы условия, и не нам, смертным, обсуждать само непостижимое...

Может, только для того, чтобы я узнала об этом, меня занесло в этот дом?

Я готовилась к отъезду. Артур хотел быть рядом, но очень много суетился, бесился, уставал и часто ложился отдыхать. Первое время, узнав, что я уезжаю, он принимался хныкать и обвинять меня, что я бросаю его теперь, когда так нужна ему.

Но я строго и резко оборвала все его попытки манипулировать мною.

— Артур, я уезжаю как раз вовремя. Ты встал на ноги, и выяснилось, что ты сильный. Если бы ты не захотел сам — ничего бы не было. И не будь таким эгоистом, я соскучилась по своему сыну. Я услышала его зов — и должна вернуться.

Некоторое время он молчал.
— А ты вернешься?

Его будто заклинило, этот вопрос он задавал мне целый день, то тихо, невзначай, то настойчиво, стараясь поймать выражение моего лица.

Я уже отчетливо понимала, что не смогу так просто покинуть эту семью — пройти мимоходом, не поранив своего сердца...

Мне надо было проститься с отцом Владимиром. Как бы я ни скрывала свои чувства, что мне все равно, я не могла отрицать очевидного: этот человек для меня много сделал. Но наступал день, и я почему-то откладывала свой отъезд, и свое прощание с ним, убеждая себя, что лучше сделаю это позже, вечером, или завтра, послезавтра.

Я схожу к нему всего на минутку. В этом нет ничего необычного. Глупо бы выглядело, если бы я не зашла. Я перебирала десятки вариантов нашего разговора, представляя себе это прощание то предельно сдержанным, сухим и кратким, то ироничным и даже насмешливым, мне хотелось, чтобы он разъярился и вновь гнал меня прочь. Тогда бы я крикнула ему долгожданные слова: «Странно, что вы все-таки можете быть таким жестоким. У меня создалось впечатление, что вы слабый, безвольный и податливый человек. Да к тому же еще и лживый».

На этой мысли я резко взмахнула рукой, будто сражаясь с кем-то, и вдруг раздался легкий треск ткани. Я осмотрела себя со всех сторон — бог мой! — как же я была одета! На мне было то самое шифоновое платье из летящих полотен, скрепленных между собой лишь серебряной цепочкой, — это был наряд Элеоноры. Я что, находилась в беспамятстве, когда одевалась? Зеркал в особняке было видимо-невидимо, почти на

каждом шагу. Я провела рукой по волосам — они курчавой волной прильнули к горящим щекам, их душистая свежесть ела глаза, ведь я вылила в них целый флакон самых дорогих Элеонориных духов. Хотелось плакать и молиться...

В церкви священника не было. Я не стала там долго задерживаться, к тому же не захватила с собой платка. Странный был сегодня день. Весна, теплый блеск первых листьев. Легко и быстро прокапал пестрый дождь, потом обрушился крупный сверкающий ливень — и вот тебе радуга! Густая, красно-синяя, явственно звенящая. Тонкий и свежий запах красоты...

Сердце то бешено колотилось, то трепетно таилось, меня шатало из стороны в сторону — такая во всем теле была слабость. Я стояла у кустов, потом бесцельно, стуча высокими каблучками, побродила вокруг церкви. Вышла на дорогу, прошла несколько домов, остановилась, бросая взгляд на его дом. Никогда я там не была. Покрутившись возле раскидистых елей, вдохнула их смолистый аромат и решительно пошла обратно. Помню одно — я непрерывно двигалась, то ускоряя, то замедляя шаг, но казалось, что стою на месте. Шли минуты, часы, робея и колеблясь, я уже понимала, что больше никогда не решусь, будь что будет, ведь я уезжаю, и, скорее всего, навсегда.

Я ничего не видела и не слышала, только стук своего сердца, сейчас главное — открыть калитку, дверь откроется сама. Медленно шла по дому, будто ступала босыми ногами по раскрошенному стеклу. От моей недавней решимости не осталось и следа. И вдруг что-то произошло — привычный мир стал дерзко разъезжаться, воздушно осыпаться, крошиться и ломаться, исчезли последние сомнения. Непостижимая сила влекла меня

туда, где воздух был теплый от его дыхания...

Дверь была приоткрыта. Отец Владимир сидел за столом и смотрел в окно. Он о чем-то глубоко задумался, в руке его застыла ручка, вероятно, он что-то писал. Очки лежали на столе. Позади стола была узкая кровать, застеленная коричневым пледом, рядом небольшой шкаф с книгами.

С беспощадной ясностью я почувствовала безрадостное одиночество. Впервые я увидела его в простой одежде — белом свитере и джинсах. Будто чья-то рука стянула с него прозрачно-давшее покрывало, обнажая яркий, отчетливый образ. Он был не такой, каким я увидела его впервые, и не таким, каким привыкла видеть после. Он был другой: никого нельзя было поставить рядом с ним, он был единственный, и он был целиком в моем теле, в душе и разуме. Я не знала, когда родилась и чем была взлелеяна эта нежность.

Он повернулся и увидел меня. Мы встретились с ним взглядом — на меня, широко раскрыв изумленные глаза, смотрела моя душа.

Я вдруг увидела, что его руки прикованы наручниками к бетонной стене и он ничего, ничего не может сделать. А я могу, я-то свободна. Я уже была рядом, совсем близко, и уже бесстрашно тянулась к нему, к чистоте его теплого дыхания, аромату его ресниц. Его губы были горячими и сухими, запекшимися от пламенной жажды, потом он рванул из всех сил — я ему помогала — и вырвал свои руки вместе с обломками штукатурки. Это было полное забвение — самое драгоценное и головокружительное мгновение, которое было длиннее человеческой жизни и далеко простиралось за ее пределы. Разум мой не силен и не столь глубок, чтобы описать это. Непостижимо звучат

молитвы, когда их поют хлопья белого снега или васильковые ручки...

ГЛАВА 14. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я ехала в автобусе, прижимая к себе книгу о Кали (Артур подарил мне ее), иногда листала иллюстрации, увлекалась чтением, потом невидяще смотрела в окно, запотевшее от моего дыхания. Странное было состояние...

Прощание с отцом Владимиром было долгим, я дождалась возвращения родителей Артура. Когда они вошли в дом, их мальчик стоял на ногах и улыбался. Их бурная радость, связанная с выздоровлением сына, тяготила меня, мне было жаль, что я не успела уехать раньше. Владимир Сергеевич плакал, не скрывая своих слез, я никогда не могла представить, что он может быть таким. Даже сейчас, вспоминая об этом, я сама не могу удержаться от слез — сквозь сердце идет невозможно трогательная волна. Я верила, что Артур простит своих родителей. Я никогда не говорила ему об этом, я и так страшилась, не слишком ли назидателен мой голос, ведь нам, учителям, так трудно изменить в себе это выученное превосходство, отрезвляющее похлеще наждачной бумаги. Я надеялась, что мой бесхитростный рассказ о том, как я мучительно страдала от своих ошибок, примирит его с матерью.

Костя рвался со мной и даже умолял Владимира Сергеевича его отпустить. Разумеется, Костю не отпустили ни за какие деньги, это было бы слишком: не совсем здорового мальчика покинули бы люди, к которым он был привязан. На их месте я поступила бы так же. Родители Кости оказали мне неоценимую услугу, они созвонились со своими знакомыми в моем городе, у которых были маленькие дети. Отныне у меня был

богатый выбор работы, чудесное исцеление Артура повысило мне цену. Но Владимир Сергеевич и Элеонора дружно настаивали на моем возвращении к ним. Артур, плача и целуя меня, висел на моей груди как немощная птичка — я придерживала его руками, будучи не в силах оторвать от себя.

Но когда я очутилась в автобусе, то неожиданно с облегчением вздохнула. У меня была тайна, заветное сокровище, я даже не могла ее полностью развернуть и взглянуть, это было выше моих сил. Я могла лишь чуть приоткрыть белое волшебство: там было лицо, обращенное к окну, длинные пальцы, сжимавшие ручку, — у меня темнело в глазах и замирало дыхание. «Не может быть. Не может быть, — твердила я себе, — этого просто не может быть».

За окном мелькнул вокзал, синевой разливалось и вздрагивало небо... Еле дыша, я трогала свои целованные губы. Погоди, разве это я уезжаю? Но как же мне хотелось вновь увидеть его! Я готова была проломить окно, выпрыгнуть на ходу, завывая, лететь обратно. Но даже при одной мысли о том, что я смогу увидеть его, начиналась полная передозировка чувств.

Что же тогда у меня было с Костей? Нет, я подумаю об этом позже. Я была какой-то совершенно беспомощной, всепрощающе оголенной, вся в золотистой пыли молодости...

Страшно представить, что было бы, если бы я его не нашла.

Автобус дернулся и остановился. Я вернулась в свой город.

Все выглядело непривычно, будто я попала в незнакомое место: дома, автобусы, люди. Я не понимала даже разговоров людей, сидящих в автобусе, будто это был незнакомый язык. А ведь я отсутствовала всего несколько месяцев! Это было удивительно!

Я не смогла раскрыть в себе непостижимое, ничего не придумала для выкупа сына, но уже накопила небольшой запас личной силы, которым надо было грамотно распорядиться. Господи, какая чушь лезет в голову! Разве я была создана для этих слов — «грамотно распорядиться»? Откуда выпрыгивают такие убогие, благоразумные мысли? Из старого, пыльного мешка?

Я привезла себя как цветущую яблоньку, хрупкую, с выдернутыми корнями, завернутыми в смоченную тряпку, с ветвями, провисшими от тяжести слез. Цветущее дерево редко переносит пересадку, выходить его — большая редкость...

С бьющимся сердцем я подошла к своему дому, поднималась по лестнице, стояла возле двери. Что меня ждет?

Дверь мне открыл сын. Боже мой, Алешка! Сумки выпали из моих рук, я обхватила его руками. Жив! Невозможно описать мою радость...

Алеша был не только жив и здоров, он поправился и возмужал, и я не могла не заметить — он тоже был рад моему возвращению. Мы бестолково топтались в коридоре, сын снимал с меня плащ, шарфик, что-то падало с вешалки, смеясь, мы оба поднимали и снова вешали. Я дома...

В зале было тепло, в углу, на черной блестящей подставке, стоял новенький телевизор. Диван был переставлен к другой стене и тоже был новый — бордовый, с золотым тиснением. Шторы, светильники — везде чувствовалась женская рука. Но откуда у сына деньги?

Мы сели на кухне, Алешка заварил чай, достал из шкафа железное индийское блюдо, полное конфет. Я смотрела на него не отрываясь — Алешка, как же ты вырос! Мы перебивали

друг друга, торопясь быстрее узнать, — получалось одно бес-связное, счастливое вскрикивание. Ничего невозможно было понять, пока сын не взял инициативу в свои руки и обстоятельно не рассказал, как жил без меня. Свет от лампы падал на его лицо, глаза казались яркими и блестящими.

— Я долго ждал тебя сначала. По тому, как ты тщательно собиралась, я решил, что ты уехала отдыхать в санаторий. Но время шло, а ты не возвращалась, я забеспокоился и стал тебя повсюду искать — меня душили, не давали спать те слова, что я произнес как-то ночью, сгоряча, что лучше бы тебе повеситься. Прости, мама, я вовсе не хотел, я сильно проигрался и даже не понимал, что говорю. Это было какое-то ослепление, желание, чтобы и ты разделила со мной эту жуткую боль.

Спустя время ты позвонила, я ненадолго успокоился, но часто вспоминал и странные слова, и твой плачущий голос. Я даже предположил, что тебя поймали преступники и держат взаперти. Потом опять безуспешно искал тебя по подвалам, чердакам, но чаще всего я почему-то ходил на рынок. Мне представлялась ты старой, седой и безумной, с развевающимися волосами... Это была такая жуть, что я даже перестал ходить в казино.

Я расспрашивал бомжей, и, странное дело, все подтверждали мне это видение: кто-то обязательно видел сумасшедшую старуху, пляшущую на рынке.

Перед самым твоим уходом я увидел, что ты прячешь от

меня какие-то листы, и из любопытства тайком от тебя их прочитал, там было написано: «Игровая зависимость». Тогда я впервые предположил, что был болен.

После твоего отъезда мне пришлось несладко. Денег не было, не на что было не только играть, но и жить. Пришлось устроиться на работу — я чинил компьютеры.

Политика в стране изменилась, игровые автоматы стали убирать, закрыли казино. Василий Седов, благодаря своим родственным связям, открыл подпольный бизнес. Где-то в подвалах продолжали играть, я иногда туда ходил. Потом мне повезло, я перешел на игру в покер. Это спасло меня. Эмоций от покера получаешь не меньше, да плюс ко всему — еще деньги выигрываешь. Мы объединились — все бывшие шахматисты, ведь шахматный клуб практически перестал существовать, государство его больше не финансировало. Зато математические способности пригодились. Я теперь не игроман, мама. Покер — это спортивная игра, ее хотели даже включить в Олимпийские игры. И я зарабатываю деньги.

Слушая сына, я подивилась тому, какой силой обладают отдельные мысли. Сцена из рассказа отца Владимира, поразившая мое воображение, была так прочно запечатлена в мой мозг, что произошло так называемое сращение или замещение образов. Будто мать священника гуляла во всех видимых и невидимых мирах, являясь людям со сходным сценарием жизни.

Сын признался, что из полной бездны его вытянули мои слова

«чем сильнее демон, силен и Бог». Он поставил на телефон автоответчик и услышал мои слова. Ничего не понял, но будто проснулся от долгого сна.

Алеша сознался, что следил за мной, когда мы ходили вместе играть. Его слова удивили меня — мне казалось, никто, а уж тем более мой сын, не замечает моих чувств. Я надеялась, что их надежно упрятала, все вокруг слишком поглощены игрой, но я ошибалась. Даже в самое алчное время совместной игры, в самом пылу сокрушительной страсти Алеша смотрел на меня. И, как позднее выяснилось, не только он.

— Я смотрел на тебя, иногда мельком, иногда внимательно — меня мучило любопытство. С одной стороны, ты приносила мне удачу, с другой — никто не ходил играть с родителями, тем более с мамой. Я надеялся, что никто не обращал на нас внимания. Но как-то наступил такой миг, я и сам не понял, как это произошло, я вдруг на несколько мгновений увидел все твоими глазами. То ли ты стояла сзади и следила за игрой как бы сквозь меня, возможно, твое волнение было слишком осязаемым, оно вошло в меня, как нож в масло. Я почувствовал твой стыд, ужас и все твоё старание казаться бодрой, услышал шепот твоих молитв, увидел весь зал как огромное сборище никчемных людей. Потом все незаметно, скользким движением съехало, сползло, свалилось вниз, как сырые обои со стены. И я старался больше не вспоминать...

Продолжение следует.

г. Липецк


Виктория ЛЫСЕНКО

Виктория Лысенко родилась в Москве. В 1964 году окончила Московский финансовый институт. С 1965 по 1998 год работала во Внешэкономбанке на разных должностях — от экономиста до заместителя начальника управления.

С 2004 года начала писать рассказы. Член Союза писателей России (Московское отделение). Публиковалась в «Роман-журнале» и журнале «Российский колокол».

Живет и работает в поселке Сосны Московской области.

СЮРПРИЗ

Рассказ написан на основе реального случая. Так поступила моя приятельница, с которой мы вместе гуляем в поселке Сосны, Нина Васильевна Блинова. Ей восемьдесят восемь лет. Она участница трудового фронта Великой Отечественной войны, награждена многими медалями, работала поваром и до сих пор отлично готовит. Настоятельно прошу не повторять ее рискованный эксперимент.

Надежда Борисовна жила в небольшом загородном поселке. Неподалеку от ее дома находился лесопарк, где она часто гуляла по утрам. Кругом было полно мусора. Иногда она брала с собой целлофановый мешок, в который складывала пластиковые, жестяные и стеклянные бутылки, одноразовые тарелки и стаканы, а также прочие следы пребывания человека. На другой день мусор появлялся вновь, и оставалось только удивляться тому, как люди

не ценят природу, среди которой живут, губят свою Землю, не понимая, что когда-нибудь за это придется ответить.

Осенью Надежда Борисовна любила собирать грибы. Мама в детстве научила ее неплохо в них разбираться. Мама в лесу всегда напевала одну песенку, и дочке казалось, что это приносит им удачу. Немудреные слова песенки остались в памяти: «Лесочек, лесочек! Подари мне грибочек! Я под ветки загляну, я листочки подниму. Лесочек, лесочек! Подари мне грибочек!»

У Надежды Борисовны было хорошее зрение, и она умела находить грибы даже там, где до нее прошло немало грибников. Наверное, мамина песенка ей помогала. Конечно, такую «тихую охоту» не сравнить со сбором грибов где-нибудь в глуши, в сотнях километров от мегаполиса, однако содержимого принесенных домой корзинок ей вполне хватало

на то, чтобы сделать заготовки на зиму и попотчевать сына, невестку и двух внучков, когда они приезжали из города навестить ее.

Конец апреля и начало мая выдались в тот год на редкость теплыми. Кусты форзиции в палисадниках сплошь покрылись желтыми цветками. Скоро зацветет черемуха. Надежда Борисовна шла по тропинке и наслаждалась пробуждением жизни, которое каждую весну происходит как новое чудо. Вчера прошел дождик. По бокам тропинки вылезли тугие, еще скрученные, и острые, как стрелки, листья ландышей. Ее взгляд скользнул дальше по земле, и между стволами деревьев она увидела грибы. Их было множество. Время сморчков и строчков еще не прошло, но они в их лесопарке не росли. Эти грибы — совсем другие. Они были похожи одновременно на сыроежки, рядовки, опята и немного на поганки. И она решила нарушить главное правило грибников,

ранее соблюдаемое ею неукоснительно, — не брать незнакомых грибов. Она собрала в пакетик штук тридцать шляпок и понесла их домой.

Дома она промыла грибы, ошпарила их, залила кипятком и поставила варить на полчаса. Затем она налила теплую кипяченую воду в литровую банку, в пол-литровой банке развела марганцовку, налила в рюмку клюквенную настойку, открыла в справочнике номер телефона скорой помощи.

Грибы сварились. Чайной ложкой она попробовала бульон. Он был вкусный. Она положила в тарелку пять грибов, съела их и запила настойкой. Никаких

неприятных ощущений не последовало. Через два часа она съела остальные грибы. Вызывать рвоту, промывать желудок марганцовкой и обращаться в скорую помощь, слава богу, не потребовалось.

Значит, можно угощать родных.

Завтра она наберет много этих замечательных грибов и приготовит их в День Победы. Этот праздник она будет отмечать с семьей сына.

Сколько было удивления и радости, когда она поставила на стол жареные грибы, собранные накануне. Особенно оценили блюдо внучки.

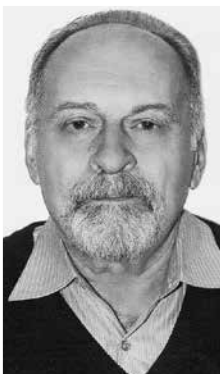
— Ну бабушка, вот это сюрприз! Ты всегда придумашь что-то

неожиданное! А как называются твои вкусные грибы?

— Я не знаю их научное название. Мне прежде такие грибы не попадались. Давайте для себя придумаем, как мы будем их называть. Бывают маслята, опята, волнушки, свинушки, чернушки. Может быть, назвать их «веснята» или «веснушки»? Моховики, подосиновики, боровики — грибы посолиднее, поэтому, мне кажется, название «весновники» нашим грибам не подходит.

Автор еще раз просит не следовать примеру героини и не производить над собой опасных для жизни опытов.

Московская обл.



Валерий ИЛЬЧЕВ

Продолжение. Начало в № 5 за 2015 год

НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

ГЛАВА 2. В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Семья Сориных жила рядом с княгиней. Люди они были достойные и уважаемые. Отец семейства Савелий Григорьевич служил профессором медицины. Молодым врачом поколесил по фронтам гражданской войны. В мирное время женился. Появились один за другим два сына-погодка. В тревожном 1938 году студенту института имени Баумана Вадиму Сорину исполнилось восемнадцать, его младший брат Михаил учился в МГУ имени Ломоносова. Мать обеспечивала домашний уют. Отец, помимо работы в клинике, занимался частной практикой на дому. Это раздражало соседей. Но Сорины старались жить тихо, и скромная вежливость молодых парней смягчала зависть других жильцов. И, возможно, семья интеллигентов сумела бы благополучно пережить тревожное репрессивное время, если бы не сложившийся, на беду, любовный треугольник между тремя

молодыми жильцами дома. Но обо всем по порядку.

Вадим Сорин закончил писать, поставил жирную точку и на мгновение задумался. Затем, решив все же не ставить свою подпись, свернул клетчатые тетрадные листы и нервно заходил по комнате в поисках надежного места для укрытия опасной рукописи. Внезапно он остановился перед висящим на стене зеркалом. На него смотрело отражение человека, напуганного собственным безрассудным поступком. В следующее мгновение он ощутил желание порвать и сжечь свой многомесячный труд.

С трудом пересилив страх, снял со стены старое зеркало — сподвижника их с братом детских игр. В пустоте между серебряным стеклом и деревянной рамой они часто прятали запрещенные родителями предметы. Вадим привычно легко отогнул четыре металлических скобы в углах

зеркала и аккуратно вытащил стекло. Перед тем как спрятать рукопись, еще раз прочитал название: «Десять сомнений». Положив исписанные листки внутрь деревянной рамы, вставил зеркало и, укрепив скобами, повесил на прежнее место. Ему казалось, что найти более надежный тайник, о котором знал только Михаил, в квартире невозможно. Но подвергать брата опасности и посвящать в свои опасные философские рассуждения Вадим не хотел. Хотя ему было отчаянно жаль, что о его смелых передовых идеях никто не узнает. «И чего мне бояться? Я же не враг советской власти. Просто анализирую экономическое положение в стране и мне хочется узнать чужое непредвзятое мнение. Но кроме друга Жорки показать мой труд некому. Правда, он злится на меня из-за Людмилы. Но пусть найдет себе другую девушку. А может быть, доверить свой труд Жорке и этим рас-

топить лед отчуждения между нами?»

И Вадим поспешил во двор. Выйдя из подъезда, увидел Георгия, раскачивающего Людмилу на качелях. Почувствовав невольный укол ревности, поспешил осадить себя: «Надо же, я, комсомолец, позволяю глупому чувству собственника себя тревожить. Да и чего мне беспокоиться? В конце концов, Людмила не с ним, а со мной вечерами до боли в губах целуется в подъезде. Так что шансы у Георгия невелики».

Вновь обретая прежнюю уверенность, Вадим направился к друзьям. Заметив его, Людмила призывно махнула рукой:

— Иди сюда! Послушай, как Жора рассказывает о своем преподавателе физкультуры в техникуме. Этот чудак целый день заставляет их лазить по канату. Вот умора.

Вадим подошел и встал рядом. Как только качели приблизились, он опередил друга и сам сильно толкнул доску с привязанными к перекладине веревками. Людмила взвизгнула от страха:

— С ума сошел, Вадик! Давай останавливай качели. Лучше пройдемся по Арбату. Если есть деньги, то зайдем в кино-театр и посмотрим фильм «Подруги» с Жеймо. Я безумно люблю эту актрису. Недавно мне одноклассница подарила ее фотографию в альбом!

Вадиму этот фильм смотреть не хотелось: он его знал наизусть. Но у Георгия оказались деньги, и он не смог отказаться. После окончания сеанса прошлись до Арбатской площади и вернулись обратно к дому. Людмила скрылась в дверях подъезда, а ребята подошли к продащице газированной воды.

Угощал Георгий. Выпив сладкий шипучий напиток, Георгий сочувственно спросил:

— Ты чего сегодня такой хмурый? Даже и двух слов за день не сказал. Случилось что-нибудь? Или к Людмиле приревновал?

— Не говори глупости. Дело совсем не в ней. Я хочу поделиться с тобой одной важной тайной. Ты мой друг с детства, и у нас никогда не было секретов. Мне нужно узнать твое мнение. Я написал статью «Десять сомнений». Хотел послать ее в газету «Правда». Но боюсь выглядеть глупцом. Ты можешь ее прочесть и оценить, что у меня получилось?

— Конечно, давай свою статью.

— Пойдем ко мне домой. Я тебе ее покажу.

Заведя приятеля в свою комнату, Вадим вытащил из зеркала исписанные листки и положил перед Георгием. Тот принялся читать. Закончив, сморщил веснушчатый нос и недовольно процедил:

— Ты еще в школе был выскочкой. А теперь у тебя окончательно шарики за ролики зашли. Думаешь, ты у нас один умный, а товарищ Сталин и правительство в экономике не смыслят? Сомневаешься в пользе колхозов, считаешь уравниловку в зарплате несправедливой, предлагаешь выпускать не станки, а больше товаров для личного быта. Это типичные капиталистические бредни. Не знаю, каких лекций ты в своем институте наслушался. Сожги эту антисоветскую чепуху. И никому больше ее не показывай!

Вадим обиженно хмыкнул:

— Зря я дал тебе читать статью. Ты всегда мыслил прямолинейно, шаблонными лозунгами. Тебе даже «Муху-

цокотуху» надо было три раза подряд объяснять для уяснения смысла происходящего.

— А ты не мни себя непризнанным гением! Раз я, по-твоему, глуп, то нечего было интересоваться моим мнением. Надо же, такой хороший день испортить! Смотри только Людке этот опус не показывай, а то она от тебя навсегда отшатнется.

Вадим вернул рукопись в пустоту внутри зеркала и вновь повесил его на стену. Он жалел, что показал статью приятелю. Вместо укрепления доверия отчуждение в их отношениях только усилилось. С этого дня Георгий начал избегать с ним общения. Вадим с тревогой замечал, как Георгий все чаще стремится встречаться с Людмилой в его отсутствие. Однажды, встретив друзей во дворе, Вадим их упрекнул:

— Вы бы хоть предупреждали заранее, если куда-то собираетесь сходить без меня.

Людмила в ответ кокетливо пожала плечами:

— Разве мы обязаны, как в армии, тебе докладывать? Мы с Жорой прогулялись до «Восточных сладостей» и томатного сока попили. Или нельзя?

— Делать мне нечего! Могли бы и меня дожидаться. Ты давно обещала съездить со мной в парк культуры. Давай прямо сейчас и поедем.

— Я не знаю. С утра обещала Георгию зайти к нему домой и посмотреть его коллекцию марок.

— Ну тогда выбирай: либо со мной в парк, либо через лупу рассматривать портреты знаменитостей прошлого.

Услышав в тоне приятеля непримиримые нотки, Людмила без колебаний приняла решение:

— И вправду, в парке будет веселее. Поехали с нами, Георгий.

— Нет у меня сегодня свободных денег. Гуляйте без меня.

И, резко повернувшись, Георгий пошел прочь. В этот момент он окончательно понял: «Люда демонстративно показала мне, с кем хочет дружить. Этому профессорскому сынку всегда везло. Он настолько обнаглел, что строчит грязные статейки с критикой руководства своей страны. Если бы товарищи из НКВД узнали о его творчестве, то от него и следа бы не осталось. А что, если...»

Пришедшая в голову мысль поразила Георгия: ведь устранить соперника так просто! Но он поспешил ее отогнать, считая доноительство недостойным поступком. В последующие дни Людмила демонстративно избегала общения с ним, подчиняясь ревнивым требованиям Вадима. И Георгий все чаще возвращался к намерению сообщить о вражеском опусе своего приятеля. Теперь этот шаг уже не казался ему подлостью. «Я же не оклеветшу Вадима. Он ведь написал грязный пасквиль. Вот пусть и ответит по закону. Если органы НКВД накажут, то справедливо. Надо сбить с него гордость».

И в очередной раз получив отказ девушки прийти на свидание, Георгий отбросил последние сомнения. Взяв лист бумаги, он старательно изложил враждебные взгляды своего приятеля и его сомнения в победе социализма. Постарался точно указать место, где висит зеркало, за которым спрятана вредная рукопись.

Перед тем как отправить донос, засомневался, хватит ли этого для НКВД, чтобы начать

расследование. Внезапно память услужливо подсунула случай трехлетней давности, когда ранее судимый взрослый Жбан избил его и Вадима. Сделал он это без особой причины, от нечего делать, в пьяном кураже. Было не очень больно, но до слез обидно от бессилия перед грубой физической силой. В тот раз Вадим с ненавистью сказал:

— Мне бы пистолет, я пристрелил этого гада.

И, вспомнив давний случай, Георгий приписал к доносу: «Этот Сорин говорил о желании достать оружие и расправиться с обидчиками».

Георгий подписался «патриот России» и направился к почтовому ящику. На мгновение в нерешительности остановился. Но, вспомнив торжествующую улыбку удачливого соперника, опустил письмо в щель. И сообщение отправилось в путь по адресу: Москва, Лубянка, НКВД.

Капитан госбезопасности Круглов с тоской читал многочисленные доносы и думал: «В стране развелось слишком много писак, желающих с нашей помощью расправиться со своими личными врагами. Недавно один "доброжелатель" сообщил, что его сосед выставляет в окно патефон и крутит тлетворные западные мелодии, развращая советскую молодежь. Пришлось реагировать на донос завистливого анонима, и сейчас любитель джаза и трогательных танго ежедневно строем шагает на лесоповал».

Капитан устало потянулся и взял со стола очередное сообщение. Сначала он вчитывался в ровный почерк без особого вдохновения. Сообщалось о философских

сомнениях какого-то студента в правильности экономических решений партии большевиков. Скучно! Но концовка лаконичного письма заставила чекиста задуматься: «Соккрытие экономических бредней внутри зеркала похоже на детскую игру. Но желание студента приобрести оружие нельзя оставлять без внимания. Для выполнения разнарядки по выявлению врагов народа можно раскрутить дело по подготовке теракта. Пожалуй, я лично сегодня арестую Вадима Сорина. Надо поспешить, чтобы успеть встретить приезжающую вечером из деревни тещу».

И Круглов, заказав конвой, выехал в сторону Арбата. Визит сотрудников НКВД застал семью Сориных врасплох. Надеясь на недоразумение, отец принялся горячо защищать старшего сына. Но спешащий встретить родственницу капитан не стал разводить церемонии и направился прямо к зеркалу на стене. Отогнув железные скобы, он вытащил рукопись и издевательски помахал перед лицом профессора:

— Вот видишь, какого прекрасного сына ты воспитал! Хочешь вместе с ним за подрывную деятельность загреметь в места не столь отдаленные? А ты, сынок, хоть теперь раскайся и выдай нам пистолет.

— Нет у меня оружия. А статью я написал для себя и не собирался никому показывать.

— Значит, все-таки показал, если мы здесь оказались. Все, собирай, мамаша, ему вещички. С нами поедет парень.

Уходя в сопровождении конвоя, Вадим повернулся к младшему брату:

— Передай привет моему другу Георгию, только обязательно передай.

Вадим с тоской обвел взглядом уютную обстановку московской квартиры, словно предчувствуя, что никогда больше сюда не вернется. И вновь повторил, как заклинание, свое желание передать привет другу детства.

Первые месяцы семья надеялась, что недоразумение скоро разрешится, раздастся звонок в дверь и на пороге появится живой и здоровый Вадим. Но шли дни, а от арестованного Вадима не было вестей. И профессор решился на отчаянный шаг, обратившись за помощью к одному из своих высокопоставленных пациентов. Но генерал лишь грустно покачал головой:

— Савелий Григорьевич, я вам очень благодарен за чудесное исцеление, но об этом не просите. Иначе я сам попаду под подозрение как пособник врагов народа.

Через полгода семье объявили, что Вадим осужден на десять лет без права переписки. И вновь профессор, поддавшись просьбам несчастной жены, во время визита к больному генералу попросил выяснить адрес лагеря, в котором находится его сын. Но боевой генерал, стыдливо отводя глаза, повторял, что подобные сведения составляют государственную тайну и он не вправе их разглашать. И поняв, что за упорным молчанием высокого чина скрывается нечто страшное, Савелий Григорьевич спросил:

— Так мне ждать сына хотя бы через десять лет?

— Конечно, всегда надо надеяться на лучшее.

И в этот момент генерал, заметив, что адъютант отошел к тумбочке за лекарством, резко отрицательно покачал головой. И профессор все

понял. Тяжелый камень словно придавил его к земле. Он привычно проделал стандартные медицинские процедуры и направился к выходу.

Всю дорогу до дома он ощущал внутреннюю опустошенность, отказываясь верить в гибель сына. Перед входом в квартиру Савелий Григорьевич заставил себя собраться и предстал перед домашними внешне спокойным человеком. На бессвязные, торопливые вопросы жены в точности повторил слова генерала о надежде на лучшее будущее. И, ощущая горькую фальшь своей лжи во спасение, поспешил укрыться в своем кабинете. Но не теряющая надежды несчастная мать остро переживала, что, не зная адреса сына, не может послать ему продукты и теплые вещи.

Проходили месяцы. Младший брат Михаил продолжал возмущаться кошмарной ошибкой органов НКВД. Он писал жалобы, надеясь попасть на прием к Сталину или всесоюзному старосте Калинину. Однажды отец, прочитав очередное послание с восхвалением добродетелей невинно арестованного Вадима, спросил:

— И как ты думаешь передать это послание вождю? Ведь до него оно никогда не дойдет: страна большая, и многие ему пишут. В лучшем случае твое письмо прочтет сотрудник приемной великого и вечно занятого человека.

— У меня есть план. Наш Арбат — правительственная трасса. Я часто вижу проезжающую мимо машину с вождем. Брошусь наперерез и вручу ему свое письмо. Пусть меня потом арестуют, но Вадим будет спасен.

— Ты, Михаил, еще более наивен, чем твой брат, полагающий, что без его подсказок наше правительство совершает одни ошибки. Своим безрассудством и глупостью ты можешь погубить себя и нас с матерью. А потому я вынужден тебе сказать, что Вадима больше нет в живых. Он расстрелян по решению тройки особого совещания. А поэтому забудь о брате и лучше подумай о судьбе близких тебе людей. И смотри, не проговоришься матери о гибели Вадима. Это ее убьет.

Потрясенный Михаил после долгого молчания наконец тихо произнес:

— Это им так не сойдет. За безвинно погубленного доброго и умного парня я отомщу!

— Ты о чем говоришь? В органах НКВД служат честные коммунисты. Но, как и везде, есть карьеристы, которые выслуживаются ради получения новых ромбов на петлицы и повышения по службе. И убийство одного из них ничего не изменит. Да и найти конкретного капитана, арестовавшего Вадима, невозможно. Мы даже имени его не знаем.

— Но капитан отлично знал, где искать злополучную рукопись. Он сразу направился к зеркалу. Значит, был донос. У меня из головы не выходит «привет», дважды переданный Вадимом при аресте его другу Георгию. Возможно, так он дал понять, кто его предал. Не исключено, что Вадим дал Георгию почитать свою рукопись.

— Слабый довод. Хотя и такой вариант не исключен. Но Вадим мог поделиться своими идеями и в институте, назвав место тайника. А потому не спеши с выводами о предательстве Георгия.

— Так что же мне делать?

— Оставь все как есть. Пусть Господь сам распорядится судьбой виновных в гибели Вадима. Сказано же в Евангелии: «Мне возмездие и аз воздам». И ты прими гибель брата как неизбежность. Мы с матерью тебя очень любим. И если потеряем еще и второго сына, то нам и жить будет незачем.

Михаил сделал вид, что покорился воле отца. Но теперь мысли о возмездии не покидали его: «Отец человек старорежимного воспитания. В гимназии изучал Закон Божий и надеется на кару небесных сил. Но я атеист и от своего не отступлюсь. Кто-то обязательно должен ответить за невинно погубленную жизнь брата».

Постепенно у Михаила созрел реальный план возмездия. Каждый раз по пути в институт Михаил проезжал в трамвае мимо серого дома, где жили сотрудники НКВД. Это мрачное с массивными дверями здание теперь всецело привлекало его внимание. Он несколько раз ездил к этому дому и наблюдал за возвращением вечерами чекистов. Они, уверенные в собственной исключительности, казались ему легкой добычей.

Теперь для осуществления акта возмездия надо было добыть оружие. И он решил его приобрести у дворового уголовника Жбана. Прежде чем направиться к неоднократно судимому рецидивисту, Михаил собрал все свои сбережения. Но этих денег явно было недостаточно. И Михаил вытащил из шкафа дорогой фотоаппарат, подаренный ему отцом на день рождения. «За эту заграничную вещицу в комиссионном магазине Жбан сможет выручить крупную сумму. Попробую его угово-

рить на сделку, сочинив правдоподобную историю. А отцу потом скажу, что потерял его подарок во время прогулки с сокурсниками. И неважно, поверит он мне или нет. Главное — добыть оружие».

С фотоаппаратом и скромными сбережениями Михаил отправился вниз на первый этаж. Жбан был дома. Он встретил Михаила с удивленным недоверием.

— И зачем я понадобился порядочному юноше из профессорской семьи?

— Слушай, Жбан, я тут попал в скверную историю. Познакомился в парке с девушкой из Сокольников. Пару раз встретились, а вчера пошел ее провожать до дома. А когда расстались, ко мне подвалили двое блатных парней и перед лицом финками покрутили. Велели от девчонки отвалить и предупредили, чтобы я в их районе не появлялся.

— Ну и чего ты ко мне явился? Не будешь же ты под моей охраной на свидание бегать? Возьми нож или свинчатку и отмахнись по-мужски. Правильный пацан лично решать должен такие проблемы.

— Я и сам так считаю. Только там их родной район. Ее парень может против меня в любой момент человек пять выставить. Тут одним кастетом не отмахнешься.

— Это ты прав, против коды не попрешь. Так что ты от меня хочешь?

— Достань мне пистолет с патронами.

— Ну ты и загнул. Я же не директор военного арсенала. Да и стоит чистый, без прошлого, шпалер недешево. Деньги-то у тебя есть?

— Есть немного, но я принес хороший фотоаппарат. Отец из командировки в Герма-

нию привез. Фирма известная. В комиссионном магазине его сразу возьмут и через пару дней крупную сумму выдадут.

— А вот это уже похоже на стоящий разговор. Давай сюда свой фотоаппарат. Есть у меня на примете барыга. Если товар стоящий, он сразу наличными деньгами заплатит.

— Жбан, я ждать не хочу. Мне срочно надо добыть оружие.

— За фотоаппарат не беспокойся, парень. Я честный вор и обманывать соседа по дому не стану. Прямо сейчас отправлюсь к барыге. Если дело выгорит, то уже сегодня к вечеру получишь пистолет с полной обоймой. Даю слово. Зайди, когда стемнеет.

Ближе к вечеру Михаил вновь постучался в дверь к Жбану. Тот провел его в комнату. Подойдя к кровати, откинул матрас и достал промасленный бумажный сверток. Развернув, протянул наган:

— Вот, возьми. Правда, волына большая и заметная. Но под пиджаком можно спрятать. В барабане шесть патронов. Оружие отец одного шкета с гражданской войны привез. Так что можно смело пользоваться.

— Спасибо, теперь мне будет чем отмахнуться от шпаны из Сокольников.

— Эти сказки о парнях с финками рассказывай кому-нибудь другому. Зачем тебе понадобилось оружие, не мое дело. Но запомни, если загремишь за решетку, то лучше язык свой сразу откуси. Если меня заложишь, то всю твою семью вырежем.

— Ну что ты, Жбан! Я пацанские правила знаю.

— Но я тебя предупредил. Ко мне домой без особой нужды больше не приходи.

Но если в доме у папаши еще что-нибудь из ценных вещей прихватишь, то у меня есть щедрый покупатель.

Михаил понял, что за немецкий фотоаппарат Жбан выручил хорошую сумму. Придерживая локтем спрятанный под полкой пиджака наган, он поднялся к себе в квартиру. Немного подумав, так же, как Жбан, спрятал оружие под матрасом.

Уже на следующий день вечером Михаил направился к большому серому дому. Он сразу занял заранее намеченное место на краю сквера, с которого хорошо просматривались подходы к угловому подъезду. Револьвер, тяжело оттягивая ремень брюк, внушал уверенность в успехе задуманного возмездия. Осталось только дожидаться удобного момента.

Тьма постепенно сгущалась. Внезапно к дому приблизился высокий молодой мужчина в кожаном пальто и взялся за ручку двери. Михаил уже хотел выскочить из своего укрытия, но шумное шевеление в кустах рядом с оградой заставило его в испуге замереть: «Неужели здесь дежурит негласная охрана и меня схватят, едва я приближусь к жильцу их дома?»

Михаил невольно присел на корточки, стараясь сделать как можно незаметнее. И в этот момент из-за ветвей, где он заметил движение, появился седой старик, быстрым шагом приблизился к человеку в кожаном пальто и выстрелил ему в спину. Тот безмолвно упал лицом вниз, широко расставив руки. А стрелок срывающимся от волнения голосом крикнул:

— Это тебе, собака, за моего сына!

Через мгновение из дома начали выбегать люди, и мститель, не желая быть схваченным охраной, выстрелил себе в сердце. Воспользовавшись суматохой, Михаил поспешил незаметно скрыться. Он был потрясен: «Меня опередили и не дали убить чекиста. Но это и к лучшему. Ведь смерть человека из ведомственного дома не исправила прошлого. Вадима все равно уже не вернуть. И несчастный старик, пожертвовав собою, невольно спас меня от роковой ошибки. Надо смириться и жить за себя и за Вадьку».

Трамвай, грохоча, свернул к набережной Москвы-реки, и Михаил поспешно соскочил с подножки. Подойдя ближе к воде, с размаха выбросил оружие в воду. Прощальный всплеск воды навсегда отрезал его от жажды возмездия.

Когда Михаил вернулся, отца дома не было. Появился он далеко за полночь. Несмотря на усталость, позвал Михаила к себе в кабинет:

— Я сейчас ассистировал на операции, проводившейся раненному в спину человеку. Его подстрелил главный инженер оборонного завода, сына которого арестовали полгода назад. Трагическая ошибка мстителя состояла в том, что стрелял он в штатского служащего, выдающего сапоги и кальсоны начсоставу НКВД. К арестам этот человек не имел никакого отношения.

— И что с этим подстреленным интендантом?

— К счастью, удалось спасти. Заштопали пробитое легкое. Будет жить долго и счастливо. Я тебе это рассказал, чтобы ты знал, что при терактах страдают, как правило, посторонние люди, а не те, кто

действительно виноват в несчастьях и бедах. Поэтому, прошу, оставь все мысли о мщении, если они еще бродят в твоей голове.

— Хорошо, допустим, до капитана из НКВД мне не добраться. А как же быть с Георгием, если все-таки он донес на Вадима? Мне ненавистна сама мысль о его женитьбе на любимой девушке брата.

— Еще раз повторю, нет у нас уверенности в доносе Георгия. Пусть судьба сама распорядится.

В ту ночь Михаил долго не мог уснуть. Перед глазами навязчиво повторялась картина стрельбы возле ведомственного дома. В какие-то мгновения ему начинало казаться, что это не пожилой старик, а он сам нажимает на курок чужого наградного нагана. Лишь ценой невероятных усилий Михаилу удалось избавиться от кошмарного наваждения и наконец уснуть.

В последующие дни он полностью погрузился в экзаменационную сессию. И постепенно память услужливо притупила видение того страшного вечера со стрельбой в сотрудника НКВД. Внесло в его душу успокоение и известие об окончательном разрыве невесты брата с Георгием. Людмила познакомилась с выпускником военного училища и уехала с ним на Дальний Восток, презрев опасность новой войны с японцами. А Михаил легко убедил себя, что отчаянная смелость Людмилы объясняется потерей ею интереса к личной жизни после гибели Вадима.

Неожиданно для окружающих Георгий довольно быстро утешился после свадьбы Людмилы. И Михаил догадался, что приятель соперни-

чал с Вадимом вовсе не из-за девушки, а из зависти к его таланту и удачливости. А через год с Георгием произошло несчастье. В часы пик он ехал домой из техникума на трамвае, рискованно повиснув на подножке. В этот момент в вагоне вор-карманник вытащил из сумки женщины кошелек и бросился к выходу. Выпрыгивая на ходу, он плечом ненароком сбил руку Георгия с поручня. И тот, ощутив под собой отсутствие опоры, с ужасом понял, что летит прямо под колеса. Очнулся Георгий в больнице уже без обеих ног. Первое время даже не хотел жить. Но потом ему приспособили сбитую из досок тележку на роликах, и он, отталкиваясь руками, научился быстро передвигаться по двору и перескакивать по ступенькам лестницы. Учебу в техникуме Георгий забросил. Зато овладел мастерством сапожника и шил для заказчиков теплую обувь.

Узнав об увечье Георгия, отец Сорина лишь сказал сыну: — Вот судьба сама все и устроила. Похоже, ты был прав, и смерть Вадима лежит кровавым пятном на этом несчастном парне.

Беда, случившаяся с доносчиком, принесла Михаилу некоторое успокоение.

Через год немцы напали на Советский Союз. На следующий день Михаил направился в военкомат с просьбой отправить его на фронт. На все

уговоры матери Михаил упорно твердил:

— Я обязан сражаться с фашистами. Соседи от нас шарахаются, считая родственниками врага народа. А я в бою с захватчиками сумею обелить память брата.

Савелий Григорьевич не стал разубеждать сына. Вскоре пришло извещение о гибели Михаила под Москвой. Стандартная формулировка «пал смертью храбрых» не оставляла никаких надежд. Савелий Григорьевич тяжело переживал смерть второго сына и вскоре умер от инфаркта. Матери Софье Михайловне, не знавшей о расстреле Вадима, оставалось только надеяться на его возвращение из лагеря. Лишь после разоблачения культа личности Сталина она узнала о расстреле сына еще в 1938 году сразу после ареста.

После этого известия Софья Михайловна существовала лишь по инерции. Ни с кем из соседок не общалась. Они часто видели одинокую женщину, с грустью наблюдающую во дворе за играми чужих ребятишек, напоминающими беззаботное детство ее собственных детей.

Иногда она видела ловко передвигающегося по двору на тележке с роликами безногого Георгия. Жизнь у того, вопреки ожиданиям, сложилась вполне благополучно. Не попав на войну из-за увечья, он уцелел во время кровавой бойни. За счет своего обув-

ного ремесла материально жил весьма неплохо. Нехватка выбитых на фронте здоровых мужчин сделала его вполне желанным женихом. И вскоре после войны Георгий сыграл свадьбу с молодой красавицей вдовой. У них родились двое сыновей. Одного из них он назвал Вадимом. Было ли это совпадением или стремлением загладить свою вину, Софья Михайловна так и не узнала. Сытое счастье в семье Георгия вновь заставило ее сомневаться в торжестве справедливости в этом жестоком мире.

Старая женщина прожила в одиночестве еще четверть века и мирно скончалась в начале семидесятых годов. На ее уход из жизни жильцы дома не обратили особого внимания. Лишь соседи написали заявление на разрешение вселиться в освободившуюся комнату. И от когда-то счастливой семьи Сориных на этом свете никого не осталось. Теперь только я, старый дом, храню память об этих безвозвратно ушедших людях.

После войны настали новые времена, но долгожданная победа не принесла счастья многим моим жильцам. В наступившие мирные дни люди продолжали безжалостно рушить свои и чужие судьбы. И о бесшабашной дочери дворничихи Нинке, жившей в холодном с мокрыми стенками подвале, и будет мой новый рассказ.

Продолжение следует.



Александр БРЮХАНОВ

Добрый день, я, Александр Брюханов, родился в Санкт-Петербурге в 1956 году, где и живу. Образование высшее техническое, работаю менеджером, печатаюсь с 1984 года. Сейчас печатаюсь практически во всем, где печатают юмор...

О ЧЕМ МОЛЧАТ КАРТИНЫ

Никогда не думали, о чем говорят и думают герои картин?

Например:

— Где я вчера так напился? И куда делась вся моя одежда? Что-то ни одна мысль больше в голову не приходит...

Мыслитель. О. Роден

— Десять минут позора, зато заработаю на карманные расходы, а мужу скажу, что задержалась у подружки...

Маха обнаженная. Гойя

— Как вкусно пахнет из кухни. Пять лет такого обеда не было. Сейчас оттянемся. А этот откуда? Его же никто не приглашал. Опять на запах приперся, сейчас будет разговорами о политике всех утомлять...

Не ждали. И. Репин

— Вот дотащим эту баржу с киргизами, едущими на стройку до Самары, и опять попытаюсь устроиться в НИИ инженером...

Бурлаки на Волге. И. Репин

— Мужики, главное — сбиться в кучу, где по светлее, и тогда нас никто не тронет и будет не так страшно...

Ночной дозор. Рембрандт

— Интересно, сколько хозяева отмывают денег на ремонте дорог...

Булыжник — оружие пролетариата. Шадр

— Опять в зоопарке скандал. Виварий делят.

Медный змий. Бруни

— Как все надоело. Опять ларечники со второго этажа ругаются, мелочью друг в друга бросают.

Даная. Рембрандт

— Интересно, если удастся продать эти фрукты, хватит денег на кино или нет...

Девочка с персиками. В. Серов

— Мужики, стойте, у нас еще есть подружка, которая хотела, чтобы ее тоже похитили...

Похищение сабинянок. Рубенс

— Стоит пригласить приличных женщин позавтракать на траве, пять минут — и они уже голые...

Завтрак на траве. Мане

— Повезло девчонке, лет пять помучается — и все состояние ей...

Неравный брак. Пукирев

— Опять отключили электричество. Опять холодильник размораживать. Опять с мобильником идти в туалет...

Черный квадрат. Малевич

ГУБЕРНАТОР

— Губернатор просыпается, губернатор просыпается, — прошелестел шепоток по комнатам, кто-то дал отмашку, и где-то слева от окон губернатора начали поднимать солнце.

Губернатор знал, что солнце поднимают специально для него, но все равно было приятно...

Губернатор умылся и вышел к завтраку. Специальный человек вовремя нажал кнопку, и из-за окон послышались птичьи трели, непонятно кого приветствующие и чему радующиеся...

Губернатор позавтракал, оделся и вышел из дома, и тут же сотни метл на пути его следования взметнулись вверх, поднимая облачка пыли...

И только когда губернатор сел в машину и выехал со двора, дворники собрались в кружок и стали обсуждать перипетии вчерашнего сериала, сравнивая их с перипетиями собственной жизни...

А на проспектах уже подтянулись постовые милиционеры, здесь перевели старушку, там угрозили пальцем водителю, пытающемуся проскочить на желтый, свистнули потенциальному малолетнему хулигану, на всякий случай остановили движение транспорта, создавая губернатору зеленый коридор...

И участковые выглянули из дворов, всем своим видом показывая, что они есть и бдят изо всех сил, и если что, то они всегда...

А перед зданием администрации уже вышли озеленители, таща за собой неизвестно где хранящиеся ночью кадки с невиданной красоты цветами, появились поливальные машины, норовящие полить всех вокруг, благо вода заправлена под завязку, и тут же маляры старательно начали красить фасад дома, чуть облупившийся от времени, за ними дорожные рабочие в оранжевых жилетах начали пристраиваться с отбойными молотками в боковой улице, напротив рекламщики растянули плакат «Пенсионеры — наша забота», наконец, швейная фабрика, находящаяся в пределах види-

мости, пустила декоративный кружевной дымок, как бы подтверждая, что она работает... и весь рабочий день какие-то прохожие, мирно прогуливаясь, придирчиво осматривали все вокруг, говоря что-то при этом в свои мобильники...

А возле губернаторского кабинета уже вовсю суетились озабоченные люди, выстраивая в очередь на прием к губернатору специально подобранных граждан, чтобы губернатор видел, что есть еще недовольные, а куда без них, они будут всегда, ведь это жизнь — живой процесс...

В кабинетах чиновники срочно бросали курить, травить анекдоты, раскрывали папки, склонялись над компьютерами, имитируя небывалую загруженность этими самыми проблемами простых граждан, которые пока еще медленно, но решаются...

И так весь день до позднего вечера...

И только в конце дня, стоило лишь проскочить машине губернатора в сопровождении охраны в сторону дома, постовой милиционер вытирал пот, скопившийся под фуражкой, и передавал куда-то сообщение, и с улиц вмиг все исчезали...

А простые граждане? Они не имели ничего против губернатора, так как не будь его и его утреннего кортежа, пришлось бы придумывать что-то иное в качестве оправдания. К тому же если бы губернатор не ездил на работу, в городе не ремонтировались бы совсем дома, дороги, милиции не было бы видно совсем, и только в душе граждане жалели, что он ездит только по главным улицам, совсем не заезжая в переулочки и дворы...

А губернатор вечером подошел к окну, перед тем как отойти ко сну, и тут же по чьему-то сигналу начался закат солнца. Губернатор улыбнулся и пошел спать, а чья-то ответственная рука в тот же миг выключила рубильник, и согласно плану экономики электроэнергия город погрузился в темноту...



Вероятно, вам следовало бы поменять символ чистоты и невинности, что на титульном листе, а разместить разухабистую певичку, которая выступает в лифчике и трусиках. Говорю «Юность», а саму коробит от содержания журнала. Да, это не «Юность» наших лет!

Пенсионерка, 75 лет. Ул. Сакко, г. Керчь, Крым

Галка ГАЛКИНА:

Товарищ! Пенсионерка! Крымчане! Дорогие! С вами полностью согласны. Распустились поэты, распустились прозаики! А о критиках я даже не говорю! Авторши ходют, понимаешь ли, в трусиках и даже в лифчиках! Вперед! То есть назад! К партсобраниям, партячейкам, к выяснению важнейшего вопроса эпохи: кто с кем спит? Назад к известным стихам про «товарища Парамонову» Александра Галича, где сияли такие строки: «С аморалкой нам, товарищ дорогой, делать нечего!» А «Юность» можно и не читать — так, листануть один номерок и гаркнуть: не та! Не нашей молодости разлива! Ну и что, что в последние годы в журнале публиковались классики от Алексина до Евтушенко, молодые авторы со всех уголков страны и из других стран, студенты Литературного института, появлялись литературоведческие открытия, исторические исследования, ставились «проклятые» вопросы русской классики... Это все не то! В страницу журнала можно высморкаться, есть и иные возможности для применения бумажного варианта «Юности»! При таком применении главное — громко гаркнуть: не та! Не такая! Да и бумажка в иное время была помягче! Такой процесс постижения журнала труден: может при нем и колбасить, и коробить! Как при таком напряжении можно разглядеть чистоту и невинность? А ведь это пришла старость, дорогой товарищ! Глухая, кромешная, беспросветная и беспробудная старость. Это словно блуждание

по гнилому, сучковатому (не путать со словом «сука») облезлому лесу, когда одинокое эхо отражает бессмысленный злобный рык: «Да, это не "Юность" наших лет!» О, какая же в этих звуках зависть и ненависть к «племенню младому, незнакомому»! Трагедия, да и только! А ведь пели вы когда-то, дорогой товарищ: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Не вышло, не случилось, не сбылось. Расстались. Да еще как прытко! И хоть в «ваши дни» в горн дудели, а настали трудные времена и великую державу прор... Но не следует ругаться, и в свойственной манере ушедшей эпохи в целях пресечения культурной деградации и безобразия в отдельно взятом журнале постановляем:

- установить народное дежурство по редакции;
- усилить бдительность на местах;
- запретить нецензурную лексику даже в плане коммуникации между сотрудниками редакции;
- углубить воспитательную работу с молодыми авторами, которые малодушно думают, что разухабистые певички в лифчиках и трусиках привлекут к ним гораздо больше внимания, чем без оных;
- сплотить ряды по недопущению на наши страницы несознательного элемента, скрывающего свою подлую личину под благовидным предлогом любовной лирики!

Мы им покажем культурную революцию!
И мать Кузьмы!

Ешки-матрешки!

«Гео-продакшен» представляет

СЛОВОФИЛЬМ НА ОСНОВЕ АНДРОИДА

- ❖ Я вчера купил нейроны по цене простой вороны!
- ❖ Мой андроид что-то вял, на поруки кто бы взял!
- ❖ Вчера купил нот-бук, положил его в сундук!
- ❖ Я вчера нашел планшет, собираясь на фуршет!
- ❖ Побирался я вчера, славься, красная икра!
- ❖ Плавал наш осетр во речке и остался без уздечки!
- ❖ Ставил я вчерась плотину, но прорвалась скотина!
- ❖ Я вчера гулял в лесу, поедая колбасу!
- ❖ Я — бродячий бурундук, ем котлеты и фундук!
- ❖ Камарилье стихоплетов не хватает самолетов!

PHOTOSTOP



© Фото Игоря Михайлова



Фаза месяца:

Слого-филия

ФОНЕМНАЯ РАПСОДИЯ

- * Подо мной резвился як, я сказал ему: ништяк!
- * Поборол вчера бизона, вспомнил дедушку Кобзона!
- * Я газоны подстригал, прибежал стремглав удав!
- * Буйвол булочку доел, это — просто беспредел!
- * Винторогий наш архар ел арахис из Сахар!
- * По Сахарам шел зубренок и зубрил стихи буренок!
- * Жил в саванне грозный сыч, уважал он арт и китч!
- * Был поэт, он звался Китс и писал стихи про птиц!
- * Был поэт, он звался Кольридж, основал кошачий колледж!
- * Прилетали тут кондоры — основатели Андорры!

**SMS'ка, посланная
в американский обком:**

Ложись!



Максим КОРШУНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели! В Санкт-Петербурге продолжает работу северо-западное представительство журнала «Юность». Мы стараемся подробнее знакомить вас с культурной жизнью этого региона. Вновь слово главе представительства Максиму Коршунову.

Максим Коршунов родился в 1969 году. Окончил Северо-Западную академию государственной службы. Второе образование — практический психолог. В октябре 1993 года начал трудовую деятельность в петербургской газете «Смена», работает в издательском бизнесе и печатных СМИ уже более двадцати лет.

Максим Коршунов:

— Сегодняшний гость арт-пространства «Северное сияние» — художник Заза Харабадзе.

Заза Харабадзе родился в Кутаиси (Грузия) в 1965 году. Окончил художественное училище в Кутаиси. Живет и работает в Санкт-Петербурге. С 1998 года — член Московского творческого союза художников, с 2009 года — член Санкт-Петербургского творческого союза художников. В 2011 году занял третье место в категории «профи», номинация «Абстракция», на Российской неделе искусств в Москве. В 2012 году награжден бронзовой медалью СПБТСХ в номинации «Живопись». В 2014 году занял первое место в категории «профи», номинация «Абстракция», на Санкт-Петербургской неделе искусств. В качестве дизайнера принимал участие в оформлении

петербургского Дворца молодежи, известных городских клубов, ресторанов и кафе. Работы Зазы Харабадзе находятся в частном собрании Нортон-Доджа (Музей Циммерли, штат Нью-Джерси, США) и в частных коллекциях России, США, Франции, Италии, Бельгии, Голландии, ЮАР, Индии, Финляндии.

Работы Зазы Харабадзе можно увидеть на сайте www.artzaza.com.

Для меня картины Зазы удивительны тем, что излучают какой-то внутренний свет. Они живут рядом с нами, наполняя пасмурные питерские дни жизнерадостным цветом грузинских солнечных пейзажей. Мы встретились с Зазой, чтобы поспорить о живописи, о юношеских надеждах, о любви и о том, для чего рождаются художники.

ЗАЗА ХАРАБАДЗЕ: «КОГДА НЕВИДИМЫЙ МИР СТАНОВИТСЯ ИСКУССТВОМ»

— **Какое Ваше самое яркое воспоминание юности?**

— Воспоминание юного художника Зазы? Если говорить о детстве, то обычно дети любят гонять в футбол во дворе. А мой интерес с самого детства казался моим друзьям очень странным: я ис-

кал репродукции современных художников, особенно французских импрессионистов, и рисовал их. Я не знаю, почему именно эта живопись на меня произвела такое впечатление, хотя я интересовался разными художниками. В общем, моим любимым занятием было собирать книги с иллю-

страциями, репродукции и копировать их. Мама очень радовалась, что я чем-то занимаюсь, а не бегаю по дворам.

Меня с самого детства занимали такие вопросы, которые обычно задают себе уже взрослые люди, они не соответствовали моему возрасту. Это вопросы о Боге, вере, религии. Я помню, как нарисовал несколько образов Иисуса. Когда я поступал в Кутаиси в художественное училище, мой двоюродный брат где-то нашел для меня репродукцию графического портрета Иисуса работы Дюрера. Вот этот портрет я скопировал, рисовал его три дня.

Меня постоянно неосознанно тянуло к творчеству. Почему? Для меня это нераскрытая до сих пор тайна, но в этом состоянии творчества я всегда чувствую себя самим собой.

— Вы хотели бы что-то изменить в своей юности, может быть, что-то могло сложиться по-другому в Вашем профессиональном развитии?

— Мне кажется, нет. Вообще я не сужу то, что было, или то, что будет. На такие суждения у меня даже времени не остается. Мое творчество до сих пор находится в развитии, просто сейчас меня интересуют более профессиональные вопросы, чем в молодости, и, может быть, ответы на них. Сейчас мне хочется изучать православные религиозные тексты и трактовать их, пропуская через себя, в своих картинах. Вот на нас смотрит с картины Архангел Михаил, я закончил ее недавно. Когда у меня что-то не получается или я хочу в чем-то разобраться, что-то понять, появляются мои религиозные работы, а с ними приходят понимание и уверенность. Нет, я ничего не хочу изменить в своей юности. Как и тогда, я занимаюсь живописью и нахожу в ней радость, не внешнюю, обыденную, а глубоко внутреннюю. Если меня никто не будет беспокоить, то мне кажется, что я все время просто буду работать.

— Есть что-то, чему бы Вы хотели научиться у современной молодежи?

— Я бы скорее стал учиться у детей. Меня несколько раз просили обучать рисованию детей, но, к сожалению, при такой высокой скорости жизни мне показалось, что я не смогу, потому что в этом процессе нельзя торопиться. Я считаю, что детский возраст самый хороший для учебы. Юные ребята — они как огонь, часто неуравновешены, мало осознают свои поступки. Юность — это время чувства, это такой «бурный котелок», который кипит, и потом в нем что-то может пригото-

виться. В нем приготовится или полезная еда, или что-то не то.

В юности, мне кажется, определяется человеческое будущее. Но в детстве уже проявляется и укрепляется характер. Я свое детство помню больше, чем юность. Юность — это, по-моему, время ошибок, время исполнения своих давних детских желаний. Может быть, я мало встречаю юных художников, но я жду, конечно, что появятся молодые ребята, по-настоящему увлеченные живописью, захотят у меня чему-то научиться, и я им что-то смогу отдать вместе с жизненным опытом.

— Сейчас у Вас есть ученики?

— Нет, сейчас нет. Я решил, что пока еще не готов. Может быть, я настолько занят живописью, что не могу потерять время. Каждая минута, каждая секунда, каждое сказанное слово сейчас для меня имеют значение. А в юности время так не ценится. Пока от юности ничему я не научился. Но я не осуждаю юных ребят, ведь мы все, кто достиг зрелости, были когда-то такими же юными людьми. Я думаю, что талантливые ребята, конечно, есть, и особенно в Санкт-Петербурге, не хочу при этом обидеть другие города, но именно здесь в искусстве ощущается что-то серьезное, идущее из глубины веков. В Москве, например, я тоже выставлял свои работы, общался с художниками, но там совершенно другой масштаб, и ритм жизни слишком быстрый. В Питере я ощущаю спокойствие, уравновешенность и размеренность. Для меня скорость не имеет значения в живописи, я считаю, что если я буду спешить, то нарушу что-то очень важное. В спешке и в эмоциях можно потерять сакральное.

— Наверное, скорость важна для финансово-го успеха: написал картину, продал, начал следующую...

— Да, наверное. Но, занимаясь творчеством, я не ставил себе в качестве первостепенной задачи коммерческий успех. Мои работы клиенты сами находят, я в этом не участвую, я только рисую и стараюсь делать это и для себя, и для других. Мне кажется, что чем больше уравновешенности и духовной силы вкладывается в основу живописи, тем она ближе к вечным ценностям. Модные современные вещи, сделанные быстро, быстро и уходят.

— Что Вы считаете успешностью и какого художника можно назвать современным и успешным?

— Я считаю, что художник никогда не должен задавать вопрос зрителю: «Как вам эта работа?» Если человек готов, он видит эту работу. Примерно так же нужно подходить к оценке успешности самого художника. Кому-то могут не нравиться мои работы или кто-то может спросить, хочу ли я знать его мнение о той или иной моей картине. Если посмотреть глубоко в свою душу, то я отвечаю, нет, я не хочу этого знать. Почему? Может показаться, что у меня такая пустая уверенность в себе. На самом деле мне просто интересны творческие поиски и сам процесс живописи, потом картины уже живут сами по себе. Я лишь нахожусь в своем спокойном состоянии и творю то, что ближе моей душе, то, что я нахожу в свое время, в свои годы, в своем жизненном опыте. Можно ли назвать это мудростью, профессионализмом — решать зрителям. Мои работы могут людям нравиться или не нравиться, для меня это одинаково ценно. Если что-то покупают, еще лучше, потому что тогда я чувствую себя нужным человеком. (Смеется.) На самом деле я не оцениваю успешность художника. Хороший пример — грузинский художник Пиросмани, который при жизни никогда не был успешным. Он был нищим, жил под лестницей, работал уборщиком, иногда зарабатывал, разрисовывая стены кафе, делая вывески, мог за копейки сделать любую работу. Но люди выбрали его. В то время разные академики и просто модные художники критиковали Пиросмани, говорили, что он рисовать не умеет, а сейчас вы сами можете увидеть, кто такой Пиросмани и каков его успех.

— Как Вам помогает религия в творчестве?

— Надо смотреть на образ, когда что-то рождается. У меня есть разная живопись: абстракция, импрессионизм, религиозные темы, все они связаны между собой, и это довольно широкий художественный диапазон. Мне кажется, что религия — это то, что лежит в основе творчества, это как корни для дерева и для человека. Это мое личное мнение. Для меня самое главное — религиозные образы, которые я рисую. Их нельзя однозначно назвать ни иконами, ни картинами. Картины — это слишком легкое определение, а иконы — слишком высокое. Но, исполняя эти работы, я реализую свою глубокую внутреннюю потребность. Я с удовольствием читаю религиозную литературу, и не только православную, но и относящуюся ко всем известным мировым культурам, изучаю их духовное наследие, живопись. Это дает мне основу для творчества. Религия делает меня глубже. Я могу создавать видение пейзажей, или

портреты людей, или какую-то бесформенную абстракцию и получать законченный образ. Религиозные образы я никогда не могу закончить, они всегда продолжают меняться в моем восприятии. Они бесконечны для меня. Я могу на разных этапах, ощущая внутреннюю потребность, снова и снова обращаться к одному и тому же образу, переосмысливая его. Если я думаю о каком-то плохом человеке, настраиваюсь на него, то мне становится плохо. Если я думаю о святом человеке или о самом Боге, то мое состояние приближается к ним настолько это возможно. В работе над религиозными образами мне как-то особенно открывается пространство, чувство меры и совершенства. В моем представлении возникает образ купола, и в его сферической форме происходит все самое необычное. Религиозные образы в этой сферической форме и проявляются. Нет плоскости, их можно видеть со всех сторон, обнять и посмотреть на них. Наверное, это можно передать и в скульптуре, но она все равно останется незаконченной или даже не начатой... Я каждый раз вижу, что еще можно подправить, но не порчу уже нарисованную картину, я просто беру новый холст и свое новое видение, новое знание и начинаю эту идею воплощать по-новому. Я никогда не забуду маленькую церковь недалеко от города Кутаиси на кладбище, где похоронены мои предки. Я бывал там в юности и видел почти стертые фрески с ликами святых. Они произвели на меня тогда такое впечатление, что под этим влиянием, в их ауре я нахожусь всю жизнь. Кстати, вот и яркое воспоминание юности, которое всплыло в нашем разговоре. Моей мечтой было собрать художников и восстановить роспись, но в те годы это было невозможно. Сейчас возможно, может быть, когда-нибудь и получится. Так что религия занимает центральное место в моем творчестве. Чем больше я взрослею, тем больше внутреннее устремление ведет меня к ней.

— Грузия и Россия — две православные культуры. К сожалению, отношения между странами за эти годы претерпели большие изменения. Как это отразилось на Вашем творчестве?

— Православие в Грузии зародилось еще в четвертом веке нашей эры, а на Руси христианство появилось в десятом веке. Имея такую древнюю историю, я думаю, мы не должны ничего делить. Я когда молюсь, для меня нет отдельно России и отдельно Грузии. Если я читаю молитву по-русски, то я про себя могу добавить и просьбы о стране Грузии, если я читаю грузинскую молитву, то вспоминаю и о России, я их не делю,

не говоря уже о людях других вероисповеданий, которых я не сужу, это не мое право. Это Бог имеет право нас судить по нашим делам. Я точно знаю, что в России многие люди тоже так думают. И потом, для меня главное — творчество, я не смешиваю его с политикой. Что там в политике не поделили — это не наше дело. Все равно время все исправит и мы всегда будем друзьями. Я перечитал много книг самых разных мировых религий, на мой взгляд, они все учат одному, я не видел ничего плохого ни в одной из религиозных книг. Я желаю всем счастья и процветания, а как известно, чего мы пожелаем другим, то и получаем сами от жизни в ответ. Бог сказал: любите друг друга, и я удивляюсь, почему мы не используем эту самую большую силу — любовь. Сила — это любовь. Больше этой силы ничего не бывает!

— У Вас много работ в стиле абстрактной живописи. Чем Вас привлекает этот жанр?

— Представьте себе шкаф, в котором висят рубашки, и вам нужно выбрать что-то подходящее для сегодняшнего дня по стилю, цвету и форме. Вы обязательно что-то выберете для себя. Вот примерно так и было со мной, когда я в детстве листал репродукции и выбирал что-то, что мне больше нравится, больше подходит по ощущени-

ям. Импрессионизм — это как бы продолжение классики именно в цветовом пространственном измерении в представлении художника. Эта солнечная сторона работ импрессионистов, видимо, совпала для меня тогда с Грузией. Я когда в художественном училище начинал рисовать, уже хотел выразить что-то именно в таких цветовых пятнах, а не в чисто классической форме. Нет смысла спорить с классической школой живописи, мастера которой достигли совершенства. Поэтому мне стало интересно не повторять их, а найти что-то новое. Я начал работать и исследовать стиль импрессионистов, который по ощущениям мне ближе. Я выбрал ту рубашку, которая лучше сочетается с моим состоянием в данный момент. Мы должны продолжать время, а не возвращаться или останавливаться. Хороший дизайнер всегда будет богат разнообразием стилей, потому что вокруг он видит очень много возможностей: в творчестве, живописи, музыке, литературе. Это настоящее богатство, и хотя мы его не замечаем, оно есть. В Писании сказано: видимый мир — это наш, а невидимый — это мир Господа Бога. Вот когда невидимый мир превращается в видимый, тогда он становится культурой, искусством, истинной ценностью, историей. Для этого и рождаются художники.

Беседу вел Максим Коршунов



Заза ХАРАБАДЗЕ



Георгий Победоносец. Холст, масло
Фото Оксаны Антоновой



Кафе (диптих). 2014. Холст, масло